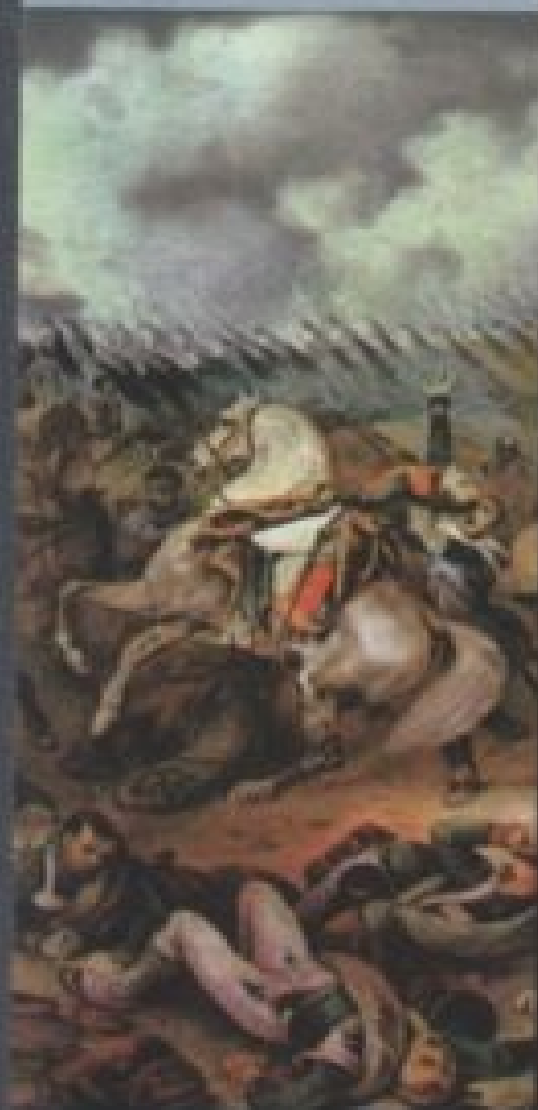


# ТОЛСТОЙ-АМЕРИКАНЕЦ



Михаил  
Филин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Вниманию читателей предлагается научно-художественное жизнеописание графа Фёдора Ивановича Толстого (1782–1846), прозванного Американцем, — «одной из замечательнейших русских фигур пушкинской эпохи» (Н. О. Лернер). У него, участника первого российского кругосветного путешествия, героя шведской кампании и сражений с Наполеоном, была репутация наглого и безжалостного дуэлянта, который отправил на тот свет множество ни в чём не повинных людей. Большинство современников считали графа Фёдора «картёжным вором», бражником, буяном и обжорой — словом, «человеком преступным», влачившим «бесполезную жизнь». Однако с беспутным и порочным Американцем почему-то дружили князь Вяземский, Жуковский, Батюшков, Денис Давыдов, Чаадаев и прочие «исторические лица». Ему, повесе и умнице, посвящались стихи, его колоритная персона попала в произведения Пушкина, Грибоедова, Льва Толстого и иных знаменитостей.

Загадку этой удивительной личности, о которой в наши дни сочинены совсем уж беспардонные небылицы, попытался разрешить историк и писатель М. Д. Филин. Изучив массу источников (в том числе архивных), автор пришёл к парадоксальному выводу: подлинное бытие Американца мало походит на расхожие легенды о нём. В книге наглядно показывается, что жизнь георгиевского кавалера полковника графа Толстого была очень занятой, насыщенной, трагичной и вовсе не зряшной; что его настоящая, выстраданная биография стократ любопытнее, глубже и «литературнее» вымышленной.

- 
- [Филин М. Д. Толстой-Американец](#)
    - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
    - [Глава 1. ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ](#)
    - [Глава 2. КАВАЛЕР ПОСОЛЬСТВА](#)
    - [Глава 3. «ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫЙ»](#)
    - [Глава 4. В СРАЖЕНИЯХ С БУОНАПАРТЕ](#)
    - [Глава 5. ЦЫГАНКА ДУНЯША](#)
    - [Глава 6. К ПОРТРЕТУ АМЕРИКАНЦА](#)
    - [Глава 7. В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ](#)
    - [Глава 8. ДУЭЛЬ БЕЗ ДУЭЛИ](#)

- [Глава 9. НЕЩАСТИЯ](#)
- [Глава 10. ПОСЛЕДНЯЯ ТУЧА РАССЕЯННОЙ БУРИ](#)
- [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)
- [ПРИМЕЧАНИЯ](#)
- [ПРИЛОЖЕНИЯ](#)
  - [I. ИЗ СТИХОВ К ГРАФУ Ф. И. ТОЛСТОМУ](#)
    - [С. Н. Марин](#)
    - [Д. В. Давыдов](#)
    - [В. Л. Пушкин](#)
    - [Князь П. А. Вяземский](#)
    - [А. С. Пушкин](#)
    - [Графиня С. Ф. Толстая](#)
    - [В. А. Жуковский](#)
  - [II. ИЗ АНЕКДОТОВ О Ф. И. ТОЛСТОМ-АМЕРИКАНЦЕ](#)
  - [III. <ГРАФ Ф. И. ТОЛСТОЙ>](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ ГРАФА ФЁДОРА ТОЛСТОГО-АМЕРИКАНЦА](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)

- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)

- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)

- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)

- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)

- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)

- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)

- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)

- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)

- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)

- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)

- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)

- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)

- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)
- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)

- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)
- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)
- [563](#)
- [564](#)

- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)
- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)
- [575](#)
- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)
- [579](#)
- [580](#)
- [581](#)
- [582](#)
- [583](#)
- [584](#)
- [585](#)
- [586](#)
- [587](#)
- [588](#)
- [589](#)
- [590](#)
- [591](#)
- [592](#)
- [593](#)
- [594](#)
- [595](#)
- [596](#)
- [597](#)
- [598](#)
- [599](#)
- [600](#)
- [601](#)
- [602](#)
- [603](#)

- [604](#)
- [605](#)
- [606](#)
- [607](#)
- [608](#)
- [609](#)
- [610](#)
- [611](#)
- [612](#)
- [613](#)
- [614](#)
- [615](#)
- [616](#)
- [617](#)
- [618](#)
- [619](#)
- [620](#)
- [621](#)
- [622](#)
- [623](#)
- [624](#)
- [625](#)
- [626](#)
- [627](#)
- [628](#)
- [629](#)
- [630](#)
- [631](#)
- [632](#)
- [633](#)
- [634](#)
- [635](#)
- [636](#)
- [637](#)
- [638](#)
- [639](#)
- [640](#)
- [641](#)
- [642](#)

- [643](#)
- [644](#)
- [645](#)
- [646](#)
- [647](#)
- [648](#)
- [649](#)
- [650](#)
- [651](#)
- [652](#)
- [653](#)
- [654](#)
- [655](#)
- [656](#)
- [657](#)
- [658](#)
- [659](#)
- [660](#)
- [661](#)
- [662](#)
- [663](#)
- [664](#)
- [665](#)
- [666](#)
- [667](#)
- [668](#)
- [669](#)
- [670](#)
- [671](#)
- [672](#)
- [673](#)
- [674](#)
- [675](#)
- [676](#)
- [677](#)
- [678](#)
- [679](#)
- [680](#)
- [681](#)

- [682](#)
- [683](#)
- [684](#)
- [685](#)
- [686](#)
- [687](#)
- [688](#)
- [689](#)
- [690](#)
- [691](#)
- [692](#)
- [693](#)
- [694](#)
- [695](#)
- [696](#)
- [697](#)
- [698](#)
- [699](#)
- [700](#)
- [701](#)
- [702](#)
- [703](#)
- [704](#)
- [705](#)
- [706](#)
- [707](#)
- [708](#)
- [709](#)
- [710](#)
- [711](#)
- [712](#)
- [713](#)
- [714](#)
- [715](#)
- [716](#)
- [717](#)
- [718](#)
- [719](#)
- [720](#)

- [721](#)
- [722](#)
- [723](#)
- [724](#)
- [725](#)
- [726](#)
- [727](#)
- [728](#)
- [729](#)
- [730](#)
- [731](#)
- [732](#)
- [733](#)
- [734](#)
- [735](#)
- [736](#)
- [737](#)
- [738](#)
- [739](#)
- [740](#)
- [741](#)
- [742](#)
- [743](#)
- [744](#)
- [745](#)
- [746](#)
- [747](#)
- [748](#)
- [749](#)
- [750](#)
- [751](#)
- [752](#)
- [753](#)
- [754](#)
- [755](#)
- [756](#)
- [757](#)
- [758](#)
- [759](#)

- [760](#)
- [761](#)
- [762](#)
- [763](#)
- [764](#)
- [765](#)
- [766](#)
- [767](#)
- [768](#)
- [769](#)
- [770](#)
- [771](#)
- [772](#)
- [773](#)
- [774](#)
- [775](#)
- [776](#)
- [777](#)
- [778](#)
- [779](#)
- [780](#)
- [781](#)
- [782](#)
- [783](#)
- [784](#)
- [785](#)
- [786](#)
- [787](#)
- [788](#)
- [789](#)
- [790](#)
- [791](#)
- [792](#)
- [793](#)
- [794](#)
- [795](#)
- [796](#)
- [797](#)
- [798](#)

- [799](#)
- [800](#)
- [801](#)
- [802](#)
- [803](#)
- [804](#)
- [805](#)
- [806](#)
- [807](#)
- [808](#)
- [809](#)
- [810](#)
- [811](#)
- [812](#)
- [813](#)
- [814](#)
- [815](#)
- [816](#)
- [817](#)
- [818](#)
- [819](#)
- [820](#)
- [821](#)
- [822](#)
- [823](#)
- [824](#)
- [825](#)
- [826](#)
- [827](#)
- [828](#)
- [829](#)
- [830](#)
- [831](#)
- [832](#)
- [833](#)
- [834](#)
- [835](#)
- [836](#)
- [837](#)

- [838](#)
- [839](#)
- [840](#)
- [841](#)
- [842](#)
- [843](#)
- [844](#)
- [845](#)
- [846](#)
- [847](#)
- [848](#)
- [849](#)
- [850](#)
- [851](#)
- [852](#)
- [853](#)
- [854](#)
- [855](#)
- [856](#)
- [857](#)
- [858](#)
- [859](#)
- [860](#)
- [861](#)
- [862](#)
- [863](#)
- [864](#)
- [865](#)
- [866](#)
- [867](#)
- [868](#)
- [869](#)
- [870](#)
- [871](#)
- [872](#)
- [873](#)
- [874](#)
- [875](#)
- [876](#)

- [877](#)
- [878](#)
- [879](#)
- [880](#)
- [881](#)
- [882](#)
- [883](#)
- [884](#)
- [885](#)
- [886](#)
- [887](#)
- [888](#)
- [889](#)
- [890](#)
- [891](#)
- [892](#)
- [893](#)
- [894](#)
- [895](#)
- [896](#)
- [897](#)
- [898](#)
- [899](#)
- [900](#)
- [901](#)
- [902](#)
- [903](#)
- [904](#)
- [905](#)
- [906](#)
- [907](#)
- [908](#)
- [909](#)
- [910](#)
- [911](#)
- [912](#)
- [913](#)
- [914](#)
- [915](#)

- [916](#)
- [917](#)
- [918](#)
- [919](#)
- [920](#)
- [921](#)
- [922](#)
- [923](#)
- [924](#)
- [925](#)
- [926](#)
- [927](#)
- [928](#)
- [929](#)
- [930](#)
- [931](#)
- [932](#)
- [933](#)
- [934](#)
- [935](#)
- [936](#)
- [937](#)
- [938](#)
- [939](#)
- [940](#)
- [941](#)
- [942](#)
- [943](#)
- [944](#)
- [945](#)
- [946](#)
- [947](#)
- [948](#)
- [949](#)
- [950](#)
- [951](#)
- [952](#)
- [953](#)
- [954](#)

- [955](#)
- [956](#)
- [957](#)
- [958](#)
- [959](#)
- [960](#)
- [961](#)
- [962](#)
- [963](#)
- [964](#)
- [965](#)
- [966](#)
- [967](#)
- [968](#)
- [969](#)
- [970](#)
- [971](#)
- [972](#)
- [973](#)
- [974](#)
- [975](#)
- [976](#)
- [977](#)
- [978](#)
- [979](#)
- [980](#)
- [981](#)
- [982](#)
- [983](#)
- [984](#)
- [985](#)
- [986](#)
- [987](#)
- [988](#)
- [989](#)
- [990](#)
- [991](#)
- [992](#)
- [993](#)

- [994](#)
  - [995](#)
  - [996](#)
  - [997](#)
  - [998](#)
  - [999](#)
  - [1000](#)
  - [1001](#)
  - [1002](#)
  - [1003](#)
  - [1004](#)
  - [1005](#)
  - [1006](#)
-

**Филин М. Д. Толстой-Американец**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

*О графе Ф. И. Т. можно было бы написать целую книгу, если б собрать всё, что о нём рассказывали и рассказывают, хотя в этих рассказах много несправедливого, особенно в том, что относится к его порицанию.*

*Ф. В. Булгарин*



*Граф Фёдор Иванович Толстой. К. Я. Рейхель. 1846*

«В 1800-х годах, в те времена, когда не было ещё ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стёклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, — в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, — когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были ещё молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, — в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбундов...»

Так начинается повесть Льва Николаевича Толстого «Два гусара» (1856), прототипом героя которой, графа Турбина-старшего, был двоюродный дядя писателя.

До сих пор ещё здравствуют люди, помнящие приютившийся в самом центре Москвы, на Арбате, на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка небольшой деревянный, в семь окон, особняк. Стоял особняк на каменном фундаменте, был «осанистый, даже щеголеватый, с мезонином, неизменным алебастровым декором — написанием о былом российском военном триумфе»<sup>[1]</sup>. (В одном из архивов можно увидеть чертёж фасада особняка, выполненный в позапрошлом столетии.)

Там, в домике, некогда гулял сам Александр Пушкин.

В 1930-х годах это дворянское гнездо (превращённое в керосиновую лавку) разорили и на его месте впоследствии соорудили помпезное административное здание. Но память о владельце особняка, которого Лев Толстой называл «необыкновенным, преступным и привлекательным человеком», сохранилась и доныне. Иначе, по-видимому, и быть не могло: слишком своеобразен данный персонаж отечественной истории конца XVIII — первой половины XIX века, оваянный ореолом романтического демонизма, чересчур громко он прожил отпущенные ему сроки.

«Таинственное значение этого человека для тогдашней молодёжи, особенно в Москве, — сообщает нам добропорядочный мемуарист, —

отразилось на многих и в раннем цвете погубило надежды общества и родителей во многих юношах, природою счастливо одарённых»<sup>[2]</sup>. Но бытовали и иные мнения о данной персоне. «Я вспоминаю об нём как о необыкновенном явлении даже в тогдашнее время, когда люди жили не по календарю, говорили не под диктовку и ходили не по стрункам, то есть когда какая-то рыцарская необузданность подчиняла себе и этикет, и образованность», — писал современник<sup>[3]</sup>.

Вереница легенд сопутствовала этой яркой жизни. Иные, усмехаясь, исподволь сочинил и талантливо излагал в собраниях сам арбатский житель, другие побаски пустили в обращение его словоохотливые знакомцы. Последние нисколько не смущались самыми фантастическими домыслами: ведь они доподлинно знали, что *такому* герою можно безбоязненно приписать любые злодеяния и подвиги. Уже тогда, в славную Александровскую эпоху, люди сначала отказывались верить бытующим «чисто баснословным рассказам»<sup>[4]</sup> об очередном скандальном приключении пресловутого *лица* — а потом пожимали плечами и всё же верили им. Крепнет подозрение, что с определённых пор стало доверять стекавшимся отовсюду небылицам о себе и само *лицо*.

Так что биография приносила ему шумную славу, а слава, не церемонясь, художественно редактировала и пополняла биографию.

Некоторые учёные прошлого столетия увидели в разгульном поведении москвича оппозиционную подоплёку, явственные «тона протеста». Нам с этим трудно согласиться. Скорее, жизнь сия походила на непрекращающийся гимн «общепринятому порядку» (А. С. Пушкин) — тому размеренному и нескладному российскому порядку, который, пусть с неизбежными оговорками, но объективно позволял-таки «развернуться» во всю ширь необъятным натурам. Если же подобные натуры подчас и протестовали, то разве что против дурного рома, устриц с душком или же против неизбывной тупости столичного городского. А всем «секретнейшим союзам» и прочим конспирациям они однозначно предпочитали разветвлённое «Общество пробочников».

От рождения этого незаурядного человека с Арбата величали графом Фёдором Ивановичем Толстым.

Вот типичный анекдот о его сиятельстве, вышедший из кавалергардской среды, — поди теперь разбери, кем и где он был состряпан и насколько правдив:

«Линёв, 22-летний Геркулес, чрезвычайно красивый, но столь же глупый и необразованный, на хорошем счету у начальства. Одна молодая

знатная дама, поражённая его красотой, влюбляется в него. Внимание это подмечает один из его товарищей, Алексей Александрович Ушаков, и решается на смелую интригу.

Искусно владея пером, Ушаков пишет, от имени Линёва, пламенное письмо на имя знатной дамы, в условленном месте получает ответ и завязывает правильную переписку. Молодая дама, выданная замуж ребёнком за развратного 17-летнего юношу и развращённая уже своим мужем, увлекается романом и соглашается на свидание с Линёвым в одном из загородных парков, назначенное ей Ушаковым.

Линёв ничего не знает и не подозревает; в назначенный вечер Ушаков сообщает ему о счастье, которое его ожидает, но, опасаясь невыносимой глупости товарища, приказывает ему не пускаться в объяснения и как можно больше молчать. Всё свершается по плану Ушакова, и свидания стали повторяться.

Тайна этих свиданий, однако, скоро оглашается в обществе офицеров; один из них, граф Фёдор Иванович Толстой <...>, отъявленный повеса, решается проверить эти слухи и подкарауливает у павильона выходящих из одного влюблённых.

Линёв не узнаёт в темноте Толстого, но бросается в кусты и присаживается на корточках, закрыв лицо руками. Толстой, как бы ничего не замечая, подходит к кусту, и на Линёва с безоблачного неба льётся целый поток. Испытание ужасное, но решительное. Линёв не выдает себя. Толстой догоняет даму и говорит ей, что сейчас, на опыте, убедился в безграничной к ней преданности Линёва, что она вполне может рассчитывать на его молчание, и обещается честью никому не рассказывать о происшедшем. Держать слово, однако, не в обычаях Толстого, и бедный Линёв переносит много насмешек от своих товарищей.

Знатная дама отправляется навсегда за границу, и роман оканчивается»<sup>[5]</sup>.

Александр Герцен, тоже арбатский насельник, утверждал: граф Фёдор Толстой «превратил свой дом в игорный, проводил всё время в оргиях, все ночи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры (дочери. — М. Ф.). Говорят, что он раз, в доказательство меткости своего глаза, велел жене стать на стол и прострелил ей каблук башмака»<sup>[6]</sup>.

Приведём и фрагмент мемуаров небезызвестного Ф. Ф. Вигеля, который написал о графе следующее:

«Чего про него не рассказывали! Будто бы в отрочестве имел он

страсть ловить крыс и лягушек, перочинным ножиком разрезывать их брюхо и по целым часам тешиться их смертельною мукою; будто бы во время мореплавания, когда только начинали чувствовать некоторый недостаток в пище, любезную ему обезьяну женского пола он застрелил, изжарил и съел; одним словом, не было лютого зверя, с коего неустрашимостью и кровожадностью не сравнивали бы его наклонностей»<sup>[7]</sup>.

А другие авторы внушали читателям, что это был «человек, которому убить кого-нибудь было так же легко, как передёрнуть карту или выпить стакан вина»<sup>[8]</sup>.

Дыма без огня, вестимо, не бывает. В этих (да и в иных) анекдотах есть и нелепица, и откровенная ложь, но проглядываются, увы, и крупницы правды. Граф Фёдор Толстой имел — причём в избытке — слабости, «тёмные стороны». Однако имел он и несомненные достоинства, и потому «знавшим его коротко нельзя было не любить его и не уважать за многие хорошие качества»<sup>[9]</sup>. Дружбу с Ф. И. Толстым водили князь П. А. Вяземский и Д. В. Давыдов, с ним приятельствовали К. Н. Батюшков, А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, В. Л. и А. С. Пушкины, С. А. Соболевский, А. И. Тургенев, П. Я. Чаадаев и прочие знаменитости. Долговременный союз этих «исторических лиц» с графом скреплён не только реками шампанского, но и целой коллекцией стихов.

Наличествуя в коллекции стихотворений, посвящённых «милому» Ф. И. Толстому, и высокий образчик психологического портрета графа — детище П. А. Вяземского.

Князь создал обширное послание «Толстому» в октябре 1818 года в Варшаве и тогда же, не чинясь, разослал стихи друзьям<sup>[10]</sup>. Особую ценность представляют, на наш взгляд, первые одиннадцать стихов пьесы:

Американец и цыган,  
На свете нравственным загадка,  
Которого, как лихорадка,  
Мятежных склонностей дурман  
Или страстей кипящих схватка  
Всегда из края мечет в край,  
Из рая в ад, из ада в рай!  
Которого душа есть пламень,  
А ум — холодный эгоист;  
Под бурей рока — твёрдый камень!

В волненьи страсти — лёгкий лист!<sup>[11]</sup>

Мнится, что эти поэтические строки почти двухвековой давности — самое точное и глубокое, что когда-либо было написано о графе Фёдоре Ивановиче Толстом. Он, господин и раб своих страстей, и впрямь сделал себя *завсегдаем ада и рая*. Поразительно, но факт: иногда мефистофельский граф умудрялся отметиться там и сям почти одновременно. И всюду, в любом краю, на всяком полюсе он — одурманенный, воспламенённый, трепещущий или хладнокровный — был, что называется, в доску своим, чувствовал себя как дома.

Любопытно, что в Первопрестольной ещё при жизни графа завёлся его *alter ego* — лицедей, которому вариации на темы толстовской биографии надолго обеспечили сытое существование. «В конце тридцатых годов появился в Москве один субъект, — припоминал актёр А. А. Стахович, — попавший какими-то судьбами на остров к диким, где он пробыл несколько лет, женился, прижил детей и оставался там, пока его не выручил и не привёз в Европу экипаж приставшего к острову корабля. Этот невольный естествоиспытатель природы и фауны своего нового отечества, нравов и обычаев его обитателей вошёл в Москве в моду. Его начали приглашать из дома в дом, где он рассказывал достопримечательности острова, свои похождения, горе, нужду, опасности, которым он подвергался, свою женитьбу на туземке, — одним словом, всю жизнь до своего избавления. За всё это его кормили ужинами и награждали деньгами. Такса за его вечера возвысилась до 15 рублей ассигнациями. Приедет, монотонным голосом проговорит заученный рассказ, поужинает, и при отъезде швейцар сунет ему в руку вознаграждение»<sup>[12]</sup>.

Сребролюбивые эпигоны искони плетутся в обозе славы.

Фёдору Толстому суждено было сойтись с Александром Пушкиным — следственно, стать объектом постоянного внимания пушкинистов. В течение долгого времени именно представители пушкиноведения приумножали толстовскую библиографию. Правда, этот интерес был сдержанным и избирательным. Обычно он выражался в скупой биографической справке о графе и ограничивался исследованием (иногда скрупулёзным, как у Н. О. Лернера) эпизодов общения друзей-недрузгов и пушкинских сочинений, так или иначе связанных с Ф. И. Толстым. Как нам представляется, достоинство данного корпуса работ, довольно тенденциозных, заключается прежде всего в том, что они не позволили

предать самое имя графа Толстого забвению.

В 1926 году вышла в свет небольшая книга Сергея Львовича Толстого (сына классика) «Фёдор Толстой Американец». В предисловии к ней автор сокрушался: «К сожалению, источники, которыми мне приходилось пользоваться, хотя и многочисленны, но не богаты точными сведениями и нередко недоброкачественны. Вокруг Американца Толстого создан целый цикл легендарных рассказов, записанных авторами разных мемуаров; документальных же данных о его жизни — очень немного. Поэтому некоторые обстоятельства его жизни <...> остаются невыясненными»<sup>[13]</sup>. Приходится, однако, констатировать, что (несмотря на помощь маститого М. А. Цявловского) в книге немало погрешностей. Кроме того, множество исторических источников весьма важного свойства осталось вне поля зрения Сергея Львовича, что обеднило его труд — поделку, по правде говоря, дилетанта, но никак не мастера историко-биографического жанра. Да и перлы типа: «Его (Ф. И. Толстого. — М. Ф.) жизнь может служить живой иллюстрацией того зла, которое причинял самодержавно-крепостной строй не только угнетаемым, но и угнетателям, извращая их психику и воспитывая в них неуважение к человеку и привычку давать полную волю своим страстям и порокам»<sup>[14]</sup> — не украсили сочинение. Столь абсурдные пассажи не были тогда — даже тогда — обязательны.

Указанная московская книжка не прошла незамеченной<sup>[15]</sup>, но долго оставалась единственным в нашей историографии специальным очерком о Фёдоре Толстом. А в девяностые годы прошлого века, когда в России прочно воцарилась новая социокультурная реальность, экстравагантный граф вошёл в моду. Его причуды и эскапады мигом актуализировали и стали муссировать во всеядной «паутине»; о нём, как по команде, строчат (выпячивая толстовские согрешения) статьи и эссе, повести и авантурные романы; заодно был переиздан и очерк С. Л. Толстого.

Но параллельно появилось и несколько солидных, фундированных, вполне научных работ, а в архивах энтузиастами обнаружен ряд материалов, уточняющих спорные моменты жизни этого человека<sup>[16]</sup>.

Разгадать «нравственную загадку» такой уникальной личности, как Фёдор Толстой, — удел разве что очень большого писателя. В ожидании же одного историк, не замахивающийся на «тайны вечности и гроба», вправе выступить в качестве подмастерья. Ему под силу собрать имеющиеся документы, классифицировать и критически изучить их, отделить зёрна от плевел, а затем создать на основе выявленных источников некий экстракт — жизнеописание героя, более или менее пространное. Разумеется, оно

будет преимущественно *внешней* биографией графа Толстого в контексте эпохи.

К началу ХХI века наконец-то возникли предпосылки для написания *современной одиссеи* Фёдора Ивановича Толстого. И тогда же автор этих строк, пребывавший в праздности, узнал, что благословенное подмосковное Глебово, где он смолоду проводит лучшее время года, в старину принадлежало графу. А потом выяснилось, что прах предков историка покойся рядом с прахом Толстого, на том же смиренном кладбище.

Всё главное вдруг странно сошлось, остальное потихоньку прибавилось, и в итоге получилась, как и предполагал Фаддей Венедиктович, «целая книга».

Книга, в которой историку, путешествовавшему вместе со своим героем «из рая в ад, из ада в рай», едва ли удалось сохранить надлежащую беспристрастность.

## Глава 1. ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

*Каким в колыбельку, таким и в могилку.*

*Русская поговорка*

«В правительственном кругу при Петре осталось мало старой московской знати, — говорил профессор Московского университета Василий Осипович Ключевский в лекционном курсе „Западное влияние в России после Петра“. — Гораздо больше вошло в этот класс людей из среднего и даже низшего дворянства <...>, — всё это были люди очень скромного происхождения, люди неродословные, политические новики»<sup>[17]</sup>. И тот же В. О. Ключевский, уже в частной беседе, однажды развил свою мысль таким манером: «Почти все дворянские роды, возвысившиеся при Петре и Екатерине, выродились. Из них род Толстых — исключение. Этот род проявил особенную живучесть»<sup>[18]</sup>.

Уместно будет вспомнить здесь и пушкинские строки из стихотворения «Моя родословная» (1830):

Понятна мне времён превратность,  
Не прекословлю, право, ей:  
У нас нова рожденьем знатность,  
И чем новее, тем знатней (III, 26 I)<sup>[19]</sup>

К помянутому почтенным профессором с университетской кафедры знатным «новикам», или «птенцам гнезда Петрова», безусловно, принадлежал и действительный тайный советник граф Пётр Андреевич Толстой (1645–1729). Тогдашний французский резидент при петербургском дворе Кампредон (H. de Campredon) именовал его «умнейшей головой в России»<sup>[20]</sup>.

Толстые, записанные в так называемую «Шестую книгу» (где учтены старинные дворянские роды), вели свою родословную с дремучего XVI века, от крапивненского воеводы Ивана Толстого, но именно Петра Андреевича, корифея «дипломатии» (промелькнувшего, кстати, в пушкинском «Арапе Петра Великого»), генеалоги обычно числят основоположником знаменитого графского рода.

С него — как говорится, *ab ovo* — мы и начнём повествование.

Слыл Пётр Андреевич Толстой человеком как будто цельным, но заодно и импульсивным, взбалмошным. Не раз и не два совершал он диковинные, сомнительные, а то и откровенно сумасбродные поступки.

Например, в 1682 году «Шарпёнок» (прозвище Толстого), рискуя головушкой, принял самое активное участие в московском стрелецком бунте, причём орудовал на стороне царевны Софьи, противницы Петра Алексеевича. Как ни странно, ему это «воровство» сошло с рук.

Спустя пятнадцать лет, будучи уже вельможей и дедушкой, разменявшим шестой десяток, он вдруг взял да и испросил у царя Петра разрешение отправиться волонтёром в «преславную» Италию: для овладения-де военно-морской наукой. Существует так толком и не опровергнутая версия, будто Пётр Толстой, находясь в ранге полномочного посла в Стамбуле, якобы отравил (и не как-нибудь, а при свидетелях) секретаря российского посольства, когда тот уличил Петра Андреевича в присвоении казённых денег<sup>[21]</sup>. Запросто мог граф и лютовать похлеще любого опричника; чего стоит хотя бы такое его распоряжение относительно колодника: «Не надобно ему исчислять застенков, сколько бы их ни было, но чаще его пытать, доколе или повинится, или издохнет, понеже явную сплёл ложь»<sup>[22]</sup>.

К вину он вроде бы не тянулся, знал меру в чревоугодии; зато читал зело умные иноземные книги, блюл посты и убрал свой кабинет бесчисленным Божиим милосердием. Но, что тоже показательно, в апартаментах графа Петра Толстого, «в уголке, подальше от любопытных глаз, висела итальянская картина с изображением обнажённой пышнотелой девицы»<sup>[23]</sup>.

Словом, было в нём в избытке всё то, что впоследствии родственник, автор «Войны и мира», назовёт неистребимой «толстовской дикостью».

При царе-реформаторе Пётр Андреевич, начинавший службу с нуля, беспоместным дворянином, сделал завидную государственную карьеру: в частности, стал сенатором, начальником Тайной розыскных дел канцелярии и президентом Коммерц-коллегии. Имелась у П. А. Толстого и особенная, сугубо приватная заслуга перед Петром I: граф сыграл решающую роль в сложной многоходовой операции по возвращению в Россию проштрафившегося государева сына, царевича Алексея Петровича, который бежал в Европу. Потом он же, Толстой, вёл следствие по этому крайне щекотливому делу.

А вскоре после кончины императора, в 1726 году, сановника выбрали в

члены Верховного тайного совета.

Немудрено, что андреевский кавалер Пётр Толстой, муж весьма прагматичный, не всегда и не повсюду державший бескорыстие за добродетель, являлся тогда одним из самых состоятельных российских помещиков: «в его вотчинах, разбросанных по 22 уездам империи, числилась 12 521 душа»<sup>[24]</sup>.

Однако в 1727 году, на пороге вечности, искушённый интриган и царедворец разом лишился всего.

Пытаясь противодействовать намечаемому возведению на престол малолетнего Петра II (сына убиенного царевича Алексея), П. А. Толстой сошёлся в решительной схватке с его, претендента, потенциальным тестем, Александром Даниловичем Меншиковым, — и по всем статьям проиграл светлейшему, был повержен в прах.

Расправились с потерпевшим фиаско графом и толстовскими конфидентами (А. М. Девиером, И. И. Бутурлиным и прочими) скоро и беспощадно. Восьмидесятидвухлетнего старика судьи «почтили за изменника» и определили: П. А. Толстого «лишить звания, чинов и имущества», предать анафеме и «казнить смертью». Потом душегубство всё-таки заменили на бессрочную ссылку в дальний и мрачный Соловецкий монастырь. «Иван, старший сын, последовал за ним, — читаем в современном исследовании, — и оба вскоре умерли „под крепким караулом“, означавшим, среди прочего, что кандалы запрещено снимать, даже когда содержащихся под стражей приводят в церковь»<sup>[25]</sup>.

В апреле 1729 года из Петербурга предписали: «Петра Толстого погребсти в том монастыре, а оставшие после ево, Толстова, золотые деньги, серебряные суды и прочие все пожитки <...> отдать в Соловецкий монастырь, в казну того монастыря келарю или казначею с роспискою»<sup>[26]</sup>.

*Sic transit gloria mundi* — так проходит мирская слава...

Миновались с той лихой поры десятилетия...

В царствование незлобивой императрицы Елизаветы Петровны, дщери Петра Великого, семейство Толстых реабилитировали и в 1760 году вернули им графский титул. Они забыли обиды, служили, иные дослуживались до генералов и тайных советников и подчас исправляли видные должности. Наследникам П. А. Толстого даже возвратили часть ранее конфискованных родовых имений — по некоторым сведениям, около двух тысяч крепостных душ. Но Толстые из поколения в поколение славились изрядной плодовитостью, и чадолубивая фамилия ко второй

половине XVIII столетия уже настолько разрослась, что, по словам биографа, «остатки состояния <...> расплылись между многочисленными потомками Петра Андреевича. Каждому из них досталось немного, и имущественное положение лишь некоторых из них поправилось женитьбою на богатых невестах»<sup>[27]</sup>.

«Из нашего рода богатых нет никого», — небезосновательно утверждала М. Ф. Каменская<sup>[28]</sup>.

В крестах не ходил и граф Иван Андреевич Толстой (1748–1818)<sup>[29]</sup>, правнук соловецкого страдальца Петра. Но имевшееся и благоприобретённое состояние позволяло-таки Ивану Андреевичу вести сносную, порою даже рассеянную, не ущемляющую графского достоинства, жизнь.

В 1764 году он был записан в лейб-гвардейский Семёновский полк сержантом. В 1771-м «графа Толстого Ивана Андреева» произвели в прапорщики и «зачислили офицером в полк». Проходя службу, граф последовательно становился подпоручиком (1772), поручиком (1774), капитан-поручиком (1777) и наконец капитаном (1779)<sup>[30]</sup>.

Примерно тогда же, в конце семидесятых годов, он женился на девице Анне Фёдоровне Майковой (1761–1834), дочери состоятельных помещиков Костромской и других губерний. (К роду Майковых, стоит заметить, принадлежал и «нестяжатель» преподобный Нил Сорский, «по реклу Майков», «завершивший собой весь великий XV век русской святости»<sup>[31]</sup>.)

В январе 1783 года тридцатипятилетний граф вышел в отставку в чине бригадира (5-го класса) и поселился в имении супруги, сельце Никольском. Его выбрали уездным предводителем дворянства. Установлено, что в Кологривском уезде Костромской губернии (входившем в Унженскую область, или провинцию, центром которой был город Макарьев, расположенный на реке Унже, левом притоке Волги<sup>[32]</sup>) Ивану Андреевичу «принадлежало 659 крепостных крестьян мужского пола, да ещё в Рязанской губернии имелось 360 мужиков»<sup>[33]</sup>. Значительно позже, в сентябре 1811 года, за И. А. Толстым, кое-что пожертвовавшим отделившимся детям, «состояло Костромской губернии в разных уездах 500 душ»<sup>[34]</sup>. Было у него также и «тамбовское имение»<sup>[35]</sup>.

Бог даровал Ивану Андреевичу и Анне Фёдоровне Толстым семерых детей. Все они, три сына (Фёдор, Пётр и Януарий) и четыре дочери (Мария, Вера, Екатерина и Анна), появились на свет в екатерининскую эпоху. «Надо было устроить будущность этой многочисленной семьи, что и

было сделано так, как это полагалось в дворянских семьях, — пишет биограф. — Сыновья были отданы в кадетские корпуса, а дочери, кроме Анны, умершей в молодости, были выданы замуж»<sup>[36]</sup>.

Почти все дети бригадира, как говорится, звёзд с неба не хватали, в наполеоны не глядели и не вышли, прожили жизни вполне заурядные, едва запечатлённые в документах<sup>[37]</sup>. Исключением — да ещё каким исключением — стал их *enfant terrible*, старший сын.

Между прочим, вскорости после его рождения граф Иван Андреевич Толстой и счёл за благо завершить свою далеко не блистательную военную карьеру.

По-видимому, он отдал немало времени и сил воспитанию маленького мальчика, и тот, повзрослев, оценил эту заботу. Много позже, похоронив графа Ивана Андреевича, наш герой, в свойственной ему грубоватой манере, признавался князю П. А. Вяземскому: «Я оплакал смерть отца, которого любил хотя только по крови, как любят и все твари обитаемой нами планеты виновников бытия своего, но любил искренне»<sup>[38]</sup>.

Анна Фёдоровна разрешилась от бремени 6 февраля 1782 года — в канун Великого поста, в воскресенье на сыропустной неделе<sup>[39]</sup>. В крещении младенец был наречён Фёдором — видимо, в честь великомученика Феодора Стратилата, благочестивого военачальника и градоправителя, принявшего смерть за христианскую веру в начале IV века<sup>[40]</sup>.

С. Л. Толстой в книге о Фёдоре Толстом написал, что, «вероятно, он родился и провёл своё детство в имении своих родителей, в Кологривском уезде»<sup>[41]</sup>. Это беспочвенное предположение сбilo с толку не одно поколение исследователей и литераторов. Однако из недавно найденной в архиве справки, составленной в середине позапрошлого века в Московской духовной консистории, открылось совсем другое. Граф Фёдор Толстой был коренной москвич, ибо он «родился 6 февраля 1782 г. в приходе церкви Харитония в Огородниках»<sup>[42]</sup>, построенной в Москве ещё в XVII столетии, при царе Алексее Михайловиче.

(Младая толстовская жизнь заиграла воистину «у гробового входа»: в те февральские дни 1782 года Москва пребывала в скорби. Только что, 30 января, переселился в мир иной «его сиятельство главнокомандующий здешнею столицею г. генерал-аншеф, сенатор и кавалер князь Василий Михайлович Долгорукой-Крымский». Его погребли 2 февраля «в Рузском

уезде, в собственном покойного селе Полуехтове, расстоянием от Москвы в 90 верстах»<sup>[43]</sup>. А преемником князя императрица Екатерина II назначила «генерал-фельдмаршала и кавалера графа Захара Григорьевича Чернышёва»<sup>[44]</sup>.)

Земли окрест храма Харитона Исповедника в Огородниках, в частности старинные палаты в Земляном городе, некогда принадлежали графу Петру Андреевичу Толстому<sup>[45]</sup>. После его падения в 1727 году они перешли в другие руки. Но так как позже что-то всё же вернулось толстовским наследникам, то можно допустить, что среди возвращённого было и некое скромное имение «у Харитония» или совсем неподалёку — в тихих проулках, там, где среди одноэтажных деревянных домиков, флигелей, заборов и клетушек берёт начало речка Черногрязка, правый приток Яузы. (В пользу этой гипотезы приведём хотя бы следующий факт: в 1840-х годах Толстые почему-то снова обитали здесь — по имеющимся документам, у них был *свой дом* в районе церкви Трёх Святителей, что у Красных Ворот или, по-старому, в Огородниках<sup>[46]</sup>.)

Не исключено также, что И. А. и А. Ф. Толстые в конце XVIII века попросту нанимали квартиру (дом) в том живописном и популярном среди лиц их круга уголке столицы.

Иных, более достоверных данных о пребывании семейства Толстых на исходе столетия в Огородной слободе у нас пока, к сожалению, нет.

Так что детство Фёдора Толстого прошло не только в Кологривском уезде Костромской губернии, где капустные поля (поразившие проезжавшего московского владыку Платона) были бескрайни<sup>[47]</sup> и где «он запасся хорошим здоровьем»<sup>[48]</sup>, но и в Москве — прежде всего в Москве, которая во многом сформировала его душевный строй. Вот почему граф беззаветно любил древний город и, покидая родину, неизменно возвращался туда.

Щедрая, привыкшая делиться благами Москва, помимо прочего, развила в нём редкостный дар — умение образно, сочно, в стиле «московских просвирен» говорить на отеческом языке. Впоследствии эту колоритную черту отметили многие современники Фёдора Ивановича. «Граф Толстой <...> хотя не всегда правильно, но всегда сильно и метко говорит по-русски. Он мастер играть словами, хотя вовсе не бегаёт за каламбурами», — зафиксировал князь П. А. Вяземский в записной книжке<sup>[49]</sup>. «Мастерски излагаемые рассказы» графа запомнил И. П. Липранди<sup>[50]</sup>. О том, что наш герой был «удивительно красноречив», писал

и Ф. В. Булгарин<sup>[51]</sup>, и другие слушатели. Н. В. Гоголь же, рассуждая в письме к М. С. Щепкину об игре актёра, занятого в «Ревизоре», уверял корреспондента, что граф в данной области вообще не имеет себе равных: «Он (актёр. — М. Ф.) должен скопировать того, которого он знал говорящего лучше всех по-русски. Хорошо бы, если бы он мог несколько придерживаться американца Толстого»<sup>[52]</sup>.

Далее мы увидим, какие неповторимые письма мог писать граф Фёдор Иванович.

Допускаем, что бывал отрок с четой родителей и в чопорном, мундирном, порою изъяснявшемся с заметной хрипотцой Петербурге. Там 1 января 1791 года ещё не достигшего девятилетнего возраста Фёдора Толстого записали подпрапорщиком в лейб-гвардейский Преображенский полк<sup>[53]</sup>.

А вскоре, в первой половине девяностых годов, началось толстовское учение. Юного графа определили, при содействии родни и знакомых, в Морской кадетский корпус, «в малолетнее отделение»<sup>[54]</sup>.

Тогда корпус находился в Кронштадте.

Вступивший в 1796 году на престол император Павел Петрович возжелал, «чтобы колыбель флота, Морской кадетский корпус, был близко к Генерал-Адмиралу»<sup>[55]</sup>, то есть к его собственной августейшей персоне, и в одночасье перевёл заведение с берегов Финского залива в стольный Петербург — на Васильевский остров, в здание Греческого корпуса (Корпуса чужестранных единоверцев). Выпущенный из Морского корпуса «1802 года июня 28 дня в мичмана»<sup>[56]</sup> граф Фёдор Петрович Толстой, двоюродный брат Фёдора Ивановича (ставший, правда, не моряком, а художником, скульптором, членом тайного общества и товарищем президента Императорской Академии художеств), спустя много лет вспоминал, что корпус «считался лучшим из корпусов по наукам и нравственности»<sup>[57]</sup>. И это правда: государю Павлу I, при ближайшем участии корпусных педагогов, действительно, удалось превратить «колыбель флота» в образцовую школу, которая разительно отличалась от былой.

«Кронштадтский» же период истории корпуса, увы, довольно мрачен. Даже официальный историограф Морского кадетского корпуса, его воспитанник Ф. Ф. Веселаго, публично признавал: «Всё было гораздо суровее, чем на бумаге, и эта двойственность особенно заметна при сравнении письменных документов с рассказами очевидцев, тогдашних

воспитанников корпуса. По свидетельству архива, состояние корпуса в Кронштадте было почти такое же, как в настоящее время: тот же внимательный надзор за нравственностью и ученьем воспитанников, та же отеческая заботливость об их здоровье, пище и одежде и та же безукоризненная чистота в заведении. Очевидцы далеко не подтверждают этого...»<sup>[58]</sup>

Один из таких наблюдательных «очевидцев» — барон Владимир Иванович Штейнгейль, будущий декабрист. Он воспитывался в корпусе с 1792 по 1799 год, то есть одновременно с нашим героем, и был выпущен «в мичмана»<sup>[59]</sup>. В «Автобиографических записках» (1819) барон дал пространную, жёсткую, а местами прямо-таки обличительную характеристику состояния дел в Морском кадетском корпусе до переломного 1796 года:

«Директором корпуса был тогда адмирал Иван Логгинович Голенищев-Кутузов, который жил безвыездно в Петербурге и оставлял корпус на попечение подполковника. Это был флота капитан первого ранга Николай Степанович Фёдоров, человек грубый, необразованный, не имевший понятия ни о важности, ни о способах воспитания детей. Он наблюдал только свои счёты с гофмейстером корпуса Жуковым, а на него глядя, и капитаны большею частию держались того же правила.

Содержание кадет было самое бедное. Многие были оборваны и босы. Учителя все кой-какие бедняки и частью пьяницы, к которым кадеты не могли питать иного чувства, кроме презрения. В ученье не было никакой методы, старались долбить одну математику по Евклиду, а о словесности и других изящных науках вообще не помышляли. Способ исправления состоял в истинном тиранстве. Капитаны, казалось, хвастались друг перед другом, кто из них бесчеловечнее и безжалостнее сечёт кадет. Каждую субботу подавались ленивые сотнями, и в дежурной комнате целый день вопль не прекращался. Один приём наказания приводил сердца несчастных детей в трепет. Подавалась скамейка, на которую двое дюжих барабанщиков растягивали виновного и держали за руки и за ноги, а двое со сторон изо всей силы били розгами, так что кровь текла ручьями и тело раздиралось в куски. Нередко отсчитывали до 600 ударов и более, до того, что несчастного мученика относили прямо в лазарет.

Что ж от этого? Между кадетами замечательна была вообще грубость, чувства во многих низкие и невежественные. В это время делались заговоры, чтобы побить такого-то офицера или учителя, пили вино, посылали за ним в кабаки кадет же и проч. (Здесь, похоже, мелькает тень

взрослеющего графа Фёдора Толстого. — М. Ф.) Не говорю уже о других студных (то есть стыдных. — М. Ф.) мерзостях. Вот доказательство, что тирания и в воспитании не делает людей лучшими.

Другой род наказания был *пустая*, т. е. тюрьма, смрадная, гнусная, возле самого нужного места, где водились ужасные крысы, и туда-то безрассудные воспитатели юношества сажали нередко на несколько суток 12-или 13-летнего юношу и морили на хлебе и воде. Самые учителя в классах били учеников линейкою по голове, ставили голыми коленями на дресву и даже на горох: после сего удивительно ли, что кадеты сих гнусных мучителей ненавидели и презирали и нередко соглашались при выходе из классов вечерних, пользуясь темнотою, делать им взаимно различные пакости. (Вновь мерещится уже знакомая нам тень. — М. Ф.)

Зимою в комнатах кадетских стёкла были во многих выбиты, дров отпускали мало, и, чтоб избавиться от холода, кадеты по ночам лазили чрез забор в адмиралтейство и оттуда крали брёвна, дрова или что попадалось, но если заставляли в сём упражнении, то те же мучители, кои были сего сами виновники, наказывали за сие самым бесчеловечным образом. Может быть, это тиранство одну только ту выгоду приносило, что между кадетами была связь чрезвычайная. Случалось, что одного пойманного в шалости какой-либо замучивали до последнего изнеможения, добиваясь, кто с ним был, и не могли иного ответа исторгнуть, кроме — „не знаю“. Зато такой герой награждался признательностию и дружбою им спасённых. С этой стороны воспитание можно было назвать спартанским.

Нередко по-спартански и кормили. Кадеты потому очень отличали тех капитанов, кои строго наблюдали за исправностию стола. В мою бытность в одном столе за ужином пожаловались капитану Быченскому, что каша с салом; удостоверившись в справедливости жалобы, он тут же приказал позвать Михайлыча — так вообще звали главного кухмистра — и велел бить его палками и вместе с тем мазать ему рожу тою кашею. Как ни глупо и ни смешно было такое зрелище во время стола благородных детей, но кадеты не смели смеяться, ибо Быченский был сущий зверь и кровопийца, он и жизнь кончил, сойдя с ума; таких-то давали нам наставников в царствование премудрой северной Семирамиды!

Была ещё одна особенность в нашем корпусе — это господство гардемарин и особенно старших в камерах над кадетами. Первые употребляли последних в услугу, как сущих своих дворовых людей: я сам, бывши кадетом, подавал старшему умываться, снимал сапоги, чистил платье, перестилал постель и помыкался на посылках с записочками, иногда в зимнюю ночь босиком по галерее бежишь и не оглядываешься.

Боже избави послушаться! — прибьют до полусмерти. И всё это, конечно, от призору наставников»<sup>[60]</sup>.

Зато при «романтическом императоре» в переведённом в Санкт-Петербург корпусе, по заверению памятливого барона В. И. Штейнгейля, в мгновение ока наступило сущее благоденствие: «Государь отечески занялся заброшенными. Посещения были часты и внезапны. Заботливость гласная, разительная»<sup>[61]</sup>.

Мемуаристу вторил корпусной историограф Ф. Ф. Веселаго: «Царственный Генерал-Адмирал был особенно милостив и ко всему флоту; но Морской корпус непрерывно получал самые лестные знаки Его отеческого внимания. Во время частых посещений Государь Император входил во все подробности воспитания, слушал лекции учителей, спрашивал учеников и нередко за хорошее преподавание тут же жаловал учителя в следующий чин, а за удовлетворительные ответы воспитанника производил в унтер-офицеры. <...> Вообще царствование Императора Павла Петровича было для Морского корпуса одним из самых счастливых годов его существования»<sup>[62]</sup>.

Фёдору Толстому тут крупно не повезло: большая часть его учения прилась, как назло, на времена «северной Семирамиды». Под стать прочим кадетам и гардемаринам, граф носил парадную форму образца 1780 года или будничный сюртук, обильно пудрил голову, имел короткую, не более дюйма, причёску «алаверже», а также гренадёрскую шапку, башмаки, шпагу и косичку, длина которой никак не превышала восьми дюймов. История умалчивает, прислуживал Толстой старшим воспитанникам или нет, зато мы не сомневаемся в том, что он, как и остальные горемореплыватели, изнывал в грязном Кронштадте от чесотки.

Когда же в корпусе началась «новая жизнь», с заразной и упорной хворью сообща справились. Для воспитанников утвердили новенькое обмундирование: «зелёные двубортные мундиры и штаны, зимою одноцветные с мундиром, летом белые; ботфорты, треугольную шляпу и кортик»<sup>[63]</sup>, а шапку заменили на некое подобие каски.

Однако нашему герою, похоже, уже не довелось пощеголять и покуролесить в элегантном павловском наряде.

Граф Фёдор понемногу учился, помногу чесался, предавался всяческим шалостям, с годами начал брить усы, вольтижировать на лошадях и вовсю славить Вакха и Киприду, сызнава зубрил уставы и чухался — но, возможно, так и не дотянул до высокаторжественного дня выпуска. По крайней мере, его имя отсутствует в обширном «Списке

воспитанников», прилежно составленном через полвека Ф. Ф. Веселаго. За неимением каких бы то ни было разъясняющих документов нам остаётся строить гипотезы: то ли Ф. И. Толстой был исключён «за большие проступки»<sup>[64]</sup>; то ли он, вконец запутавшись в верпах и шканцах, так и не усвоив разницы между грот-мачтой и бизань-мачтой, однажды сам решил распрощаться с опостылевшей *alma mater*.

Итоги его обучения в кадетском корпусе были бесстрастно зафиксированы в формулярном списке, составленном 19 сентября 1811 года. Оказывается, граф мог «по-русски, по-французски читать и писать». (Писал на родном наречии Ф. И. Толстой, правда, посредственно, с ошибками; зато почерк был очень разборчивым, почти каллиграфическим, и помарок в его рукописях мало.) «Часть математики, истории и географии знает», — читаем в казённой бумаге далее<sup>[65]</sup>.

Там же, в корпусе, юноша понял, что слепое чинопочитание его, Фёдора Толстого, в лучшем случае раздражает; что всяческие педагогические рапортички, установления, военные и житейские, органически неприемлемы для него, чертовски чужды его натуре. С тех самых пор граф, выдав себе таковую бессрочную индульгенцию, уже и не насиловал натуру, дабы смириться и подчиниться писанным явно не для него законам.

Спустя четверть века поэт подыскал для таких людей удачную метафору:

...Беззаконная комета  
В кругу расчисленном светил (III, 112).

Из помянутого формулярного списка мы также узнаём, что 28 декабря 1797 года графа произвели в портупей-прапорщики лейб-гвардии Преображенского полка<sup>[66]</sup>. Данный чин считался унтер-офицерским, ниже XIV класса по Табели о рангах, и посему в состав обер-офицерских чинов не входил<sup>[67]</sup>.

А уже 9 сентября 1798 года «граф Фёдор Иванов сын Толстой» стал прапорщиком<sup>[68]</sup>. Их по штату Преображенского полка было 30, из них пять предназначались «взамен генеральских адъютантов». За всякими вычетами прапорщики получали жалованья 172 рубля 20 копеек в год<sup>[69]</sup>.

С такой кругленькой суммы и началась толстовская служба в одном из

наиболее прославленных полков империи, шефом которого был сам император Павел I.

(Царь, как доказывает летописец данного полка, «сумел быстро и круто поставить гвардию и вообще весь военный персонал на ту суровую ступень, которую так гордились войска прусского строя»<sup>[70]</sup>. Эти да и другие павловские реформы, зачастую не слишком продуманные, вызвали всеобщее недовольство. По словам А. Чичерина, «у офицеров явилось особенное хвастливое стремление выказывать своё незнание службы и нарушать её порядок. Хотя это и было замечено Государем, возбуждавшим всегда преследования против виновных, но оно нисколько не останавливало шалунов, а как бы поощряло ещё к большим проказам»<sup>[71]</sup>.)

Мигом напроказничал и новобранец граф Фёдор Толстой.

Уже спустя полгода, 5 марта 1799 года, юный прапорщик за некий фортель «был выписан в гарнизонный Вязмитинский полк» (то есть в петербургский полк, шефом которого, а заодно и комендантом Петропавловской крепости, был генерал от инфантерии С. К. Вязмитинов, или Вязьмитинов<sup>[72]</sup>). Правда, его проступок высшее начальство сочло пустяшным и спустя полмесяца, 19-го числа, возвратило Толстого в гвардию<sup>[73]</sup>. Более того, 27 сентября того же года графа произвели в подпоручики<sup>[74]</sup>.

Однако новоиспечённый подпоручик (с жалованьем 191 рубль 90 копеек и денщиком за 7 рублей 30 копеек) и не помышлял братья за ум, и 23 июня 1800 года по высочайшему приказу он вновь был отправлен — на сей раз ровно на неделю — в гарнизонный полк (которым командовал Уколов)<sup>[75]</sup>.

«Подчиняться людям и обстоятельствам он не любил и не умел», — написала в 1860-х годах дочь графа в автобиографической хронике<sup>[76]</sup>.

Уже тогда, на рубеже столетий, «беззаконный» Фёдор Толстой обрёл злейшего недруга в лице слишком «правильного» барона Егора Васильевича Дризена 1-го, зачисленного в Преображенский полк в августе 1797 года «прапорщиком из прусской службы»<sup>[77]</sup>, обожавшего вахт-парады и опережавшего нашего героя в чинах и усердии. (Один из товарищей Толстого по полку признавался в ту пору графу М. С. Воронцову: «Я надеюсь, что ежели что будет у нас, то ты оставишь гористую Грузию и приедешь к нам; вместе пойдём бить прусаков, и мне хочется начать с Дибичей и Дрезиных; последние становятся час от часу несноснее»<sup>[78]</sup>.) В

дальнейшем, как мы увидим, взаимная неприязнь сослуживцев, графа Толстого и барона Дризена, только усилилась.

В полку, где «господствовали придворные обычаи и общий язык был французский» (Ф. В. Булгарин), подпоручик Толстой не только враждовал с педантом Дризенем, но и приятельствовал со многими. Например, с князем Александром Александровичем Шаховским (будущим известным драматургом), с «романтиком и мизантропом» Дмитрием Васильевичем Арсеньевым 2-м (того в 1807 году сразили на дуэли), с Александром Васильевичем и Алексеем Васильевичем Аргамаковыми (в 1809 году первого, уже полковника, уволили «от службы за болезнь с мундиром»; другой был «отставлен от службы полковником по прошению» спустя год<sup>[79]</sup>), с вельможным графом Михаилом Семёновичем Воронцовым (впоследствии видным полководцем, героем сражений и государственным деятелем).

Но, пожалуй, ближе всех граф Фёдор Толстой сошёлся в ту пору со старшим товарищем по полку — Сергеем Никифоровичем Мариным (1776–1813), «живым, общительным, красивым по внешности»<sup>[80]</sup>. Тот был знаменит не только успехами в свете, романтическими настроениями, изящными островами и картёжными подвигами, но и смелыми сатирическими стихами, в частности переделкой одной из ломоносовских од («О ты, что в горести напрасно / На службу ропщешь, офицер...») — памфлетом на гатчинские порядки и непосредственно на Павла I. Как известно, С. Н. Марин принял участие в событиях 1 марта 1801 года, повлекших за собой гибель императора и восшествие на российский престол его старшего сына, великого князя Александра Павловича.

Элегические опыты Сергея Марина пользовались постоянным успехом у членов кружка; ценились гвардейцами и маринские «Песни». Вот одна из наиболее показательных:

Шенпанского — и дай мне руку!  
Вели стаканы нам налить.  
Забудем горести и скуку,  
И станем мы любить и пить.

Вино и женщины отрада,  
Не страшны с ними нам беды.  
Любовь за храбрость нам награда  
С вином забудем все труды.

Готов я целой день сражаться,  
Работать саблей и штыком.  
Лишь только б после повстречатся  
С красоткой, милой, и вином.

Но что ж стаканы мы забыли?  
Пора бы выпить их давно.  
Когда в боях кровь не щадили?  
Зачем же здесь щадить вино.

Пусть выпить всякой той здоровья,  
Которая зажгла в нём кровь —  
Нет нужды знать — будь хоть Прасковья,  
Надежда, Вера, иль Любовь <sup>[81]</sup>.

«Все члены кружка едины были в одном — в своих рыцарственных замашках, в стремлении во что бы то ни стало возвыситься над толпой», — резюмирует исследователь <sup>[82]</sup>.

Однако наш граф, ценя Преображенских эстетов и мыслителей, многое получая от общения с «фалангой высшего общества», толкуя с приятелями об изящной словесности и посещая с ними столичные театры и концерты, весьма усердно совершенствовался и вне пределов данного кружка.

«Вы, с вашим отвращением от всего потрясающего общественный порядок, — писал в 1801 году добропорядочный Ф. В. Ростопчин графу С. Р. Воронцову в Лондон, — были бы поражены окончательно, если б увидели в Петербурге юношей, достойных быть приёмными сыновьями Робеспьера или Дантона». В том же письме говорилось об «адском обществе петербургской молодёжи» <sup>[83]</sup>.

Подпоручик Фёдор Толстой изменил бы себе, если бы не приобщился к таковому петербургскому «аду».

«Был он небольшого роста, плотен и силён, имел круглое, полное, смуглое лицо и чёрные волосы», — реконструировал образ гвардейца издатель «Северной пчелы» <sup>[84]</sup>. «Он был высокого роста, совершенно смуглый, отчего, впрочем, нисколько не терял», — чуть иначе характеризовала внешность Фёдора Толстого Е. П. Янькова <sup>[85]</sup>. «Природа на

голове его круто завила густые, чёрные его волосы», — прибавил ценитель деталей Ф. Ф. Вигель<sup>[86]</sup>.

Круг приятелей Толстого стремительно разрастался. В ту пору он свёл знакомство с бравым кавалергардом и гулякой Денисом Давыдовым, а также с князем В. Ф. Гагариным, А. Ф. Орловым, князем М. П. Долгоруковым и многими другими лицами. С некоторыми из них граф позднее по разным причинам раззнакомился, однако кое с кем сохранил дружбу до самой «могилки».

«Граф Т. был, как ныне говорят, человек эксцентрический, т. е. имел особый характер, выходивший из обыкновенных светских форм, и во всём любил одни крайности, — вспоминал Ф. В. Булгарин. — Всё, что делали другие, он делал вдесятеро сильнее. Тогда было в моде и в нравах <...> молодечество — и граф Ф. И. Т. довёл его до отчаянности!»<sup>[87]</sup>

Он, прежде всего, в совершенстве овладел всяческим оружием. Из пистолета граф, по единодушному мнению современников, стрелял «превосходно», столь же мастерски «рубился на саблях»<sup>[88]</sup>. Секретам фехтования подпоручик Фёдор Толстой обучался у знатнейшего учителя — считавшегося «одним из первых фехтмейстеров в Европе»<sup>[89]</sup> Ивана Ефимовича Севербрика (преподавателя Первого кадетского и Пажеского корпусов, который давал уроки членам императорской фамилии). И грянул день, когда автор «Руководства к изучению правил фехтования на рапирах и эспадронах», побившись с проворным учеником в офицерском классе (устроенном во флигеле Михайловского замка), во всеуслышанье признал того за достойного, тонкого партнёра.

Став для петербургских забияк «опасным соперником», Фёдор Толстой, однако, в эти ранние годы покуда ещё не записался в безоглядные дуэлисты. Судя по формулярному списку, крупных взысканий («штрафов по суду или без суда») у него тогда не имелось — следовательно, не было, похоже, и «тузов», и громких, завершившихся у барьера, столкновений с кем-либо.

Одновременно граф увлёкся кулинарным искусством, преуспел и тут и уже в начале «дней александровых» выдвинулся в первую шеренгу столичных гурманов. (Кстати, смену императоров аполитичный, в отличие от предка, Фёдор Толстой, думается, не очень-то и заметил. Имея массу куда более важных *личных* дел, он вряд ли придал трагическому мартовскому перевороту особое значение.)

Иногда, в паузах между фехтовальными штосами, визитами «под сень кулис» и кулинарными таинствами, граф, «затягиваясь густым дымом

своего любимого кнастера»<sup>[90]</sup>, пописывал стишки. Вероятно, пиит Фёдор Толстой быстро понял, что в сей области, кишашей конкурентами, стать «вдесятеро сильнее» прочих рифмоплётов ему, «по скудости таланта»<sup>[91]</sup>, не дано. Однако это открытие не повергло в уныние нашего героя, и он продолжил, не обольщаясь и не перенапрягаясь, спорадически мараить бумагу.

Не забывал Толстой и несметную родню. Посещал, в частности, своего двоюродного братца Фёдора Петровича. «Ещё живши с родителями, — вспоминал тот, — я его очень любил, и он мне платил тем же; приязни нашей не мешало совершенное различие характеров. Я всегда был тихого нрава и любил занятия, а он, хотя и обладал весьма умной головой, но был большой кутила, первостатейный повеса <...>. При всём том (как это согласить!) граф Толстой <...> был чрезвычайно добр, всегда был готов отдать последнюю копейку бедному, честен и ни за что не согласился бы обмануть либо солгать»<sup>[92]</sup>.

Один из «родственных обедов» с участием подпоручика начался с комической прелюдии. Вот как дано описание этого эпизода (полагаем, что он был на самом деле и его можно условно датировать 1800-ми годами) у князя П. А. Вяземского: «Однажды заходил он к старой своей тётке. „Как ты кстати пришёл, — говорит она, — подпишись свидетелем на этой бумаге“. — „Охотно, тётушка“, — отвечает он и пишет: „Присей верной оказии свидетельствую тётушке моё нижайшее почтение“. Гербовый лист стоил несколько сот рублей»<sup>[93]</sup>.

В подобных остроумных шалостях, незлобивых и желчных попеременно, с Толстым уже тогда мудрено было тягаться. Да и *bons mots* графа, сызмальства любившего посудачить и отличавшегося «злословием» (С. Н. Марин) и резкостью суждений, стали популярны в петербургском обществе. Так, из уст в уста передавалась убийственная характеристика, данная графом Фёдором неудачливому рыцарю зелёного сукна: «Начни он играть в карты сам с собою, то и тут найдёт средство проигратся»<sup>[94]</sup>. (Сам Толстой с молодых ногтей предпочитал, разумеется, побеждать, достигал этого всеми правдами и неправдами, однако скандальную славу отпетого картёжника и «вора» на заре столетия наш герой ещё не успел приобрести.)

Повествуя об «отчаянном» Фёдоре Толстом, Ф. В. Булгарин как бы мимоходом поведал читателям, что граф «поднимался на воздушном шаре с Гарнеренем»<sup>[95]</sup>. Скорее всего, сообщению мемуариста надлежит верить, однако занятный «воздушный» сюжет заслуживает, как представляется,

более подробного комментария.

По имеющимся у нас сведениям, французский воздухоплаватель Андре-Жан Гарнерен (Garnerin; 1769–1823), сын парижского священника, бывал в России в самом начале XIX века. Его приезд и аэростатические опыты вызвали немалый интерес у публики; тут же появились отклики в печати, и даже началась дискуссия о перспективах развития аэронавтики. Некоторые обыватели и журналисты отнеслись к французу скептически — как к неучу и корыстолюбивому шарлатану, который-де «разъезжает по ярмонкам» и обнаруживает «дерзкое своё любостяжание». Так, анонимный автор статьи в «Журнале различных предметов словесности» (1805, книга III) возмущённо вопрошал: «Разве мы не видели Гарнерена, с беспримерным бесстыдством обманувшего московскую публику, объявляя о молниеносном воздушном явлении, вместо которого пустил бездельный шарик с несколькими петардами на произвол ветров?»<sup>[96]</sup>

Впрочем, существовали и иные, гораздо более благожелательные отзывы о диковинных опытах Гарнерена. Были у воздухоплавателя и увлечённые русские последователи (например, штаб-лекарь И. Г. Кашинский, поднимавшийся в московское небо в 1805 году).

Исследователи располагают данными, из которых явствует, что полёты А.-Ж. Гарнерена происходили в Москве и Петербурге в промежутке между 1800 и 1805 годами (и тогда же обсуждались в обществе<sup>[97]</sup>). Авторитетный мемуарист Степан Петрович Жихарев в «Дневнике студента» сообщил, что в 1805 году с французом «никто из москвичей лететь не решился»<sup>[98]</sup>, зато в Северной столице как минимум один такой смельчак объявился — им оказался генерал С. Л. Львов. Сказывали, будто на вопрос, «что побудило его отважиться на опасность воздушного путешествия с Гарнереном, Львов объяснил, что, кроме желания испытать свои нервы, другого побуждения к тому не было»<sup>[99]</sup>.

Наверное, примерно то же мог бы ответить, приземлившись и одёрнув мундир, и граф Фёдор Толстой.

Однако в 1805 году, как будет показано далее, подпоручик никак не мог составить компанию А.-Ж. Гарнерену. Поэтому остаётся предположить, что граф, открывая эру российского воздухоплавания, победно парил с Андре-Жаном в гондоле над городом и водной гладью в 1800 году или же в ближайшие за тем годы. Наиболее вероятно, что это произошло в июне или июле 1803 года, когда француз дважды поднимался в петербургское небо<sup>[100]</sup>. Любопытно, что один из этих стартов наблюдали

случайно оказавшиеся в столице японцы, которые вспоминали: «Несколько чиновников повели нас на реку Неву, где впервые тогда в России делали опыт с воздушным шаром. Сколько было радости и изумления у бесчисленной массы зрителей перед этим вновь изобретённым воздухоплаванием!»<sup>[101]</sup> Может быть, жители далёкой страны (с которыми мы встретимся и в следующей главе) видели полёт как раз графа Фёдора Толстого?

Жаль, что нам никогда уже не узнать, какие у него были в те минуты глаза.

В феврале 1803 года придирчивое начальство вдруг расщедрилось и выписало подпоручику лейб-гвардии Преображенского полка Фёдору Толстому «домовый отпуск» сроком на 28 дней<sup>[102]</sup>. Это был едва различимый знак судьбы: нашему герою представилась возможность отдохнуть от дежурств, вахтпарадов и прочих докучливых занятий, расквитаться со старыми долгами и наделать новых, собраться с «адскими» и прочими мыслями, сварить очередной экзотический суп и, наслаждаясь шедевром, кое-как подытожить пройденное.

Пройдут десятилетия — и очерк пережитого на берегах Невы уместится у Фёдора Ивановича ровно в три книжные строчки: «Гр<аф> Толстой, прошедший первую молодость свою в С.-Петербурге, на службе военной, в гвардии...»<sup>[103]</sup>

Первая его молодость завершалась в вёдро — а впереди уже занималась «буря рока».

Граф Фёдор Толстой — «очень видный и красивый мужчина»<sup>[104]</sup> — встретил тогда свою двадцать первую весну. В Государственном литературном музее находится его романтический портрет (67 на 56,5 сантиметра), написанный неизвестным художником как раз в ту пору, накануне важных событий.

На портрете — импозантный, пока без признаков тучности в лице и теле «фешенебель», расположившийся на фоне сумрачных, почти грозовых, подсвеченных дальними сполохами облаков. Голова юноши (с выющимися тёмными волосами и набирающими пышность, уходящими под воротник сорочки, бакенбардами) с едва приметным высокомерием отклонена в сторону и малость назад. Крепкую шею Фёдора Толстого скрывает галстух из тонкого белого фуляра, а кисть его правой руки упрятана за борт сюртука (кажется, там, за пазухой, у сердца — или даже вместо сердца? — всегда наготове *нечто*).

Пожалуй, труднее всего описать глаза этого человека со старой картины: они и спокойны, и снисходительны, и в меру презрительны; они устремлены разом и на зрителя, и сквозь него, и куда-то вбок. «Тусклые, непостижимого цвета глаза» — так однажды отозвался о толстовских веждах граф П. Х. Граббе<sup>[105]</sup>.

В небесталанном портрете 1803 года, портрете-прологе, конечно, нет и намёка на устойчивую идилию, но тут наш горделивый герой всё-таки статичен, расслаблен, флегматичен, как-никак он в месячном отпуске — и глаза его словно дремлют. Однако люди знавали и совершенно другие глаза графа — и именно те, другие, бодрствующие, навек запечатлелись в памяти современников.

Это были не просто «большие умные чёрные глаза», как отметила впоследствии толстовская племянница<sup>[106]</sup>, а испепеляющие, «сверкающие глаза»<sup>[107]</sup>. Случались моменты, когда казалось, что они «налиты кровью»<sup>[108]</sup>. «Чёрные глаза его блестели, как раскалённые уголья, — вспоминал близко знавший графа Фёдора литератор, — и когда он бывал сердит, то страшно было заглянуть ему в глаза»<sup>[109]</sup>. Позже, следуя ветреной моде, Толстой от случая к случаю появлялся на публике в очках — но и тогда окружающие непроизвольно поёживались от страха, встретившись взорами с черноглазым человеком.

Если и досталось графу Фёдору от предков что-то «майковское» — такая толика смиренно-возвышенного, — то «в колыбельке», то есть в детстве и юности, оно абсолютно не проявилось. Можно, видимо, высказаться и определённое: материнское начало было подавлено молодым преобразованием на корню, почти изничтожено. (В частности, никаких данных о его тогдашней религиозности, хотя бы напускной, у биографов нет.) Зато «толстовское» естество, напротив, не имело ни малейших препятствий для бурного произрастания. И нестеснённая, исподволь культивируемая «дикость» постепенно набирала силу, дурманила ему голову и душу, воспламеняла глаза — и была готова извергнуться в мир.

Две стихии скучного, нудными схоластами расчисленного мира подпоручик Фёдор Толстой, едва начав жить, непринуждённо освоил. Непокорённой, «преславной» — и поджидающей его — оставалась ещё одна.

А это значило: графу надлежало бросить всё, поспешить в знакомый Кронштадт, твёрдой ногой взойти на подвернувшийся корабль — и пуститься бороздить моря-океаны.

## Глава 2. КАВАЛЕР ПОСОЛЬСТВА

*Судьба бросала графа во все страны света...*

*П. Ф. Перфильева*

Бороздить моря-океаны, сиречь совершить кругосветное путешествие, в ходе которого можно открыть новые земли, всесторонне описать их, собрать натуралии и заодно наладить дипломатические и экономические сношения с туземцами — такая захватывающая дух программа действий издавна, приблизительно с середины XVIII столетия, обсуждалась в правительственных, научных и торговых кругах империи. Однако сравняться с преуспевшими в мореплавании европейцами и снарядить хорошо подготовленную экспедицию в силу многих причин долго не удавалось. Лишь в самом начале царствования Александра I Павловича вождеденное российское плавание вокруг света, хождение «в неведомы народы» (М. В. Ломоносов), наконец-то стало реальностью.

Изначальную идею грандиозного проекта сформулировал капитан-лейтенант Иван Фёдорович Крузенштерн (1770–1846). Уже во времена императора Павла Петровича он, воспитанник Морского кадетского корпуса, считался одним из наиболее опытных отечественных мореходов. В его послужном списке значились и участие в ряде морских сражений против шведов, и военная стажировка на английских судах, и захват морских «призов», и успешные походы в Тихий, Атлантический и Индийский океаны. Несколько лет Крузенштерн провёл в Ост-Индии и Китае (в Кантоне), где, помимо прочего, имел время изучить особенности и перспективы местного рынка.

По возвращении на родину Иван Фёдорович подал в «сферы» прагматическую записку («начертание»), в которой изложил свои соображения касательно прямого торгового сообщения между нашими портами на Балтике и Русской Америкой. (Так именовались в конце XVIII и XIX столетии российские селения, «не только основанные в Америке, но и на всех островах, лежащих между восточной стороной Сибири и западным берегом Америки, а также и на тех островах, которые простираются от южного мыса Камчатки до Японии»<sup>[110]</sup>.) «Он справедливо полагал, — пишет современный учёный, — что Россия лишается больших выгод, самоустраняясь от торговли с Китаем и Японией, не посылая туда свои

корабли с пушниной, добытой в Северной Америке»<sup>[111]</sup>. Позднее Крузенштерн с горечью вспоминал, что, сообщив выстраданный план управляющему морскими силами графу Г. Г. Кушелеву, «получил ответ, который меня лишил всякой надежды произвести оный в действие. Старания мои возбудить в частных людях желание к такому предприятию были равномерно тщетны»<sup>[112]</sup>.

«Начертание» капитан-лейтенанта попросту засунули под сукно.

Однако в 1802 году ситуация у подножия престола внезапно и коренным образом изменилась: подули попутные ветры.

Благодаря содействию адмирала Н. С. Мордвинова и министра коммерции графа Н. П. Румянцева предложения Крузенштерна были-таки доведены до сведения государя и по рассмотрении получили высочайшее одобрение. Тотчас заинтересовалась рискованным и заманчивым предприятием и Российско-Американская компания, главное правление которой с недавних пор располагалось в Петербурге. Компания обладала практически монопольными правами на ведение промышленных и торговых операций в Русской Америке. Её владельцы быстро просчитали выгоды от торговли в Кантоне продуктами североамериканских промыслов, прежде всего компанейской «мягкой рухлядью» — пушниной. Поэтому половину всех расходов, связанных с осуществлением намеченного плана, компания взяла на себя (а в поощрение получила возможность загрузить отправляемый корабль своими товарами «настолько, сколько удобность позволять будет»<sup>[113]</sup>).

Остальные — причём немалые — средства выделила казна.

Появились деньги — и начались масштабные закупки провизии и амуниции. А два парусных судна, более или менее подходящих для реализации величественного замысла, были приобретены в Англии. Один из трёхмачтовых шлюпов, с 16 орудиями, стал в России называться «Надеждой», второй, поменьше и с 14 пушками, — «Невой». Император Александр I соизволил разрешить употребление на обоих кораблях военного флага: «особливо ввиду беспокойного состояния дел в Европе, которая вся вооружена, и моря всего света покрыты военными судами и каперами»<sup>[114]</sup>, кои пуцаются непрерывно не токмо на торговые корабли воюющих наций, но и на суда нейтральные»<sup>[115]</sup>.

Капитаном «Надежды» и начальником экспедиции положили назначить Ивана Фёдоровича Крузенштерна. А тот, пользуясь предоставленным ему правом, избрал в «начальники другого корабля

отличного морского офицера» капитан-лейтенанта Юрия Фёдоровича Лисянского (1773–1837), тоже воспитанника Морского корпуса. «Я, невзирая на старшинство своей службы, — признавался Лисянский впоследствии, — с великой охотой согласился совершить столь отдалённое путешествие под его начальством, с тем, однако, чтобы мне самому было позволено избрать для корабля, вверенного моему управлению, офицеров и команду по собственному моему усмотрению»<sup>[116]</sup>.

Отметим, что среди офицеров, набранных командирами в экспедицию, оказались и те, кто в недалёком будущем стяжал собственную славу, — в частности Фаддей Беллинсгаузен, Макар Ратманов и Отто Коцебу.

Помимо «офицеров и команды» (к коей, по всей вероятности, можно отнести и кадетов Сухопутного кадетского корпуса, и «подлекаря», и неперменного «попа» — имевшего свои обязанности и слабости иеромонаха Гедео́на), на «Надежде» и «Неве» поместилось и множество других лиц. Эти лица сразу же образовали три довольно обособленные группы. Каждая корпорация руководствовалась преимущественно собственными интересами и предпочитала действовать в продолжение путешествия автономно от прочих.

На «Надежде» расположился штаб «чрезвычайного к японскому двору посланника и полномочного министра» действительного статского советника, камергера и кавалера ордена Святой Анны 1-й степени Николая Петровича Резанова (1764–1807). Незадолго перед тем дипломат овдовел и посему пребывал в подавленном состоянии духа. Его главными служебными задачами было: посетить неведомую Японию, попытаться наладить доверительные отношения с этой чрезвычайно закрытой страной (чего ранее русским никак не удавалось) и, вручив «богатые подарки», склонить японского императора и вельмож к заключению торгового договора с Россией. Но, будучи одним из директоров-учредителей Российско-Американской компании, Резанов преследовал и сугубо коммерческие, включая личные, цели. «Американская компания, — сообщается в записках Ивана Крузенштерна, — уполномочила его в учреждении лучшего управления селениями на островах и на берегу Америки и вообще к заведению, что к выгодам компании способствовать может»<sup>[117]</sup>. Помощниками Резанова в деятельности такого рода были определены два опытных приказчика компании, Ф. Шемелин и Н. И. Коробицын.

Кроме того, высокопоставленного чиновника Резанова (слегка, кстати, разумевшего по-японски) сопровождала назначенная от правительства

свита. «Дабы придать посольству более блеска, — поведал Крузенштерн, — позволено было посланнику взять с собою несколько молодых благовоспитанных особ в качестве кавалеров посольства». Ими стали присланный от Академии художеств живописец Степан Курляндцов, доктор медицины и ботаники Ф. П. Бринкин (Брыкин) и другие «молодые путешественники, любопытствующие видеть свет и отправляющиеся на казённом содержании»<sup>[118]</sup>.

Во вторую группу пассажиров вошли «долговременно упражнявшиеся в науках люди, которые могли бы в путешествии сём собрать более полезных примечаний»<sup>[119]</sup>. Учёные обязанности были возложены на астронома И. И. Горнера, естествоиспытателей В. Г. Тилезиуса фон Тиленау и Г. Г. Лангсдорфа, а также — отчасти — на докторов медицины Морица Либанда и Карла Эспенберга (взявшего себе в помощники Ивана Сидгама). Граф Н. П. Румянцев в инструкции от 13 июня 1803 года уверял Крузенштерна, что стараниями этих высокообразованных лиц «Россия <... > принесла бы и свою дань во всеобщее богатство человеческих познаний»<sup>[120]</sup>. Все они, за исключением М. М. Либанда, также получили каюты на флагмане — на «Надежде».

Совершенно особый кружок составили оказавшиеся в числе странников японцы (как говорили тогда, «несчастливым жребием»), В самом начале 1790-х годов их судно потерпело крушение в районе вулканических Алеутских островов. Спаслись и сумели выбраться на русский берег немногие. Сначала уцелевшие японцы владели существованием на самом востоке России, в глуши, потом они были переведены в Иркутск, а незадолго до отплытия «Невы» и «Надежды» выживших иноземцев спешно доставили в Петербург, где они увидели полёт воздушного шара и где им предложили вернуться на родину. (Этим актом доброй воли посланник Резанов намеревался расположить к себе власти загадочной страны.) Памятуя о строгих законах, запрещающих подданным покидать территорию Японии, шестеро невольных эмигрантов, основательно поразмыслив, «пожелали остаться в России и стать русскими подданными»<sup>[121]</sup>. Но четыре их товарища, надеясь, как водится, на лучшее, всё же решились «оставить свободную и малозаботную жизнь, каковую препровождали они в России»<sup>[122]</sup>, и пуститься в обратный путь. Тогда в качестве толмача («для переводов») к ним был прикомандирован крещёный японец Shinso, а по нашему — Пётр Киселёв, регистратор<sup>[123]</sup>.

По штатным ведомостям, которые опубликовали в своих записках

капитан-лейтенанты Крузенштерн и Лисянский, выходит, что в кругосветную экспедицию отправились в общей сложности 129 или 130 лиц.

На родном берегу комплексный план действий был разработан весьма тщательно. Руководствуясь им, «Надежда» и «Нева» должны были, отсалютовав Кронштадту, миновать Европу, потом Канарские острова и направиться к Южной Америке, в Бразилию. Пройдя вдоль континента и обогнув суровый мыс Горн, путешественники намеревались двигаться по Тихому океану на северо-запад (к NW), в Полинезию, мимо Маркизских и Вашингтоновых до Сандвичевых (Гавайских) островов, где кораблям надлежало разлучиться: «„Надежда“ долженствовала идти прямо в Японию; по совершении же дел посольственных — на зимование или в Камчатку, или к острову Кадьяку; „Нева“ же прямо к берегам Америки, а оттуда на зимование к Кадьяку. Следующим потом летом оба корабля <...>, нагружаясь товарами, должны были отправиться в Кантон, а из одного в Россию»<sup>[124]</sup>.

Технические приготовления к отплытию и загрузка интрьумов шли неспешно, ритмично и изоощрённо, с учётом как вещей знатных («1000 вёдер чистого водочного спирта»<sup>[125]</sup>, противоядных средств, товаров для обмена с дикарями и т. д.), так и всяческих мелочей (вплоть до корабельных кошек). Казалось, что петербургские власти, купцы и требовательные морские начальники, согласованно трудившиеся день и ночь, сделали всё от них зависящее для безоговорочного успеха предприятия — в остальном должно было уповать на Всевышнего.

Однако *re vera* в ходе подготовки правительственные и компанейские чиновники допустили ряд нешуточных кабинетных просчётов, которые, как позднее открылось, чуть не погубили дело.

Прежде всего, корабли ушли в трёхлетнее плавание фактически с двумя главными начальниками — Крузенштерном и Резановым. Странная вещь: каждый из них — и капитан-лейтенант, и камергер — имел веские основания считать именно себя главенствующим во время путешествия и, следовательно, требовать от самолюбивого конкурента беспрекословного повиновения. Крузенштерн, в частности, получил от министра коммерции графа Н. П. Румянцева письменное наставление, из которого следовало, что руководит экспедицией он, капитан-лейтенант. Посему мореплаватель исходил из того, что «должность его не состоит только в том, чтобы смотреть за парусами». Однако у Резанова наличествовали, как представляется, ещё более сильные козыри — например, высочайшая

инструкция от 10 июля 1803 года, в которой посланник объявлялся «уполномоченным всей экспедиции». Кроме того, одно из дополнений к инструкции, данной в мае 1803 года Крузенштерну (дополнение к § 16), позволяло видеть опять-таки в камергере Резанове «полное хозяйское лицо»<sup>[126]</sup>.

Почему-то проблема субординации так и не получила в Петербурге окончательного, чёткого и *публичного*, разрешения. Последствия этого узаконенного на бумаге двоевластия оказались очень печальными.

«Теперь чувствую я в полной мере следствия беспорядка, начавшегося ещё при устройении сей экспедиции, и уверен, что ежели б Ваше Превосходительство имели в отправлении оной принадлежащее вам участие, тогда б занимался я одним делом и избавлен бы был пустых переписок, — писал Резанов в 1804 году П. В. Чичагову. — По крайней мере, из сего зла может произойти та польза, что вперёд лучшим образом предохранят каждого от неприятностей, ибо без чинопачаления нигде ничего устроено быть не может»<sup>[127]</sup>.

Опасность совсем иного рода возникла в связи с тем, что Лисянский был подчинён Крузенштерну.

Дело в том, что «по старшинству службы» (коему офицеры начала XIX века придавали чрезмерное значение) Юрий Фёдорович опережал Ивана Фёдоровича. Он мог считать себя — и, очевидно, считал — обойдённым. Правда, вышколенный офицер держал себя корректно, обиды не афишировал и строго подчинялся дисциплине, однако не слишком приятный психологический фон в его отношениях с Крузенштерном, «с этим человеком отличных дарований»<sup>[128]</sup>, всё же присутствовал. К тому же его непосредственный командир был родом из Эстляндии, то есть происходил из «немцев», что создавало в перспективе дополнительные сложности. Одни члены экспедиции по определению стали ориентироваться на него, другие столь же заученно отдали симпатии храброму россу Лисянскому.

Современники отметили данное пунктирное размежевание: «На корабле образовалось, как у нас водилось и водится ныне, Русская партия и Немецкая партия»<sup>[129]</sup>.

Оставалось только надеяться, что Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский, движимые высшими соображениями, сумеют как-то сплотиться, сохраняют зыбкий мир и не позволят своим конфидентам, молодым и горячим офицерам, пуститься во все тяжкие.

Как представляется, оплошным оказалось и решение взять в

экспедицию японцев. Никаких дипломатических дивидендов из «человеколюбивой» акции Николаю Резанову извлечь не удалось, да и местный губернатор встретил репатриантов в городе Нагасаки без малейшей приязни. Зато в ходе долгого плавания горстка подозрительных азиатов, подчёркнуто державшихся особняком, причинила и без того измученным экипажам кораблей массу дополнительных неудобств. «Японцы многократно на пути нашем подавали мне причину быть ими недовольным», — признавался позднее Крузенштерн и добавлял: «С толмачом своим, который худым нравом своим нимало от них не отличался, жили они во всегдашнем раздоре. Часто клялись они явно, что будут мстить ему за то предпочтение, каковое оказывал ему посланник»<sup>[130]</sup>. В итоге «принявшего христианскую веру» Киселёва, «крайне нужного человека» (характеристика посланника)<sup>[131]</sup>, даже пришлось оставить в 1804 году в Камчатке.

Получается, что на старте экспедиции, в первые месяцы 1803 года, кое-что можно было сделать иначе — так сказать, более разумно. И тогда, вероятно, не случилось бы впоследствии на российских кораблях «некоторых обстоятельств», а заодно и «недоразумений и неприятных объяснений»<sup>[132]</sup>; не произошло бы самоубийства офицера; не расплодились бы в изобилии несусветные анекдоты.

И, вдобавок ко всему, не довелось бы принципалам страдать разлитием желчи и нервными расстройствами; не пришлось бы им денно и нощно интриговать, срываться на крик, опускаться до шпионства, угрожать друг другу, а потом, поостыв, оберегая честь мундира и собственное благополучие, дружно браться за малопочтенное занятие — выискивать *козла отпущения*, единственного виновника драматических происшествий.

В перечне лиц, уходивших в плавание на фрегате «Надежда», капитан-лейтенант Крузенштерн отдельным параграфом перечислил персон, «принадлежащих к свите посланника, камергера Николая Петровича Резанова». Вторым в этом реестре (вслед за майором свиты Ермолаем Карловичем Фридрици и перед надворным советником Фёдором Павловичем Фоссе) значится граф Фёдор Толстой<sup>[133]</sup>. Мельком было сообщено о «нахождении» нашего героя «при японском посольстве» и в его формулярном списке, составленном в 1811 году<sup>[134]</sup>. А из других источников нам становится понятнее, как подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка Фёдор Иванович Толстой очутился на корабле, подле Ивана

Фёдоровича Крузенштерна.

Уже известный читателям воспитанник Морского кадетского корпуса художник граф Ф. П. Толстой признавался на страницах мемуаров, что имел неподобающую для мореплавателя слабость: он, к сожалению, «сильно страдал морского болезнию при малейшей качке во время морских походов»<sup>[135]</sup>. А его дочь, М. Ф. Каменская, поведала в «Воспоминаниях» следующее: «Когда папенька, по невозможности выносить морскую качку, вынужден был отказаться от назначения в кругосветное плавание вместе с Крузенштерном, то на его место в это плавание был назначен двоюродный брат его, гр<аф> Фёдор Иванович Толстой»<sup>[136]</sup>.

Понятно, что назначение могло бы произойти и помимо воли графа Фёдора, но другой осведомлённый современник уточнил: «Гр<аф> Толстой, служивший тогда в Преображенском полку, *испросил* (выделено мной. — М. Ф.) позволение участвовать в экспедиции»<sup>[137]</sup>. Явно не случайно и всезнающий Ф. В. Булгарин назвал попавшего на отплывающую «Надежду» Толстого «волонтёром»<sup>[138]</sup>, то есть *добровольцем*.

По всей видимости, наш герой одним из первых узнал от двоюродного брата, с которым тесно общался, о внезапно открывающейся вакансии — и, окрылённый, тут же бросился хлопотать. Можно предположить, что весомое или даже решающее слово за рвущегося в плавание молодого человека замолвил очень влиятельный родственник — граф Пётр Александрович Толстой, тогдашний военный генерал-губернатор Петербурга: сановник не упускал случая «порадеть» тому или иному «родному человечку». (Об «отцовских» услугах графа П. А. Толстого, причём как раз по *морской* части, писал и Ф. П. Толстой<sup>[139]</sup>.) Нам, кстати, известно, что и некоторые другие лица были включены в заветный перечень путешествующих исключительно благодаря родственным связям. (Допустим, мачеха юных кадетов О. и М. Коцебу, живших потом на фрегате «как кошка с собакой»<sup>[140]</sup>, приходилась сестрой Крузенштерну.)

Всё происшедшее летом 1803 года напоминало сказку: подпоручик граф Фёдор Толстой, по-прежнему облачённый в Преображенский мундир, вдруг оказался в *раю*, в компании бывалых мореходов, среди «молодых благовоспитанных особ», намеревающихся искать приключений на казённый кошт и играть необременительную роль «кавалеров посольства». При этом граф, «как сухопутный офицер, не входивший в состав флотских чинов экспедиции, был непосредственно подчинён Резанову», — резонно

подчеркнул историограф посольства в Японию<sup>[141]</sup>.

Данное обстоятельство, которому Толстой сначала вряд ли придавал значение, оказалось, как мы увидим, крайне важным.

В первые дни августа 1803 года<sup>[142]</sup> в Кронштадт прибыл император Александр Павлович (кстати, акционер Российско-Американской компании), который осмотрел «Надежду» и «Неву», принял рапорт капитан-лейтенанта Ивана Крузенштерна и приветствовал всех членов экспедиции, в том числе и кавалеров посольства. Визит царя, завершившийся торжественными его проходами, криками «ура» и ружейными залпами, символизировал, что приготовления завершены и получено августейшее соизволение на отплытие.

По позднейшим уверениям Николая Резанова выходит, что он «ещё до путешествия <...> на кронштадтском рейде» давал Крузенштерну «прочитать высочайше пожалованную инструкцию и указы» о верховных полномочиях посланника. Имевший свои бумаги и своё мнение капитан-лейтенант оправдывался тем, «что он продержал их, но не читал»<sup>[143]</sup>.

«Августа 7-го по полуночи в 9 часов переменялся ветер от SW к SO, и в 10 находились мы уже под парусами. В сие время прибыл на корабль адмирал Ханыков пожелать нам счастья и проводил нас до брандвахты, стоявшей на якорях в 4 милях от Кронштадта. День был самый прекрасный и тёплый, термометр показывал 17 градусов...» — так начал свой рассказ о путешествии капитан-лейтенант Крузенштерн<sup>[144]</sup>. А Лисянский вспоминал: «Выйдя в открытое море, я приказал собрать всю команду на шканцах. Первым моим долгом я счёл нужным указать каждому, сколь продолжительно и с какими трудностями сопряжено предпринятое нами путешествие. А потом советовал им жить между собою дружески, соблюдать всевозможную чистоту, а больше всего быть послушными своему начальству»<sup>[145]</sup>.

За два с лишком века, минувших с того незабываемого августовского дня, образовался огромный корпус литературы, посвящённой первому российскому плаванию вокруг света. Сюда вошли и записки современников, и впечатляющие научные труды, и бесчисленные работы литераторов. Разнообразные достижения участников морского похода давно и досконально проанализированы и оценены по достоинству. Думается, что указанное обстоятельство избавляет автора настоящей книги от необходимости излагать те или иные общеизвестные факты. Держа в уме панегирики, мы можем целиком сосредоточиться на событиях спорных и

малоисследованных, напрямую связанных со скромным кавалером посольства графом Фёдором Толстым, — на событиях, которые бросили тень на достославную экспедицию.

Уже через неделю после выхода из Кронштадта, в виду острова Готланд, случилось прискорбное происшествие, воспринятое многими как дурное предзнаменование. С палубы «Невы» упал в море опытный матрос Усов, и хотя, по утверждению Лисянского, «в ту же минуту употреблены были все средства к его спасению, но всё было безуспешно»<sup>[146]</sup>. Крузенштерн назвал этот эпизод «печальным приключением»<sup>[147]</sup>, а Лисянский многозначительно обмолвился в своих «путешественных записках» о «первом несчастье».

Спустя несколько суток корабли стали на якорь в городе Копенгагене — и там несчастья получили продолжение.

В Копенгагене внезапно открылось, что заготовленную для путешествия солонину срочно требуется пересолить, а кислая капуста, поставленная Российско-Американской компанией, и вовсе была испорченной. «Таким образом, — констатировал Лисянский, — мы лишились этой полезной противочинготной пищи, которой было бы для нас достаточно более, нежели на половину времени нашего плавания»<sup>[148]</sup>.

В результате «Надежда» и «Нева», вынужденные перегружать и приводить в порядок провизию, застряли на копенгагенском рейде почти на три недели. Педантичный Крузенштерн, терявший из-за «великих хлопот» драгоценное время, был раздосадован и предъявил в жёсткой форме претензии Резанову — как уполномоченному оконфузившейся компании. (Тогда же капитан-лейтенант назвал имя виновника задержки и офицерам экспедиции, а те сделали соответствующие выводы.)

Можно только гадать, что ответил посланник, едва ли разбиравшийся в капусте, на выдвинутые против него обвинения. Ясно одно: именно в Копенгагене короткий период латентного соперничества Крузенштерна и Резанова завершился. Поднаторевший в баталиях Крузенштерн воспользовался подвернувшимся случаем и прочно захватил инициативу. Отныне и надолго борьба двух начальников за первенство стала открытой, причём один всё время наступал, а другой, держа глухую оборону, всячески пытался сохранить лицо.

В разворачивающуюся распрю оказались вовлечены многие путешественники, и прежде всего офицеры с обоих кораблей. Почти все они, во главе с Юрием Лисянским, надолго забыв о «русско-немецкой» коллизии, поддержали Крузенштерна. Лишь лейтенант Пётр Головачёв да

отчасти штурман Филипп Каменщиков с «Надежды» приняли сторону теснимого Резанова. (Сведущий барон В. И. Штейнгейль впоследствии утверждал, что камергер «Головачёва <...> поведение не только не мог упрекнуть, но даже хвалил особенно»<sup>[149]</sup>.)

Заполучив двух «испытанных» союзников, посланник, однако, тут же понёс и существенную потерю: к капитан-лейтенанту переметнулся кавалер посольства граф Фёдор Толстой. «Какие причины понудили его выйти из повиновения, уверен ли он был, что он не принадлежит начальству моему, и от кого получил он в том уверение»<sup>[150]</sup> — на эти вопросы посланник Резанов удовлетворительного ответа не имел ни тогда, ни через год.

Между тем некоторые мотивы поступка Толстого вполне очевидны.

Граф, как мы уже знаем, терпеть не мог, когда им командуют, помыкают; вдвойне неприятно ему, гвардейскому офицеру, было подчиняться приказам начальника штатского. Не любился подпоручику Резанов и, что называется, по человечеству: посланник держался высокомерно и строил из себя невесть какую птицу. Безусловно, сыграло свою роль и кадетское братство: ведь почти все приверженцы Крузенштерна были, как и Фёдор Толстой, воспитанниками Морского кадетского корпуса (а кое-кто из них некогда даже уписывал одну кронштадтскую кашу с графом).

Помимо указанных была, вероятно, ещё одна, решающая, причина, по которой граф Фёдор вдруг обернулся перебежчиком. Права в данном случае М. Ф. Каменская, написавшая про своего дядюшку: «Выехав в море, как человек неуживчивой и бешеной натуры, он скоро начал скучать от бездействия в тесной обстановке корабля»<sup>[151]</sup>. А разобравшись в отношениях Крузенштерна и Резанова, подпоручик просиял, ибо взял в толк, что на его глазах в экспедиции зарождается *партия беспорядка* и, значит, скоро может произойти занятнейшая заваруха, способная оживотворить монотонный корабельный быт. Более того, в его, мятежника по духу и крови, силах было приблизить, разжечь смуту и даже предводительствовать ею. Подобные жребии выпадают редко, может быть, единожды на веку — и ради такого *адского* приключения, тем паче в океане, граф имел право послать ко всем чертям не то что чванливого камергера с его кавалерством, а кого угодно.

Так или приблизительно так, полагаем мы, и мыслил Фёдор Толстой — иначе он просто не был бы Фёдором Толстым.

В общем, заимевший цель герой, не таясь, повёл свою авантурную

игру — и тем самым начал лить воду на мельницу благоволившего к нему Крузенштерна.

На первых порах граф Фёдор страдал от морской болезни, о чём и сообщил в письмах петербургским приятелям. Сергей Марин, получив из Европы толстовскую эпистолию, уведомил о ней находившегося в Тифлисе графа М. С. Воронцова — и это оповещение чрезвычайно ценно для нас. «Мы получили письма от бедного Толстого-Американца, — писал Сергей Никифорович 24 сентября, — он очень терпит от моря, но твёрд в своём предприятии»<sup>[152]</sup>.

Послание С. Н. Марина, впервые опубликованное П. И. Бартеневым в одном из томов знаменитого «Архива князя Воронцова», доныне оставалось неизвестным биографам Фёдора Толстого. А ведь из письма становится ясно, что для узкого круга столичных друзей граф, отправившийся в Русскую Америку, стал «Американцем» уже тогда, в 1803 году.

Из Копенгагена путешественники пошли в Англию. После захода в небольшой порт Фальмут корабли отправились к Канарским островам и 20 октября пришли в город Санта-Круз, на острове Тенериф. Там пробыли с неделю и, снявшись 26-го числа «при весьма тихом ветре с якоря», взяли курс на гряды островов Зелёного Мыса.

И через месяц, 26 ноября, «в половине одиннадцатого часа пополудни», случилось знаменательное событие. Экспедиция пересекла экватор и впервые в летописи российского флота «прибыла в южные Нептуновы области с достаточным приличием»<sup>[153]</sup>. По этому поводу, как записал в журнале приказчик Н. И. Коробицын, «отправляемо было иеромонахом Гедеоном благодарственное Господу Богу молебствие»<sup>[154]</sup> и на кораблях устроили подобающий праздник.

Ничего особо примечательного за эти осенние месяцы как будто не произошло. Русский флаг развевался в открытом океане. Погода была дождливая, с грозами, налетали шквалы, воздух становился всё жарче и душливее. Офицеры и команда, убравшие тёплое платье в сундуки, были здоровы и бодры, несли вахту; в свободное время матросы стирали бельё, варили еловое пиво, купались в распущенном между грот-и фок-мачтами тенте, закидывали невод и ловили рыбу. Учёные «изыскивали причину светящихся явлений в воде морской», испытывали Гальсову машину. Кто-то всматривался вдаль, наблюдал за маяками, рифами и течениями, другие рисовали виды и чертили карты, третьи заполняли путевые журналы. Кошки лакомились занесёнными на корабли тропическими птичками, а

отец Гедеон каждодневно смущал паству исходящими от него ароматами (и порою обращал нестойких в свою веру).

Посланник же, изнемогавший от постоянных фокусов Крузенштерна и особенно Толстого, на всякой остановке стремительно съезжал на берег и селился подальше от кровожадных попутчиков.

«Итак, сегодня благополучно и в совершенном здравии достигли мы Америки», — записал 12 декабря 1803 года Юрий Лисянский<sup>[155]</sup>. Далее, используя попутные ветры и течения, «Надежда» и «Нева» поспешно двинулись на юго-запад, к лесистому острову Святой Екатерины, принадлежащему Португалии, и 21 декабря оказались у замка Санта-Круз.

«Остров сей, отделяемый от матерой земли (то есть от материка, самой Бразилии. — М. Ф.) проливом шириною в 200 сажень, лежит на NNO и SSW; длина его 25 миль, ширина от трёх до четырёх миль», — отметил Крузенштерн<sup>[156]</sup>. А лейтенант Е. Е. фон Левенштерн с «Надежды» счёл нужным указать в дневнике, что корабли «в 7 часов вечера стали на якорь напротив маленькой крепости Санта-Круз на глубине от 7 до 10 сажень в 12 английских милях от города Ностра Сеньора Додестеро, так как подходить ближе иностранным судам не разрешается»<sup>[157]</sup>.

Пребывание экспедиции на бразильских территориях продолжалось почти полтора месяца. Это время было отмечено рядом любопытных историй.

Камергер Резанов, расположившись в резиденции губернатора, португальского полковника Жоакима Шавьераде Куррадо, воспрянул на острове духом (хотя и тут ему довелось пикироваться с Крузенштерном и Лисянским<sup>[158]</sup>). Его встретили дружелюбно и даже помпезно, да и к остальным членам экспедиции отнеслись радушно. Так, свиту посланника поместили в другом доме губернатора, «находившемся недалеко от города, в приятнейшем месте»<sup>[159]</sup>. Капитан-лейтенант Лисянский вспоминал о Ж. Ш. де Куррадо: «Его обхождение с нами основано было не на расчёте, но на искреннем к нам расположении»<sup>[160]</sup>.

К тому же власти острова всячески помогли путешественникам, имевшим нужду в капитальном ремонте потрёпанных фрегатов и в снабжении дровами и жизненными припасами.

Приводя в порядок корабли, копошась, «как муравьи в муравейнике», и тратя на это уйму времени и сил, члены экипажей имели возможности и для научных наблюдений, и для удовлетворения обывательского любопытства. «По прибытии в Бразилию мы приняли её за землю

обетованную, — восхищался лейтенант Е. Е. фон Левенштерн. — Ананасы, бананы, апельсины, арбузы и т. д., благовонные травы, красивые горы, поросшие лесом. Всё в природе, кажется, соревнуется в стремлении околдовать человека. Колибри, попугаи всевозможных видов, множество птиц с красивейшим оперением и бабочек порхает вокруг. Климат и великолепная природа приводят в восхищение. Внезапно (о ужас!) стоишь окаменев, окружённый ядовитыми змеями, ящерицами, жабами, крокодилами, сколопендрами и тиграми, и думаешь только о бегстве»<sup>[161]</sup>.

Немудрено, что и на «Надежде», и на «Неве» сразу же появились попугаи («без числа»), туканы, поползни, чёрные лебеди и другие диковинные птицы.

Граф Фёдор Толстой, в частности, внёс в создание плавучего зверинца свою лепту. «Толстой поймал шляпой, как бабочку, живого колибри, после того как выстрел оглушил птицу», — зафиксировал в журнале Е. Е. фон Левенштерн 4 января 1804 года<sup>[162]</sup>. Кроме птиц, путешественники обзавелись американскими енотами, коллекциями бабочек и несколькими обезьянами. (Приобрёл себе макаку и граф Толстой. Впоследствии именно увеличившаяся в размерах обезьяна — образ, так сказать, собирательный — станет персонажем ряда легенд, связанных с кругосветным плаванием нашего героя<sup>[163]</sup>.)

Бродили участники экспедиции, пользуясь прекрасной погодой, и по городу, «имевшему приятное положение и состоявшему из нескольких сот домов»<sup>[164]</sup>. Во время одной из таких прогулок произошёл огорчительный инцидент, невольным участником которого снова стал Фёдор Толстой. «Когда наши господа сидели в трактире в Додестерро, — сообщил всё тот же Е. Е. фон Левенштерн, — в комнату ворвался маленький Коцебу, а за ним португальский офицер со шпагой наголо и несколько солдат. Первым, кто попался на глаза офицеру, был граф Толстой, и он сразу же схватил его за грудки. Граф Толстой пришёл в замешательство, но, выхватив пистолет, заявил, что он русский. Португалец с извинениями отпустил его...»<sup>[165]</sup>

На досуге многие мореходы сочиняли письма в далёкие края, родным и знакомым. Губернатор де Куррадо дал слово переправить корреспонденцию с курьером в Рио-де-Жанейро, откуда эписголии при первой же оказии двинулись бы дальше, через океан. Воспользовавшись этим, Ф. П. Фоссе, например, послал весточку М. М. Булдакову<sup>[166]</sup>, а натуралист Г. Г. Лангсдорф отписал академику Л. Ю. Крафту — и его послание потом напечатали в «Технологическом журнале» (1804, том I,

часть 3). Отличились и Макар Ратманов с Фёдором Ромбергом (преданные товарищи Крузенштерна): они сочинили письма, которые спустя несколько месяцев, в августе 1804 года, были опубликованы в московском журнале «Вестник Европы» (под рубрикой «Письма русских путешественников из Бразилии к госп<одину> N. N.»).

В письме, помеченном 18 января 1804 года, «флота лейтенант и кавалер» М. Ратманов, среди прочего, сообщил: «Мы пробыли здесь так долго для того, что переменили две мачты на корабле „Неве“; а 21-го числа надеемся оставить сии места. Окружим Кап-Горн, пристанем к островам Дружества, а после к Сандвичевым, откуда корабль „Нева“ отправится в Кадьяк, а мы в Японию, потом в Камчатку, из которой будем иметь случай и удовольствие писать к нашим согражданам».

Фёдор Ромберг, «лейтенант фрегата „Надежды“», датировал свой этюд 29 января 1804 года. В этюде упомянут и наш герой: «Я пишу к вам из хижины, которую нанял на несколько времени приятель мой. Граф Толстой, близ местечка Святого Михаила на матёром берегу Бразилии. Вижу вокруг себя пушистые деревья лимонные, голые кокосы, согбенные от тяжести плодов бананы, красивые пальмы, кофейные деревья, жёлтые цветы хлопчатой бумаги и колючие листья, с которых собирают драгоценную краску кошениль. Может ли Северный житель смотреть на это равнодушно?»<sup>[167]</sup>

Не исключено, что и Фёдор Толстой поведал кому-нибудь о бразильском эдеме, однако его писем того времени нами не обнаружено. Попутно отметим, что граф демонстративно расположился на жительство *отдельно* от свиты Резанова.

Важно и другое: письмо Ромберга опровергает расхожее мнение, будто Толстой со всеми враждовал, «перессорил поголовно всех офицеров и всех матросов»<sup>[168]</sup>, — наоборот, у него ка-кие-то приятели на «Надежде» и «Неве» были.

В связи с починкой кораблей отплытие экспедиции не раз откладывалось. Потом ждали попутных ветров. В итоге порешили оставить остров Святой Екатерины 2 февраля 1804 года.

Церемония прощания с гостеприимными португальцами красочно описана в журнале купца Фёдора Шемелина: «Наконец Начальник наш (Резанов. — М. Ф.), получа известие, что новые мачты на „Неве“ уже поставлены и что оба корабля всем, что нужно было к продолжению вояжа, исправились и готовы вступить в поход, генваря 22 числа 1804 года (старого стиля. — М. Ф.) изволил оставить город и отправиться на

„Надежду“. Его сопровождал до российских кораблей губернатор г. Курадо с большою свитою чиновников своих. Все крепости, как на острове Св<ятой> Екатерины, так и на пути лежащих островах, когда ровнялись шлюпки с оными, в честь Его Превосходительства салютовали многими выстрелами из пушек. Г. Курадо, побыв на корабле нашем с час времени и пожелав нам счастливого пути, оставил оный. Потом, посетив г. капитана Лисянского на другом корабле, возвратился в город при пушечной пальбе с обоих наших кораблей»<sup>[169]</sup>.

При расставании с полковником де Куррадо капитан-лейтенант «Надежды», как заметил Левенштерн, «улучив удобный момент», передал письма путешественников<sup>[170]</sup>. Все авторы посланий были довольны, а кто-то в ту минуту доверился Ивану Фёдоровичу ещё сильнее. «С капитаном Крузенштерном и с Русскими чего бояться? Будем там, где нам быть надобно»<sup>[171]</sup> — эти две строчки из письма Фёдора Ромберга в белокаменную Москву стали тогда, пожалуй, девизом всех сторонников Крузенштерна, ополчившихся на сухопутного камергера Резанова.

О том, чтобы действовать осмотрительнее, подстелить хоть какую-нибудь соломку, они и не помышляли.

Молодые и слишком самонадеянные поклонники Крузенштерна, рома и грога не знали, что посланник, затворившийся в покоях губернатора и как будто смилившийся, на самом деле не сидел сложа руки. Он тоже сочинял письма, да ещё какие — в Петербург, императору, влиятельным при Дворе персонам, и периодически вручал написанное услужливому полковнику де Куррадо. Резановские донесения вскоре также отправились в Рио-де-Жанейро.

Этих бумаг следовало опасаться.

В послании от 25 декабря 1803 года директорам Российско-Американской компании Николай Резанов докладывал: «С сердечным прискорбием должен я сказать вам, милостивые государи, что г. Крузенштерн преступил уже все границы повиновения: он ставит против меня морских офицеров и не только не уважает сделанной вами мне доверенности, но и самые Высочайшие поручения, за собственноручным Его Императорского Величества подписанием мне данные, не считает для исполнения своего достаточными. Он отозвался, что не следует Лисянскому принимать от меня никаких повелений, так как он (Крузенштерн. — М. Ф.) главный начальник, и что моё дело сидеть на корабле до Японии, где, он знает, что поручено мне посольство».

В том же письме сильные мира сего оповещались о деятельности

графа Фёдора Толстого: «Крузенштерн взял себе в товарищи гвардии подпоручика Толстова, человека без всяких правил и не чтущего ни Бога, ни власти, от Него поставленной. Сей развращённый молодой человек производит всякий день ссоры, оскорбляет всех, беспрестанно сквернословит и ругает меня без пощады, — и вот положение, в которое ввергло меня беспредельное моё к службе усердие»<sup>[172]</sup>.

Из более позднего письма посланника (от 18 августа 1804 года, из Петропавловской гавани) становится ясно, что уже на острове Святой Екатерины он разжаловал графа Толстого. «Я доносил уже из Бразилии Его Императорскому Величеству о его шалостях, — сообщал Резанов, — и что исключил я его из миссии»<sup>[173]</sup>.

А накануне отплытия, 31 января 1804 года, Резанов писал графу Н. П. Румянцеву: «Мы ожидаем теперь благоприятного ветра, но когда пойдём, донести не могу, по неповиновению г. Крузенштерна, не говорящего со мною ни слова о его плавании. Не знаю, как удастся мне совершить миссию, но смею вас уверить, что дурачества его не истощат моего терпения, и я решил всё вынести, чтобы только достигнуть успеха»<sup>[174]</sup>.

Из-за «крепкого северного ветра» корабли снялись с якоря лишь через два дня после торжественных проводов. 4 февраля 1804 года, ровно в четыре часа пополудни, «Надежда» и «Нева» подняли паруса, взяли курс на юго-запад и пошли к мысу Горн — навстречу бурям океаническим и житейским.

Не стоит думать, что преследование посланника Резанова было единственным развлечением графа Фёдора в ходе путешествия. Подпоручик Толстой искал и находил и другие объекты для всевозможных проказ. Вполне мог он подшучивать — то добродушно, то со злостью — и над подгулявшим отцом Гедеоном, и над чудаковатыми учёными немцами, и над надоевшими японцами и прочими участниками экспедиции. Иными словами, на море и на суше наш герой шалопайничал напропалую, «придумывал всевозможные непозволительные шалости, которые нарушали дисциплину корабля»<sup>[175]</sup>. Временами Крузенштерн, поддерживая порядок, разумеется, журил повесу, однако не наказывал его слишком строго.

На проделки Толстого приходилось смотреть сквозь пальцы: он был необходим капитан-лейтенанту в качестве охотника, находившегося в авангарде борения с ненавистным Резановым.

Чтобы хоть чем-нибудь занять неуёмного графа, Крузенштерн

приказал ему обучать матросов с «Надежды» «стрельбе и военной экзерциции»<sup>[176]</sup>. Это было уже в Тихом океане, после того как российские корабли с превеликим трудом обогнули Огненную Землю и мыс Горн, в начале апреля 1804 года.

(Приблизительно в те же сроки на «Надежде» имело место происшествие, породившее впоследствии небезызвестный анекдот. Согласно анекдоту, граф Толстой однажды додумался до того, что затащил находившуюся на борту обезьяну в пустовавшую каюту Крузенштерна, открыл «тетрадь с его записками» и показал смышлёному существу, как надо «марать, пачкать и поливать чернилами по белому листу». Орангутанг (уже орангутанг!) «занялся секретарским делом так усердно, что в одно утро уничтожил всё, что было до сих пор сделано Крузенштерном»<sup>[177]</sup>.

Недавно исследователь установил: в журнале Крузенштерна, который хранится в петербургском архиве, залито чернилами семь листов; по всем признакам, сие случилось 24 марта 1804 года<sup>[178]</sup>. Надо учитывать, что в последнюю неделю марта «Надежду» и «Неву» изрядно потрепало, в жуткое ненастье они даже потеряли друг друга из виду. Так, сам Крузенштерн, среди прочего, писал: «С 24 по 31 марта продолжалась беспрестанно бурная погода с таким свирепым волнением, что корабль наш от сильной качки терпел много»<sup>[179]</sup>.

Сказанного, на наш взгляд, достаточно, чтобы снять с графа Фёдора обвинения в составлении комплота с обезьяной и умышленной порче судового журнала: чернильница попросту опрокинулась из-за шторма.)

«Апреля 17-го перешли мы Южный тропик в долготе 104°30′», — зафиксировал Иван Крузенштерн<sup>[180]</sup>.

А 7 мая 1804 года путешественники достигли острова Нукагива в Полинезии. Сюда же 10-го числа подоспела и «Нева» (шедшая западнее «Надежды» и посетившая по пути остров Пасхи). Лисянский отнёс Нукагиву к островам Вашингтоновым, а соседствующие с ними — к Маркизским. «Хотя все <...> острова составляют один архипелаг, но поскольку они сделались нам известны в разные времена, а не все сразу, — писал он, — то я и разделяю их на две части»<sup>[181]</sup>. Камергер же Резанов предпочитал говорить позднее об «островах Мендозиных»<sup>[182]</sup>.

Здесь, в районе бухты Анна-Мария, или Таиогай (Тайо-Гое), и случились те самые «обстоятельства, о которых да позволено будет мне умолчать», — намекнул тщившийся не выносить сор из избы приказчик Ф. Шемелин<sup>[183]</sup>.

К маю противостояние двух враждующих партий достигло апогея, и любой ничтожный повод мог привести к взрыву.

И взрыв последовал — такой силы, что едва не уничтожил всю экспедицию.

То, что позднее Николай Резанов назвал «бунтом морских офицеров», началось ещё до прибытия к острову «Невы» — другими словами, почти сразу же после того, как «Надежда» бросила в гавани «первый якорь».

Корабль окружили сотни подплывших островитян, которые предлагали «в мену кокосы, плоды хлебного дерева и бананы, — вспоминал Крузенштерн. — Всего выгоднее могли мы променивать им куски старых пятидюймовых обручей, которых взято мною в Кронштадте для таких случаев довольно количество. <...> Для избежания всякого при том беспорядка определил я надзирателями лейтенанта Ромберга и доктора Еспенберга и им только одним позволил покупать жизненные потребности; но когда открылось, что свиней получить было не можно, в кокосах же и плодах хлебного дерева недостатка быть не могло, то по нескольким днях (! — М. Ф.) отменил я сие приказание, позволив выменивать всё, что кому понравится или что попадётся из редкостей сего острова»<sup>[184]</sup>.

О дальнейших событиях капитан-лейтенант Крузенштерн (похоже, знакомый с нижеследующим документом) умолчал.

Ознакомимся теперь с резановской версией происшедшего. Она была изложена в пространном отношении посланника к камчатскому коменданту генерал-майору П. И. Кошелеву от 4 августа 1804 года. Вероятно, камергер кое-где сгустил краски, живописуя «буйство» офицеров, но в целом его взволнованному повествованию можно доверять. Вот что поведал Резанов:

«Апреля 25-го дня, пришед в острова Мендозины, капитан-лейтенант Крузенштерн отдал приказ не выменивать у диких никому, кроме лейтенанта Ромберга и доктора Екенберга <sic>, коим поручено было прежде выменивать свежие жизненные припасы, которых на корабле уже не было. О распоряжении своём должен бы капитан из вежливости прежде известить меня, но как начальство уже давно им не уважалось и к оскорблениям его привыкло, а приказ содержал настоящую пользу, то и не было ему ни слова от меня сказано.

Мена началась на отломки железных обручей, выменивали одни кокосы и хлебные плоды, коими запаслись в изобилии, а как дикие более ничего не привозили, то вскоре и разрешено было от капитана покупать редкости, я просил его позаботиться о коллекции для Императорской кунст-каммеры. Ответ был: „хорошо“; но не исполнен. Когда выменивал я

сам на железки их раковины, капитан подошёл ко мне и сказал, что железо для корабля нужно и чтоб я выменивал на ножи; началась у всех мена на ножи, но я ничего получить не мог и сколько ни просил, что это не для меня, но для императорского кабинета, сие не только было не уважено, но ещё с грубостями вырывается у тех из рук, кому дал я на вымен приказание. Я принуждён был дать прикащику Шамелину <sic> повеление, чтоб он съездил на берег и там выменил; наконец, на ножи уже не меняли, и, когда Шамелин употребил компанейские товары на вымен, то они тотчас были у него отобраны и от капитана клерку (Григорию Чугаеву. — М. Ф.) отданы».

Всё описанное произошло до 14 мая (по новому стилю). А 14-го числа ситуация, судя по резановской хронике, обострилась до предела.

«Чувствуя такие наглости, — продолжал камергер, — увидя на другой день на шканцах<sup>[185]</sup> Крузенштерна, что было мая 2-го, сказал я ему: „Не стыдно ли вам так ребячиться и утешаться тем, что не давать мне способов к исполнению на меня возложенного“. Вдруг закричал он на меня: „Как вы смели мне сказать, что я ребячусь“. — „Так, государь мой, — сказал я, — весьма смею как начальник ваш“. — „Вы начальник! Может ли это быть? Знаете ли, что я поступлю с вами, как не ожидаете?“ — „Нет, — отвечал я, — не думаете ли и меня на баке<sup>[186]</sup> держать, как Курляндцева? Матросы вас не слушают, я сказываю вам, что, ежели коснётесь только меня, то чинов лишены будете. Вы забыли законы и уважение, которым вы и одному чину моему уже обязаны“.

Потом удалился я в свою каюту. Немного спустя вбежал ко мне капитан, как бешеный крича: „Как вы смели сказать, что я ребячусь, знаете ли, что есть шканцы? Увидите, что я с вами сделаю“. Видя буйство его, позвал я к себе надворного советника Фоссе, титулярного советника Брыкина <sic> и академика Курляндцева, приказал им быть в моей каюте и защитить меня от дальних наглостей, кои мне были обещаны».

И вот тут в острый конфликт начальников вмешались прочие офицеры с «Надежды» и «Невы», горой стоявшие за капитан-лейтенанта Крузенштерна. Одним из самых активных был, естественно, граф Фёдор Толстой.

«Спустя несколько времени приехал с „Невы“ капитан-лейтенант Лисянский <...> и мичман Берг, созвали экипаж, объявили, что я самозванец, и многие делали мне оскорбления, которые, наконец, при изнурённых уже силах моих, повергли меня без чувств.

Вдруг положено вытащить меня на шканцы к суду. Граф Толстой <...> бросился было ко мне, но его схватили и послали лейтенанта Ромберга,

который, пришед ко мне, сказал: „Извольте идти на шканцы, офицеры обоих кораблей вас ожидают“. Лёжа почти без сил, отвечал я, что не могу идти по приказанию его. „Ага! — сказал Ромберг. — Как браниться, так вы здоровы, а как к разделке, так больны“. Я сказал ему, чтоб он прекратил грубости, которые ему чести не делают, и что он отвечать за них будет.

Потом прибежал капитан. „Извольте идти и нести ваши инструкции, — кричал он, — оба корабля в неизвестности о начальстве, и я не знаю, что делать“. Я отвечал, что „довольно уже и так вашего ругательства, я указов государевых нести вам не обязан, они более до вас, нежели до офицеров, касаются, и я прошу оставить меня в покое“; но, слыша крик и шум: „Что трусить? Мы уже его!“, решился я выйти с высочайшими повелениями».

Это был настоящий бунт; по правде говоря, бунт совершенно бессмысленный — и грозивший вот-вот стать беспощадным. Быть может, появление Резанова на палубе и предотвратило пролитие крови. Как бы ни относиться к посланнику, должно признать, что в решительную минуту, когда всё висело на волоске, он повёл себя мужественно.

«Увидя в шляпе Крузенштерна, приказал ему снять её, хотя из почтения к императору, и, прочтя им высочайшее мне поручение начальства, услышал хохот и вопросы: кто подписал? Я отвечал: „Государь ваш Александр“. — „Да кто писал?“ — „Не знаю“, — сказал я. — „То-то, не знаю, — кричал Лисянский, — мы хотим знать, кто писал, а подписать-то знаем, что он всё подпишет“.

Наконец все, кроме лейтенанта Головачёва, подходили ко мне со словами, что „я бы с вами не пошёл“, и заключили тем: „Ступайте, ступайте с вашими указами, нет у нас начальника, кроме Крузенштерна“; иные с смехом говорили: „Да он, видишь, ещё и хозяйствующее лицо компании“. „Как же, — кричал Лисянский, — и у меня есть полухозяин — прикащик Коробицын!“ А лейтенант Ратманов дополнил: „Он будет у нас хозяином в своей койке; ещё он прокурор, а не знает законов, что где объявляет указы“, и, ругая по-матерну, кричал: „Его, скота, заколотить в каюту“.

Я едва имел силу уйти в каюту...» <sup>[187]</sup>

Дверь за Резановым плотно закрылась — и тем самым завершилось очередное действие затянувшейся драмы.

«Какова была дисциплина, какова роль обоих командиров, едва ли требуются комментарии. Безобразная картина эта говорит сама за себя» — так оценил происшествие дореволюционный историк К. А. Военский <sup>[188]</sup>.

Расходясь со шканцев, разгорячённые мятежники конечно же не

задумывались о своём будущем. И зря: то, что сотворили потерявшие голову капитан-лейтенанты и подчинённые им офицеры, было самым натуральным воинским преступлением и грозило суровым, вплоть до разжалования, наказанием. А недвусмысленные угрозы типа «Мы уже его!», раздававшиеся из беснующейся толпы, и вовсе пахивали Сибирью.

Вина же подпоручика Фёдора Толстого, едва не вытащившего «к разделке» полномочного министра, многократно превосходила прегрешения всех прочих: ведь граф, в отличие от морских офицеров, формально «принадлежал начальству» посланника Резанова (хотя и был выключен в Бразилии из кавалеров миссии).

Бунт бунтом, однако путешественники нашли для себя в десятидневное пребывание на Нукагиве и иные любопытные занятия. Расскажем вкратце хотя бы о некоторых.

На острове, среди гор, водопадов и экзотических растений, жили людоеды, временами воевавшие со своими соседями и, в случае удачи, пожиравшие их (как выразился приказчик Н. И. Коробицын, «тела убитых неприятелей употребляются в пищу с восторгом»<sup>[189]</sup>). Но к вооружённым европейцам — «существам высшим», чьи «корабли снисходят с облаков»<sup>[190]</sup>, — они (во главе с высокорослым и мужественным нукагивским королём, коего величали Тапега Кеттонове) отнеслись миролюбиво и, за исключением одного эпизода (возникшего из-за недоразумения), были более чем гостеприимны.

На фрегаты повадились плавать многочисленные делегации «недурных» островитянок — по характеристике Лисянского, «венерино войско» — с недвусмысленными предложениями, которые тот же Коробицын определил так: «Показывая разными пантомимами знаки о склонности своих слабостей»<sup>[191]</sup>. Моряки с превеликой охотой приглашали почти обнажённых, намазанных кокосовым маслом туземок погостить денёк-другой. Нравы местных жителей оказались на удивление либеральными: в частности, братья сожительствовали с сёстрами, у многих женщин имелось по два мужа, а понятие супружеской измены трактовалось ими расширительно и своеобразно. Доселе жившие автономно японцы приобщились к развлечениям россиян и позже восхищались: «До самого отъезда женщины очень охотно оставались всё время у нас и заботились о всех нас, как бы наши жёны»<sup>[192]</sup>.

«Фёдор Иванович не преминул воспользоваться их визитом», — безапелляционно заявил в XX столетии С. Л. Толстой<sup>[193]</sup>, и надо признать,

что в данном случае биограф навряд ли ошибся.

Удивили участников экспедиции и тела взрослых нукагивцев, испещрённые «разными узорами». «Искусство сие, составляющее некоторый род живописи, — читаем у Крузенштерна, — нигде не доведено до такого совершенства, как на островах Вашингтоновых; оно состоит в том, что прокалывают кожу и втирают разные краски, а обыкновенно чёрную, которая делается после тёмно-синюю. Король, отец его и главные жрецы отличаются тем, что расписаны темнее прочих. Все части тела их украшены сим образом. Лицо, глаза, даже и те места головы, на коих острижены волосы, покрыты сею живописью. <...> Расписывают тело своё не прямолинейными начертаниями и изображениями животных, как то делают на островах Сандвичевых, но употребляют улитковые и другие кривые линии, располагая их на обеих сторонах тела. У женщин расписаны только руки, уши, губы и весьма немногие части тела. Люди нижнего состояния украшаются такою живописью мало, большая же часть оных совсем не расписываются. Из сего заключать должно, что такое украшение принадлежит знатым особам или людям, имеющим перед другими особенное отличие»<sup>[194]</sup>.

В «Журнале первого путешествия россиян вокруг земного шара...» Ф. Шемелина о татуировках островитян сказано следующее: «Вся роскошь в украшении себя состоит в разрисовании тела и лица разнообразными фигурами в буро-синий цвет.

Знатные имеют особливые знаки, отличающие их от простолюдинов. Рисунки их хотя собственного вкуса, но так правильны и приличны каждому члену тела, что нельзя придумать лучше. Король и знатные люди, а паче старики, больше всех испещрены, отчего и кажутся они совершенными африканцами; но есть много и таких людей, а паче молодых, которые не имеют на себе ни одной ещё черты»<sup>[195]</sup>.

Колоритны строки о «насечках» из «Записок» другого приказчика, Н. И. Коробицына: «...Тело всio по древнему уже их обыкновению истатуено, или насечено разными фигурами с чёрной краской с искусством препорцальности, что между ими и почитается наилучшим украшением и отличием их преимущества»<sup>[196]</sup>.

И Лисянский уделил пристальное внимание «татуировке», описав её примерно теми же словами, что и Крузенштерн. В завершение же темы капитан-лейтенант «Невы» добавил: «Этот обычай сперва показался мне странным, но напоследок телесная пестрота островитян казалась мне весьма красивой»<sup>[197]</sup>.

В записках Ивана Крузенштерна, касающихся «тату» (именно так, в ту пору ещё непривычно для путешественников, называли своё «искусство» туземцы), есть особенно интересный для нас фрагмент. Вот что сообщил мемуарист:

«Между нукагивцами находятся великие искусники в ремесле сём. Один из них, быв у нас на корабле во всё время нашей здесь бытности, находил много для себя работы, потому что почти каждый из корабельных служителей приглашал его к сделанию на нём какого-либо узора по его искусству»<sup>[198]</sup>.

Но не только простолюдины захотели навсегда сохранить чудную память о пребывании среди дикарей. Крузенштерн умолчал о том, что кость с острыми зубцами, вправленная в тонкую бамбуковую палочку, оставила свой вечный след и на атлетическом теле графа Фёдора Толстого. Кажется, наш герой оказался единственным среди «благородных» путешественников, кто — потехи ради или по какой иной причине — возжелал приобщиться к касте испещрённых каннибалов. Само собой разумеется, что подпоручику мечталось быть разукрашенным если не по-королевски, то хотя бы *максимально почётно*.

(Через четверть века М. Ф. Каменская оказалась в царскосельском доме на обеде, после которого дядюшка — в который уже раз — демонстрировал обществу нукагивскую «живопись». Распахнув рубашку, Толстой «открыл свою грудь и выпятил её вперёд. Все за столом привстали с мест и начали внимательно разглядывать её: вся она сплошь была татуирована. В самой середине сидела в кольце какая-то большая пёстрая птица, что-то вроде попугая, кругом какие-то красно-синие закорючки... Когда все зрители достаточно нагляделись на рисунки на груди, Фёдор Иванович Толстой спустил с себя сюртук и засучил рукава рубашки: обе руки его тоже были сплошь татуированы, на них вокруг обвивались змеи и какие-то дикие узоры... Дамы охали и ахали без конца <...>. Когда Фёдор Иванович покончил с дамами, кавалеры увели его наверх, в светёлку к дедушке (А. А. Толстому. — М. Ф.), и там снова раздели и разглядели уже всего, с ног до головы...»<sup>[199]</sup>).

Если сравнить описание М. Ф. Каменской с вышеприведёнными наблюдениями Крузенштерна и Ф. Шемелина, то станет ясно, что король людоедов Тапега Кеттонове был испещрён «узорами» всё же в большей степени, нежели граф Фёдор Толстой. Однако нашего героя умелец с острова татуировал как «знатную особу», что тоже должно было льстить подпоручику.)

«Надежда» и «Нева» покинули бухту Тайо-Гое 18 мая 1804 года «при весьма худой погоде» и пошли по направлению к Сандвичевым островам.

После всех происшествий на Нукагиве Николай Резанов затворился в каюте и не показывался на палубе.

По кораблю между тем поползли зловещие слухи, что на посланника готовится покушение. Это известие, переданное Резанову сердобольными матросами, окончательно добило камергера, и он, как оповестили кавалеры команду, слёг в постель. «Дух его лишился всей бодрости, после того воображались ему одни только ужасы смерти и ежеминутные о том опасения, — писал в „Журнале“ соратник Резанова Ф. Шемелин. — Он при малейшем шуме, стуке на шканцах или в капитанской каюте произошедших, изменялся в лице; трепетал и трясся; биение сердца было непрерывное. Он долгое время не мог приняться за перо и трясущимися руками что-либо изображать на бумаге; здоровье его в продолжении пути до Сандвичевых островов сколько за неимением свежей пищи, а больше от возмущения душевного и беспокойств разного рода, так изнурилось и изнемогло, что мы опасались лишиться его навеки» <sup>[200]</sup>.

25 мая 1804 года в три часа пополудни путешественники сызнава перешли экватор.

Сам Резанов через несколько месяцев докладывал, что за всё случившееся он «заплатил жестокою болезнью, во время которой доктор ни разу не посетил меня, хотя все известны были, что я едва не при конце жизни находился. Ругательства продолжались, и я принуждён был, избегая дальних дерзостей, сколь ни жестоко мне было проходить экватор, не пользуясь воздухом, высидеть, никуда не выходя...» <sup>[201]</sup>.

В распоряжении ретировавшегося с палубы посланника находилась небольшая горстка не совсем надёжных людей, с ними он никак не мог прать против рожна. Решив не мозолить глаза недругам, больной, раздавленный Николай Резанов попытался таким манёвром оградить себя от провокаций и уменьшить вероятность нового, с непредсказуемыми последствиями, столкновения с офицерской ватагой.

И чем ближе становились отеческие берега, тем сильнее верилось камергеру, что избранная им после Нукагивы тактика закрытых дверей была не столько трусливой, сколько оправданной, нетривиальной и, пожалуй, единственно верной. Такие бодряческие мысли особенно полюбились узнику: они на какое-то время унимали дрожь в членах.

Было над чем призадуматься в те недели и перекипевшим бунтовщикам, и прежде всех коноводам — капитан-лейтенанту Ивану

Крузенштерну и подпоручику графу Фёдору Толстому. Ведь «Надежда» на всех парусах гордо несла их по волнам к землям, где имелись представители российской власти, стояли под ружьём воинские команды и через пень-колоду, но всё ж таки действовали имперские законы.

«По 21-дневном нашем от островов Маркеских плавании достигли мы на вид из числа Сандвических остров Овигии», — замысловато отметил приказчик Н. И. Коробицын<sup>[202]</sup>. На следующий день, 9 июня, «Надежда» и «Нева» легли в дрейф против юго-западной оконечности острова Овиги (Овайхи, Гавайи).

Здесь, согласно ранее согласованному плану, кораблям предстояло разделиться. «Неве» с Лисянским надлежало следовать к американским берегам, на остров Кадьяк, а «Надежда» с Крузенштерном и Резановым должна была взять курс на Камчатку и уже оттуда идти с посольством в Японию, в Нагасаки.

Усталые путешественники собирались перевести дух и запастись на острове свежим продовольствием, в котором давно и остро нуждались. («Даже офицеры более двух месяцев питались одной только солониной», — подчеркивал Лисянский<sup>[203]</sup>.) Посему предполагалось, что мореходы задержатся в Каракаоа (резиденции короля островитян) на несколько дней.

Однако далее произошло непредвиденное: Крузенштерн внезапно объявил, что «Надежда» покидает Овиги 10-го числа, то есть уже через несколько часов.

Сторонники капитан-лейтенанта встретили это распоряжение с недоумением, а свита посланника — с едва скрываемым возмущением. Лисянский (который «вознамерился остановиться на несколько дней у Каракаоа и потом уже продолжать плавание своё к острову Кадьяку»<sup>[204]</sup>) попытался уговорить командира ненадолго бросить якорь — возможно, два капитан-лейтенанта даже повздорили<sup>[205]</sup>, — но Крузенштерн остался непреклонен.

В записках Иван Фёдорович дал довольно пространное, любопытное и нескладное объяснение своему спонтанному решению:

«Хотя я и очень мало имел надежды запастись здесь свежеею провизией, однако не хотел в том совсем отчаиваться до тех пор, пока не испытаем того у западного берега и в близости Каракаоа. В сём намерении приказал я в час пополуночи поворотить и держать к северу. Густой туман покрывал весь остров. В 8 часов зашёл ветер к северу и сделался так слаб, что если бы и был попутный, то и тогда не имели бы мы надежды

приблизиться к Каракакоа. Сие неблагоприятствовавшее обстоятельство и неизвестность, получим ли что и в Каракакоа, побудили меня переменить намерение. Я решился, не теряя ни малейшего времени, оставить сей остров и направить путь свой на Камчатку, куда следовало прийти нам в половине июля. Но прежде объявления о таковом моём намерении приказал я доктору Еспенбергу осмотреть всех служителей наиточнейшим образом. К счастью, не оказалось ни на одном ни малейших признаков цинготной болезни. Если бы заметил он хотя некоторые знаки сей болезни, тогда пошёл бы я непременно в Каракакоа, невзирая на то, что потерял бы целую неделю времени, которое было для нас драгоценно, ибо при перемене прежнего плана обязался я прийти в Нагасаки ещё сим же летом, что по наступлении муссона долженствовало быть сопряжено с великими трудностями»<sup>[206]</sup>.

У осведомлённого читателя создаётся впечатление, что Иван Крузенштерн, сочиняя в кабинете данный пояснительный текст, пожелал во что бы то ни стало скрыть истинные мотивы своего скоропалительного решения. Однако сделал он это крайне неумело: ведь аргументы, приведённые капитан-лейтенантом, на поверку оказываются пустословием, которое легко опровергается.

Так, если верить Крузенштерну, то получается, что шансов запастись продовольствием на острове у него практически не было. Но разве можно было сделать такой однозначный вывод в совершенной темноте или в густом тумане, притом не приближаясь к берегу и даже не высылая на Овиги никакой разведки? Кстати, «Нева», задержавшись на Сандвичевых островах, добыла-таки здесь вожаденную провизию, и в изрядном количестве.

Далее, по Крузенштерну, выходит, что будь хоть кто-нибудь из команды тогда болен, он «непременно» остался бы на острове на целую неделю; однако нездоровых при «наиточнейшей» врачебной проверке так и не обнаружилось. Акцентируя внимание публики на матросах «Надежды», капитан-лейтенант опять слукавил: на самом деле он прекрасно знал, что недомогал живописец Степан Курляндцов; что после Нукагивы захворал нервической болезнью, и довольно серьёзно, камергер Резанов. Ф. Шемелин, к примеру, был убеждён, что стоянка абсолютно необходима для выздоровления на ладан дышащего посланника: «Он один заслуживал, чтоб для восстановления его здоровья или, по крайней мере, некоторого облегчения его страданий, пожертвовано было несколькими днями, чтоб в оные позволить пробывать ему в Каракакоа, отдохнуть и освежиться», —

писал приказчик<sup>[207]</sup>. Схожего мнения придерживались и некоторые другие путешественники. Но Крузенштерн (который, думается, всё же не собирался *уморить* Резанова во время плавания) как будто забыл о пребывающем взаперти недужном.

И, наконец, третий, генеральный резон капитан-лейтенанта «Надежды»: он-де экономил каждую минуту, «не терял ни малейшего времени» и оставил Овиги в одночасье, дабы как можно быстрее, ещё до начала отвратительного сезона муссонов, оказаться на Камчатке и в Японии. Однако и здесь есть заковыка.

Нам известно, что, покинув Сандвичевы острова, Иван Фёдорович горячку не порол и про цейтнот если и вспоминал, то отнюдь не всегда. Более того, вскоре он пошёл не напрямик на северо-запад, к камчатским берегам, а явно в другую сторону — к западу, по 36-й параллели. Там капитан-лейтенант озаботился поисками «того острова, которого в прежние времена уже искали испанцы и голландцы многократно»<sup>[208]</sup>. И на безуспешное «искание острова» Крузенштерном были потрачены не часы — драгоценные сутки.

На наш взгляд, натужные объяснения понадобились Крузенштерну единственно для того, чтобы скрыть истинную подоплёку его торопливости.

Ибо покинуть остров капитан-лейтенанта вынудили не выдуманные им ретроспективно обстоятельства — вынудил подпоручик граф Фёдор Толстой.

К тому времени наш герой уже окончательно понял, что на Камчатке его не ждёт ничего хорошего. Поняв же, придумал дерзкую спасительную комбинацию, о которой, не удержавшись, поведал закадычным корабельным приятелям. Тут он совершил непростительную ошибку: кто-то из наперсников в два счёта донёс Крузенштерну, что Фёдор Толстой собирается покинуть «Надежду» на Сандвичевых островах. (Позднее, уже в Петропавловской гавани, о замысле подпоручика узнал и камергер Резанов, который попытался лично удостовериться, «хотел ли граф Толстой остаться в Сандвичевых островах и что тому было причиною»<sup>[209]</sup>. А ещё позже нереализованный проект графа преобразовался — несомненно, при поддержке нашего героя — в цикл анекдотов о том, как Фёдора Толстого высадили-таки на некоем острове в океане.)

План графа Толстого, как нам представляется, был донельзя прост и изящен. Он исподволь выходил из игры, сокращая тем самым заправлявшее на «Надежде» смутой *трио до дуэта*. Оказавшись на острове Овиги, граф

легко мог затаиться, раствориться в зарослях (допустим, «попасть в плен», «быть убитым» и т. д.) и спокойно дожидаться отплытия «Надежды». А дождавшись — внезапно воскреснуть, средь бела дня объявиться на «Неве» и пойти с Юрием Лисянским на остров Кадьяк; оттуда же — через три океана и окрест Африки — в старушку Европу...

Таким лихим манёвром подпоручик избегал посещения опасной Камчатки и, главное, вынуждал двух схлестнувшихся начальников — Ивана Крузенштерна и Николая Резанова — напрямую, без привлечения *третьих лиц*, объясняться с камчатскими и прочими властями касательно офицерского бунта и иных экспедиционных коллизий.

И не беда, что в случае (маловероятном) одновременного ухода «Невы» и «Надежды» Фёдору Толстому пришлось бы задержаться на Сандвичевых островах до прихода какого-либо подходящего судна. Граф оставался в выигрыше при любом раскладе: ведь неприятное *rendez-vous* с блюстителями российских законов откладывалось для него на неопределённое время, на год с лишком<sup>[210]</sup>, — а за такой срок в милом отечестве всякое могло случиться; его, то есть год, ещё надобно было прожить.

Разумеется, описанный сценарий совершенно не устраивал Крузенштерна. Но помешать осуществлению толстовского плана, остановить *такого* человека командир мог разве что одним, радикальным способом: он должен был отменить намечавшуюся стоянку «Надежды» и в кратчайшие сроки, лишая графа всякой возможности выйти на берег, удалиться от острова Овиги. Именно так, к удивлению одних и огорчению других участников экспедиции, капитан-лейтенант и поступил.

Под вечер 10 июня 1804 года, наспех попрощавшись с «Невой», «Надежда» вышла в открытое море. «В 7 часов спутника нашего не видно было уже и в горизонте», — записал находившийся на «Неве» Н. И. Коробицын<sup>[211]</sup>.

Начался последний переход флагманского фрегата на десятимесячном его пути из Кронштадта к Камчатке.

Всякие, и не только сладостные, думы посещали путешественников в эти «35 дней благополучного плавания»<sup>[212]</sup> к восточным берегам отчизны.

Скажем, измученный и больной посланник Николай Резанов мечтал о том, чтобы доплыть до российской земли, не испустить дух по дороге. Он пребывал в полнейшей апатии, моментами доходил до крайности: намеревался в Петропавловском порту сложить с себя все полномочия и отказаться от визита в Японию.

Хмурый Иван Крузенштерн, так и не открывший таинственного острова, напротив, выглядел возбуждённым, взволнованным. Даром что успехи его экспедиции были внушительны — грехи за прославленным капитан-лейтенантом тоже водились в избытке. По вступлении на камчатский берег ему предстояло, среди прочего, сделать всё возможное, дабы раздобыть себе ту или иную индульгенцию.

Лейтенант Пётр Головачёв, «один из самых благородных моряков того времени»<sup>[213]</sup>, выступивший в защиту посланника и ошельмованный за это большинством офицеров, в указанные дни уже находился во власти ипохондрии, «смущённых мыслей» и от случая к случаю подумывал о самоубийстве<sup>[214]</sup>.

А граф Фёдор Толстой вёл себя в июне и первой половине июля как прежде, всё так же бесшабашно.

Он знал, что Крузенштерн раскусил его план; догадывался, какая роль будет отведена ему на Камчатке, где, по всем признакам, должно завершиться его весёлое путешествие. Но чело подпоручика от этого не мрачнело, и он не тужил: предвкушал занятную, почти шекспировскую развязку.

16 июля 1804 года «в 11 часов перед полуднем вошли мы в Авачинскую губу; в 1 час пополудни стали на якорь в порте Св. Петра и Павла», — зафиксировано в записках Ивана Крузенштерна<sup>[215]</sup>.

Посланник Резанов, в камергерской форме, «вышед на шканцы, <...> перекрестился и громко сказал: „Благодарю Бога, наконец я под защитою законов моего отечества!“»<sup>[216]</sup>.

Потом он сразу же покинул нелюбезную «Надежду» и, съехав на берег, расположился в доме петропавловского коменданта майора Крупского.

«Свобода, берег, чистой воздух и свежая пища, к обрадованию нашему, оживила нашего начальника, — вспоминал Ф. Шемелин. — Он тотчас принял бодрый дух, и физические его изнемогшие силы приметно стали поправляться»<sup>[217]</sup>. Тогда же (или на следующий день) камергер сделал отчаянную попытку склонить чашу весов в свою пользу. Николай Резанов написал письмо правителю области Камчатской и шефу Камчатского гарнизонного батальона генерал-майору П. И. Кошелеву, который находился в Нижнекамчатске, за 700 вёрст от Петропавловской гавани. Дипломат настоятельно просил генерал-майора как можно скорее прибыть в Петропавловск:

«Имею я крайнюю нужду видеться с вашим превосходительством и по высочайше вверенным мне от государя императора поручениям получить нужное от вас, как начальника края сего, пособие. У меня на корабле взбунтовались в пути морские офицеры. Вы не можете себе представить, сколь много я вытерпел огорчения и насилу мог с буйными умами дойти до Отечества. Сколь ни прискорбно мне, соверша столь многотрудный путь, остановить экспедицию, но, при всём моём усердии, не могу я исполнить японского посольства, и особливо, когда одне наглости офицеров могут известь неудачу и расстроить навсегда государственные виды. Я решился отправиться к государю и ожидаю только вас, чтоб сдать вам, как начальствующему краем, всю вверенную мне экспедицию»<sup>[218]</sup>.

Бумага была составлена с дипломатической тонкостью и вместе с тем весьма походила на ультиматум.

Из резановского письма, если в него внимательно вчитаться, следовало, что летом 1804 года в Петропавловской гавани — сиречь на подвластной его превосходительству Кошелеву территории — решалась судьба важного направления внешней политики Российской империи. Посланник иносказательно, но жёстко требовал от генерал-майора присылки воинской команды («пособия») для усмирения тех «буйных умов», которые воспрепятствовали исполнению его, Резанова, чрезвычайной миссии. В противном случае — если не будет решительно пресечена «наглость офицеров» — камергер грозился избавить себя от высочайше пожалованных ему полномочий, возлагал всю ответственность за происходящее на господина Кошелева и намеревался лично доложить императору Александру I о причинах краха японского посольства. Намёк был прозрачен: начальник края, не сумевший в критический момент употребить свою почти необъятную власть, вполне мог впасть в немилость у царя, а то и разделить участь вышедших из повиновения «морских офицеров».

Особый курьер что есть духу помчался с этим посланием в Нижнекамчатск.

А капитан-лейтенант Крузенштерн и на суше продолжал командовать. «Хотя г. Капитану одному в Японию идти было не можно, но ему угодно было распоряжаться и здесь так же, как и в море, по собственному произволению, — рассказывал Ф. Шемелин. — Начальник (Резанов. — М. Ф.) удивлялся, смотрел на всё сие с прискорбием и до времени ни в чём ему не препятствовал»<sup>[219]</sup>.

Учитывая огромное расстояние, которое надобно было преодолеть

нарочному, а затем и Кошелеву, генерал-майора в Петропавловске, как выразился Крузенштерн, «и чрез четыре недели ожидать было не можно»<sup>[220]</sup>. Однако содержание резановской бумаги возымело-таки действие и заставило камчатского начальника совершить почти невозможное: Павел Кошелев прибыл в Петропавловскую гавань уже 1 августа. Его сопровождали два обер-офицера — адъютант начальника, его младший брат поручик Д. И. Кошелев, и капитан И. И. Фёдоров. Под их командой пришло целых шестьдесят солдат Камчатского гарнизонного батальона.

В тот же день состоялась встреча и продолжительная беседа Кошелева и Резанова, в ходе которой посланник ознакомил генерал-майора с имеющимися у него документами, подписанными императором, и поведал о бунте офицеров и обо всех своих унижениях. Правитель области Камчатской, не откладывая, принял решение о проведении расследования. Оно велось в тайне от большинства путешественников и продолжалось с неделю.

В течение этой недели Кошелев, в присутствии камергера Резанова, поочерёдно допрашивал всех бунтовщиков, начав с Крузенштерна, и проводил очные ставки. «Ни о чём не было слышно», — утверждал впоследствии Ф. Шемелин. Однако наблюдательный приказчик всё же заметил, что капитан-лейтенант «Надежды» «начал почасту посещать господина генерал-маиора Кошелева»<sup>[221]</sup>.

Скорее всего, в означенные дни сделал свой заключительный ход и граф Фёдор Толстой. В отличие от Крузенштерна, протоптавшего ради «посредничества и покровительства» дорожку к камчатскому губернатору, наш герой сочинил и передал посланнику письмо, в котором признал свои вины. Видя, к чему клонится дело, он — быть может, через силу — покался и воззвал к милосердию Резанова.

А камергер с каждым днём был всё ближе к победе — и поэтому с удовольствием дирижировал следствием, пристально следя за тем, чтобы бунтовщики ничего не утаили от производившего дознание (и всё более смущавшегося) Кошелева. 4 августа 1804 года посланник вручил губернатору подробное, со смакованием деталей, описание бунта в бухте Тайо-Гое, «на островах Мендозиных». А после окончания серии утомительных допросов Николай Резанов препроводил генерал-майору своё мнение об услышанном и дал ему конкретные рекомендации:

«Ваше превосходительство изволили быть свидетелем справедливых укоризн моих капитану лейтенанту Крузенштерну, не только забывшему

всё должное ко мне, яко особе главного начальника, уважение, но преступившему наконец в рассуждении меня все меры человечества. Гнилые оправдания его состояли в том, что будто бы не знал он, что облечён я государевою доверенностию <...>; что когда кричал он на меня, что поступит доро́гою, как я не ожидаю, то это не отчего иного, как от его горячности; что ежели и бывали у него вахтенные офицеры пьяны без чувств и он сам должен был править вахту, то это случилось будто бы однажды, как будто не довольно для гибели судна и одного разу; <...> что лейтенант Ратманов не говорил с ругательством, что в каюту заколотит меня, но что сказал это гораздо вежливее, и прочие подобные сему делал он в присутствии вашем оправдания.

Предоставляя себе от всемилостивейшего государя законную защиту в претерпениях моих от людей, поправших святость высочайшей его воли, я покорнейше прошу ваше превосходительство, как начальника края сего и без пристрастия заслуживающего доверия, исследовать здесь чрез чиновников посольства, штурманов и весь экипаж корабля справедливость всех сих происшествий, а особливо последнего, в островах Мендозиных, <...> и все их показания покорнейше прошу доставить к его императорскому величеству при вашем рапорте. <...> Покорнейше прошу исследовать также, <...> от кого было на жизнь мою покушение, от которого матросы остерегали меня, также часто ли лейтенант Ромберг правил пьяный вахтою».

Не забыл Резанов упомянуть в этой бумаге и про подвиги кавалера посольства графа Фёдора Толстого, который «вышел из повиновения», «ругал меня на шканцах», «производил грубости и ругательства». Заодно посланнику хотелось узнать, с какой стати подпоручику вздумалось задержаться на Сандвичевых островах и «что причиною было письма его ко мне, в котором он раскаявался» <sup>[222]</sup>.

Генерал-майор Кошелев, завершивший расследование, очутился в очень щекотливом положении.

Главным виновником долговременного содома оказывался, вне всяких сомнений, капитан-лейтенант Иван Крузенштерн, которого надлежало (через сибирского генерал-губернатора И. О. Селифонтова) отрешить от вверенного ему командования. (На этом изначально настаивал и Резанов.) Кроме того, примерному (по логике вещей, менее суровому) наказанию должны были подвергнуться и другие смутьяны, распустившиеся офицеры. Однако в таком — безупречном де-юре — случае и дипломатическая миссия в Японию, и само кругосветное плавание россиян, сразу две

исторические акции, могли в одночасье завершиться на Камчатке, и завершиться, мягко говоря, бесславно. Да и реакцию Петербурга на скандальный финал путешествия предугадать было легче лёгкого.

Правитель Камчатской области ломал голову, желая отыскать какой-нибудь пристойный выход из тупиковой ситуации, — и выход к исходу первой недели августа таки обнаружился.

«Чрез восемь дней по прибытии его (Кошелева. — М. Ф.) утверждено было продолжение нашего путешествия» — так выразился в этой связи Крузенштерн<sup>[223]</sup>.

В ходе консультаций Кошелева с Резановым и доверительных бесед генерал-майора с присмирившим Крузенштерном переговорщикам удалось наконец прийти к соглашению, устраивающему всех.

Всех, кроме одного-единственного человека.

Подтвердилась старая и безжалостная, как мир, истина: победителей не судят, а великие дела, увы, требуют жертв.

И разве не подпоручикам от века предначертано идти на закланье?

На роль жертвы в Петропавловской гавани был определён наш герой.

Капитан И. И. Фёдоров, прибывший в гавань вместе с Кошелевым из Нижнекамчатска, отметил в своих «Записках»: «Общим признанием всех нашёлся главной пружиной ссоры бывший кавалером при посольстве гвардии поручик граф Толстой»<sup>[224]</sup>. А барон В. И. Штейнгейль, побывавший в Петропавловске через несколько месяцев после описываемых событий и откровенно беседовавший со сведущими моряками, без обиняков говорил о «драме, *разыгранной* (выделено мной. — М. Ф.) здесь пред отправлением в Японию»<sup>[225]</sup>.

Три начальника постановили «дело решить обещанием забвения о всём происшедшем»<sup>[226]</sup>. Обвинённого во всех смертных грехах графа Фёдора Толстого они исключали из состава экспедиции и списывали на берег. Оставляла «тройка» на Камчатке и «достойных людей»: живописца Курляндцова, с которым в плавании «приключилась жестокая каменная болезнь» и который находился в «отчаянном положении», а также доктора медицины Бринкина, «для вспоможения» больному художнику на «сухом» пути в столицу<sup>[227]</sup>.

Кроме того, Резанов потребовал, чтобы «Крузенштерн и все остальные офицеры, оскорбившие посланника, извинились пред ним в присутствии Кошелева». Выпущавшийся из скверной истории капитан-лейтенант «Надежды» вынужден был согласиться на эту унижительную процедуру.

Мы можем только гадать, участвовал ли подпоручик Фёдор Толстой, попавший в парии, в таком позорище.

Торжественная капитуляция бунтовщиков проходила 8 августа 1804 года. «Сей день был днём радости для всякого подчинённого, развязавшего судьбу многих», — витиевато и не без иронии писал приказчик Ф. Шемелин<sup>[228]</sup>. Офицеры во главе с Крузенштерном, облачившись в полную парадную форму, явились в покои камергера Резанова, где уже находился начальник Камчатки, и публично покаялись во всех прегрешениях. Посланник, тоже в официальном платье, великодушно принял извинения блудных сынов российского флота.

Спустя несколько часов Резанов направил генерал-майору Кошелеву следующее письмо:

«Милостивый государь мой Павел Иванович!

Хотя и препроводил я к вашему превосходительству при отношении моём о неприятных со мною в пути происшествиях записку, с тем, чтобы вы, милостивый государь мой, справедливость оной через всех чиновников и экипаж корабля „Надежда“ исследовав, донесли Его Императорскому Величеству; но как раскаяние господ офицеров, в присутствии вашем принесённое, может быть мне вперёд порукою в повиновении, а польза отечества, на которую посвятил я уже всю жизнь мою, ставит меня выше всех личных мне оскорблений, лишь бы только успел я достичь моей цели, то весьма охотно всё случившееся предаю забвению и покорнейше прошу вас оставить бумагу мою без действия; о каковом согласии всея вверенная мне экспедиции всеподданнейше донесу Его Императорскому Величеству»<sup>[229]</sup>.

Теперь уже ничто не мешало руководителям экспедиции продолжить и достойно завершить свою историческую миссию. «Не забыты были по восстановлению мира обеда, ужины и вечеринки», — подчеркнул обстоятельный, умеющий заметить существенное Ф. Шемелин<sup>[230]</sup>. Известно, что камчатские пиры, в которых Резанов, Крузенштерн и Кошелев, выбросив из головы надвигающиеся муссоны, участвовали «с особенным удовольствием», были обильны, шумны и продолжались не один день.

Кому-то эти застолья в краю сопок, быть может, напомнили языческие ритуалы далёких предков, происходившие возле свеженасыпанных жертвенных курганов.

Только к середине месяца Николай Резанов сумел прийти в себя, собраться с силами и составил (16 и 17 августа) два донесения на

высочайшее имя, где, не скупясь на краски, описал перипетии трудного плавания от Бразилии до Петропавловска.

«Вверенные начальству моему суда Вашего Императорского Величества свершили знаменитую часть предположенного кругом света путешествия» — так начиналась его первая реляция. Повествуя об «энтузиазме» мореплавателей, посланник между делом поведал императору и о том, кого назначили нарушителем спокойствия: «Сим энтузиазмом, к нещастью своему, воспользовался подпоручик граф Толстой, по молодости лет его... И остался он жертвою поступка своего. Обращая его к месту своему, всеподданнейше прошу Всемиловейшего его прощения»<sup>[231]</sup>. В другом отчёте Александру I камергер лишь обмолвился, что он «возвращает» из Камчатки в Петербург графа Толстого<sup>[232]</sup>.

Добивать двадцатидвухлетнего шалуна триумфатору явно не хотелось.

Впрочем, и потакать повесе он не собирался. В обширном письме на имя сибирского генерал-губернатора И. О. Селифонтова, датированном 18 августа 1804 года, пара абзацев была посвящена лицам, покидающим «Надежду»; есть тут и строки о графе Фёдоре:

«Я возвращаю также лейб-гвардии Преображенского полка подпоручика графа Толстого, раздоры во всей экспедиции посеявшего, и всепокорнейше прошу ваше превосходительство, когда прибудет он в Иркутск, то принять начальничи меры ваши, чтоб он не проживал в Москве<sup>[233]</sup> и действительно к полку явился. Я доносил уже из Бразилии Его Императорскому Величеству о его шалостях и что исключил я его из миссии, а ныне повторил в донесении моём»<sup>[234]</sup>.

Никто из облечённых властью не настаивал тогда, в середине августа, на скорейшем отбытии подпоручика Фёдора Толстого «к месту своему», да и сам граф по Петербургу (где его, кстати, в ту пору произвели в поручики<sup>[235]</sup>) особенно не скучал. Он, по-видимому, стоически перенёс «разыгранную драму» и строил новые, снова авантюрные, планы.

Когда «Надежда», отправляясь в Японию, покидала гавань, — а это произошло, вероятно, 26 августа, — он всё ещё пребывал в Петропавловске.

В распространявшихся современниками анекдотах о высадке графа Фёдора Толстого на каком-то «малоизвестном» острове в тихоокеанском архипелаге есть любопытный эпизод, передаваемый так или приблизительно так: «Когда корабль удалился, Толстой снял шляпу и поклонился командиру, стоявшему на палубе»<sup>[236]</sup>.

Мы предполагаем, что эта сцена не выдумана: она попала в баснословные рассказы из реальной жизни. Так, вполне по-толстовски, мог поступить наш герой 26 августа 1804 года, стоя на ветреном камчатском берегу и глядя на выходящую из гавани «Надежду». Он нашёл способ весьма изысканно, с издёвкой поблагодарить капитан-лейтенанта Крузенштерна за всё.

Ответить «доброму и скромному»<sup>[237]</sup> Ивану Крузенштерну на этот жест было нечем.

К сказанному остаётся только добавить, что в полной психологической напряжённости и сарказма интермедии — если её удалось Фёдору Толстому разыграть в действительности — вероятно, участвовала та самая шляпа, которой граф некогда ловил бразильских колибри.

Фрегат «Надежда» ушёл из Петропавловской гавани в Авачинскую губу, а оттуда, поставив все паруса, на юг, в Японию — и, значит, корабль невозвратно покинул пределы нашего повествования. В завершение рассказа о первом кругосветном плавании соотечественников лаконично поведаем читателям о том, как повели себя в дальнейшем главные действующие лица этой истории.

Посольство Николая Резанова, которому придавалось огромное значение, не увенчалось успехом. Вернувшись несолоно хлебавши из Японии в Петропавловск в начале июня 1805 года, камергер оставил «Надежду»<sup>[238]</sup>, перебрался на принадлежащее Российско-Американской компании судно «Мария» и отправился с инспекцией в Русскую Америку, на Кадьяк и в Ситку. По возвращении посланник двинулся по суше на запад, в Петербург. Однако попасть на берега Невы и предстать перед царём Резанову не было суждено: он умер 1 марта 1807 года в Красноярске.

Один из дореволюционных историков, занимаясь изучением конфликта Резанова и Крузенштерна, резонно заметил: «Рязанов <sic>, имея полную возможность отомстить ему за нанесённые оскорбления, старался забыть о них»<sup>[239]</sup>. Подтвердили незлопамятность камергера не только его донесения императору Александру Павловичу с хвалебными отзывами о капитан-лейтенанте, но и путевые заметки. Они печатались посмертно, в начале 1820-х годов, в петербургском журнале «Отечественные записки» (который издавал П. П. Свиньин). Из сочинения под названием «Первое путешествие россиян вокруг света, описанное Н. Рязановым <sic>, полномочным Посланником ко Двору Японскому» публика почерпнула для себя много интересного, но она так ничего и не

узнала ни об офицерском бунте в ходе плавания, ни о сомнительных поступках командира «Надежды».

Иван Крузенштерн, расставшись с камергером, из Петропавловска пошёл в Макао и Кантон, а затем через Китайское море в Индийский океан. Обойдя мыс Доброй Надежды, его фрегат бросил якорь у острова Святой Елены. (Там упокоился лейтенант Пётр Головачёв.) Далее, по Атлантике и до Европы, мореплаватели шли уже безостановочно, и на родной Кронштадтский рейд они прибыли 7 (19) августа 1806 года.

В 1809–1812 годах были изданы три части фундаментальных записок Крузенштерна о кругосветном путешествии, где попавший в фавор автор не очень-то и скромничал и фактически выставил себя *единственным* начальником удачной экспедиции. О графе Фёдоре Толстом кавалер многих орденов Крузенштерн не сказал ни одного худого слова, зато превратившийся в *пассажира* посланник Резанов удостоился ряда завуалированных укоризн. И позднее адмирал Крузенштерн не упускал случая критически отозваться об унизившем его покойнике. «При всём нашем уважении к служебным заслугам почтенного адмирала и к его учёным трудам, — писал упомянутый выше историк, — мы не можем не упрекнуть его в незаслуженной ненависти к Рязанову *<sic>*, которую, как оказывается, он питал к нему до конца своей жизни» <sup>[240]</sup>.

У Фёдора Толстого, по уверениям его дочери, тоже имелись записки об этом путешествии <sup>[241]</sup>, однако они не увидели свет. С офицерами, бывшими в плавании и буйствовавшими наравне с графом, но вышедшими сухими из воды, наш герой впоследствии, кажется, не прительствовал. Памятной медали на андреевской ленте, которой наградили всех участников экспедиции, он, похоже, не получил.

И последнее: праха камергера Николая Резанова граф Фёдор никогда не потревожил. В авторизованных легендах о приключениях подпоручика Толстого в 1803–1804 годах на авансцене неизменно находились Крузенштерн и мифическая обезьяна, поодаль дефилировали другие персонажи, но посланника Резанова среди них не было и в помине.

Нахлобучив выдавшую виды всепогодную шляпу, граф Фёдор Толстой возвратился с берега в приморский посёлок.

Торопиться ему было некуда и незачем, и он рассудил побыть в Петропавловске ещё некоторое время. Позже, рассказывая о разнежившемся Толстом лейтенанту Е. Е. фон Левенштерну, Кошелев признавался: «Он приятный собеседник, но беспутный пёс. Я с трудом

отделался от него после вашего отплытия в Японию»<sup>[242]</sup>. Выходит, что не генерал-майор принудительно отправил наказанного подпоручика восвояси, «к месту своему», а сам Фёдор Толстой однажды соизволил избавить камчатского начальника от своего общества.

Из архивных документов стало известно, что в начале 1805 года барон В. И. Штейнгейль встретил графа Фёдора в Охотске<sup>[243]</sup>. Где же был наш герой и что он делал осенью 1804 года и в пришедшую вслед за той осенью зиму?

Бытовало и доныне доминирует мнение, что граф Толстой тогда «пробрался в Америку, где имел много приключений»<sup>[244]</sup>; что офицер побывал на Алеутских островах и/или на северо-западе Американского континента, в Русской Америке. Такая точка зрения сформировалась ближе к концу первого десятилетия XIX века и была окончательно закреплена в сознании публики известными стихами князя П. А. Вяземского и А. С. Грибоедова («Американец и цыган...», «В Камчатку сослан был, вернулся алеутом...»). А сам граф не только не опровергал расхожие представления, но и охотно блефовал, дополнял байки современников об «Американском берегу»<sup>[245]</sup> своими затейливыми, не поддающимися проверке побасенками.

Например, Ф. В. Булгарину он доверительно рассказывал, что «пробыл некоторое время в Америке, объездил, от скуки. Алеутские острова, посетил дикие племена Галошей<sup>[246]</sup>, с которыми ходил на охоту». Далее Толстой, глазом не моргнув, поведал Фаддею Венедиктовичу «между прочим и то, будто Галоши предлагали ему быть их царём!» По утверждению автора «Ивана Выжигина», графа с тех пор и «прозвали Американцем»<sup>[247]</sup>. Мудрёную повесть о «жизни между дикарями», и опять-таки в Америке, слыхала от дядюшки и юная М. Ф. Толстая (в замужестве Каменская)<sup>[248]</sup>.

Однако эти и прочие увлекательные рассказы о пребывании графа Толстого «на Алеутских островах и в Российско-американских колониях»<sup>[249]</sup> не имеют ни малейшего документального подтверждения и — что ещё более важно — игнорируют навигационные реалии данного региона. (Дабы свести тут концы с концами, гораздые на выдумку авторы всевозможных сочинений начали отправлять возвращающегося из Америки в Россию Фёдора Толстого в ледовый поход через Аляску, — но тогда всемогущий граф явно опаздывал в Охотск или не попадал туда вовсе.) А возникшая в конце XIX — начале XX века версия, согласно которой граф Фёдор посетил в Русской Америке Ситку (эту гипотезу пропагандировал,

ссылаясь на устное сообщение «законоучителя Иркутской гимназии священника Виноградова», С. Л. Толстой<sup>[250]</sup>), вдвойне уязвима.

Дело в том, что в конце лета и осенью 1804 года в Ситке развернулись настоящие военные действия против туземцев, которые вышли из повиновения, разрушили российские поселения и убили «многих невинных людей». В кровопролитных сражениях приняли участие и моряки с находившегося в тех краях фрегата «Нева». Окажись граф Фёдор Толстой здесь в означенную лихую пору, он, конечно, примкнул бы к соотечественникам — и в таком разе неизбежно попал бы и в записки капитан-лейтенанта Юрия Лисянского, и в реляции перепуганных чиновников Российско-Американской компании. А впоследствии, вестимо, появились бы и надлежащие анекдоты о битвах кавалера посольства с дикарями.

Но ни официальных сведений, ни анекдотов о подвигах нашего героя в ситкинских баталиях, естественно, нет.

Короче говоря, Фёдор Толстой в Русской Америке *не был*.

Это отнюдь не означает, что данное ему «авансом» (см. письмо С. Н. Марина, приведённое выше) прозвище «Американец» он оправдал обманным путем, посредством фальсификации. Прежде всего. Толстой, как мы помним, посетил Бразилию — следовательно, граф попал-таки в Америку, правда, в Южную<sup>[251]</sup>. Во-вторых, наш герой довольно долго обретался в местах, находившихся «под протекторатом» Российско-Американской компании, и для современников графа Фёдора, едва знакомых с этногеографией восточного края империи, этого, видимо, было вполне достаточно для причисления Толстого к сонмищу *американцев*.

К месту будет заметить, что в словоупотреблении XVIII — первой половины XIX века «американцами» кого только не называли: и сотрудников Российско-Американской компании, трудившихся на огромной, в тысячи вёрст, территории; и бледнолицых граждан СевероАмериканских Штатов (*jankee*; см., например, пушкинского «Джона Теннера»); и коренных жителей Северной Америки индейцев; и представителей многих народов, живших в Русской Америке, как то: алеутов, эскимосов, колошей...<sup>[252]</sup> При столь расширительном, совершенно не устоявшемся толковании данного слова в «американцев» даже весьма просвещённые лица (вроде А. С. Грибоедова или Ф. В. Булгарина) могли заодно записать и неведомых им *камчадалов*, населявших Камчатку. А записав, не делать особой разницы между ними, «природными сей страны жителями»<sup>[253]</sup>, и, допустим, их близкими соседями — алеутами. К тому же

внешний облик камчадалов, особенности их быта и культуры, разительно отличавшиеся от европейских («цивилизованных»), имел известную схожесть с обликом и прочими этнологическими характеристиками других «диких американцев».

Камчадалы, принявшие христианское исповедание, занимались преимущественно охотой на соболей и рыболовством, регулярно использовались в качестве проводников и курьеров, они славилась радушием и были лояльны к россиянам. «Не могу я умолчать о сих честных людях, которые в доброте сердца, в верности, гостеприимстве, постоянстве, повиновении и преданности к начальникам не уступают многим самым просвещённым народам, — писал изучавший этот народ Иван Крузенштерн. — Они полезны во многих случаях, а часто даже и необходимы. Камчадалы не живут в городах, построенных россиянами, но рассеянно во внутренности Камчатки малыми селениями, называемыми острогами различной величины. <...> Каждый острог состоит под непосредственным начальством тайона, избираемого ими из всего своего общества <...>. В тайоны избирают обыкновенно прилежнейшего камчадала, отличающегося своим хорошим поведением, а больше стараются выбирать из старинных тайонских фамилий, которые были тайонами до покорения россиянами Камчатки»<sup>[254]</sup>.

В другом месте записок капитан-лейтенант Крузенштерн упомянул о камчадалах, «живущих около Петропавловска»<sup>[255]</sup>. Видимо, в эти-то остроги (обычно насчитывавшие тогда, после сильной эпидемии, 15–20 человек) и наведывался отдыхавший Фёдор Толстой. Здесь граф мог погостить, испить «горячего вина» (к коему камчадалы имели явную склонность) и разжиться всяческими вещами, этнографическими редкостями, которые позднее с гордостью демонстрировал столичным приятелям. «Дома он одевался по-алеутски, — свидетельствовал один из знакомцев графа Фёдора, — и стены его увешаны были оружием и орудиями дикарей, обитающих по соседству с нашими Американскими колониями»<sup>[256]</sup>. Впрочем, в домашнем музее графа Толстого, скорее всего, были представлены диковинные предметы, добытые, как выразилась его дочь, «во всех странах света».

Итак, отдохнув в Петропавловске и в окрестностях порта, среди горячих ключей и дикарей, достаточно долго, граф Фёдор Толстой не стал, по нашему убеждению, «пробираться» в Америку — он, обязанный возвращаться в Преображенский полк, выбрал для себя другое продолжение путешествия. И в распоряжении биографа есть разрозненные

опорные факты, из коих, как из кубиков смальты, составляется определённая мозаичная картина.

Прежде всего, обратимся к автобиографической хронике Прасковьи Фёдоровны Перфильевой «Несколько глав из жизни графини Инны», которая была напечатана в журнале «Русский вестник» в 1864 году. Там, по утверждениям автора, дочери графа Фёдора, отец её «верно обрисован» в образе графа Камского (почти Камчатского) и в рассказах о нём «нет ничего прибавленного»<sup>[257]</sup>. Три строки этого сочинения, могущего считаться достоверным историческим источником, посвящены интересующему нас эпизоду. Вот они:

«Во время одного из своих путешествий он вынужден был для возвращения в Россию поступить матросом на купеческое судно»<sup>[258]</sup>.

Но возвращаться в Россию из Петропавловска морем значило в ту пору одно: *идти в Охотск*, лежащий на берегу Охотского моря.

Такие переходы — через проливы севернее Курильских островов — в начале XIX столетия стали обыденными, и за одну навигацию несколько кораблей Российско-Американской компании пересекали Охотское море в обоих направлениях. Барон В. И. Штейнгейль, например, в течение ряда лет водил «казённые транспорты» из Охотска в Петропавловск и обратно<sup>[259]</sup>. А в июне 1805 года на петропавловском рейде, как зафиксировал Иван Крузенштерн, находились сразу два купеческих судна, пришедшие из Охотска, — «Феодосия» и «Мария»<sup>[260]</sup>. Добавим, что и списанные на берег с фрегата «Надежда» одновременно с Фёдором Толстым живописец Курляндцов и доктор («натуралист по части ботаники»<sup>[261]</sup>) Бринкин были отправлены в Петербург также через Охотск<sup>[262]</sup>.

На каком-то из курсировавших между портами судов Российско-Американской компании однажды очутился и граф Фёдор Толстой — его приняли на борт в качестве простого матроса (или якобы матроса). Думается, что это произошло во второй половине сентября 1804 года, то есть почти через месяц после отплытия «Надежды» в Японию. «Плавание Охотским морем, а особливо между Курильскими островами, — предупреждал Крузенштерн, — опасно и редко совершается скорее четырёх недель»<sup>[263]</sup>. Посему в город Охотск — в «приморское захолустье», где «кроме адмиралтейских и компанейских строений существовало не более 100 домов»<sup>[264]</sup>, — Фёдор Толстой должен был попасть не позднее конца октября, на исходе навигации 1804 года.

Другим источником, довершающим картину, является обнаруженное

недавно в Государственном архиве Пермской области письмо графа Фёдора Толстого к коммивояжёру Российско-Американской компании на Камчатке К. Т. Хлебникову. Оно было написано в Охотске<sup>[265]</sup> и датируется январём 1805 года:

«Любезный Кирило Тимофеевич!

Благодарю тебя за рекомендацию, которая мне доставила приятное знакомство. Судьба, управляющая нами, не велит располагать будущим, я никогда бы не поверил, что проживу столь долго в сём городке, паче того, мог ли думать, что буду <отцом> моего любезного Казаринова. Который заменит долгое письмо и изустно тебе расскажет, как здесь <жил> и всё... и всё. Пожелаю тебе всякого благополучия, всего только, что можно желать милому человеку как ты, пребуду навсегда с искренней дружбой тебя любящий *Толстой*.

Прошу уверить в моём искреннем почит<ании> Марью Семёновну»<sup>[266]</sup>.

Вероятно, находившиеся в конце лета — начале осени в Петропавловске Хлебников и его жена (?) познакомились там с Фёдором Толстым, коротко сошлись с ним, и компанейский чиновник снабдил графа, садящегося на торговый корабль, рекомендательной бумагой в Охотск — к неизвестному нам господину Казаринову. В Охотске наш герой против ожидания задержался надолго — получается, что месяца на три. И, прежде чем покинуть этот стодворовый «городок», граф Фёдор счёл за должное письмом (пересылаемым через того же «приятного» Казаринова) поблагодарить «любезного» Хлебникова и его супругу (?).

Примерно в те же дни начала 1805 года граф Толстой, как уже упомянуто на предыдущих страницах, виделся в Охотске с бароном В. И. Штейнгейлем.

А месяцем раньше, в декабре 1804 года, с графом Фёдором произошло, по его словам, нечто необычайное. Зная дальнейшую судьбу Толстого, мы не решаемся назвать рассказ, зафиксированный М. Ф. Каменской, сплошной выдумкой. Вот что довелось услышать спустя много лет племяннице:

«...В одну тёмную ночь, когда он был на шаг от пропасти, ему явилось лучезарное видение святого, осадило его назад, и он был спасён. Тогда же Фёдор Иванович заглянул в устроенный им самим из чего-то календарь, который носил всегда при себе, и увидел число 12-го декабря; значит, святой, который предстал ему в видении, был не кто иной, как св<ятой> Спиридоний, патрон всех графов Толстых».

Далее М. Ф. Каменская уверяла читателей «Воспоминаний», что «с этой минуты Фёдор Иванович сделался мало что богомолен, а просто ханжой». Последнее замечание мемуаристики легко можно оспорить, однако известно, что с некоторых пор граф действительно постоянно носил на груди «большой образ, в окладе, св<ятого> Спиридония»<sup>[267]</sup>, епископа Тримифунтского (преставившегося в середине IV века).

Фельдъегерь с важными и срочными государственными пакетами преодолевал тогда дистанцию между Петербургом и Охотском в среднем за два месяца<sup>[268]</sup>. У обычных же путешественников, задерживавшихся на станциях и не загонявших лошадей, такой «далёкий и трудный путь» занимал, как правило, от шести до восьми месяцев. (Столько времени доставлялись, к примеру, в Северную столицу разделённые на группы японцы, не раз упоминавшиеся в этой главе<sup>[269]</sup>.) Зная, когда граф Фёдор Толстой достиг града Петра, несложно расчислить: он покинул Охотск где-то в конце января — начале февраля 1805 года.

Как знать: может быть, напоследок, «на посошок» разжалованный кавалер посольства всё-таки успел закатить пир на весь охотский мир и отпраздновать в «городке» своё двадцатитрёхлетие.

Странствие Толстого в западном направлении пришлось на три времени года. Значит, граф ехал на собаках, трясся на клячах, а зачастую просто шёл, верста за верстой, по небезопасному каторжному краю пешком. В дороге «пешеходному туристу», одетому в потрёпанный Преображенский мундир, довелось за полгода увидеть многое, общаться со многими. Об одном randevу он позднее рассказал П. А. Вяземскому, а князь сберёг этот рассказ в записной книжке:

«Где-то в отдалённой Сибири напал он на старика, вероятно, сосланного: он утешал горе своё родными сивухой и балалайкой. Толстой говорил, что он пил хорошо, но ещё лучше играл на своём доморощенном инструменте. Голос его, хотя и пьяный и несколько дребезжащий от старости, был отменно выразителен. Толстой помнил, между прочим, куплет из одной песни его:

Не тужи, не плачь, детинка;  
В рот попала кофеинка,  
Авось проглочу.

И на этом авось проглочу голос старика разрывался рыданиями, сам он

обливался слезами и говорил, утирая слёзы свои: „Понимаете ли, ваше сиятельство, всю силу этого авось проглочу!“ Толстой добавлял, что редко на сцене и в концертах бывал он более растроган, чем при этой дикой и нелепой песне Сибирского рапсода» <sup>[270]</sup>.

К лету, которое выдалось жарким, наш герой оставил за спиной бесконечную и малолюдную Сибирь, одолел хребты Урала и оказался в европейской части России.

Там, «в стране вотяков», среди дремучих лесов, уже в июле граф встретил караван российского посольства, направлявшийся в Китай. Между членами дипломатической миссии находился и Ф. Ф. Вигель. В его «Записках» есть любопытное описание свидания с Толстым в станционной избе:

«Во время отдыха на одной из <...> станций мы с удивлением увидели вошедшего к нам офицера в Преображенском мундире. Это был граф Фёдор Иванович Толстой <...>. Он поразил нас своею наружностью. Природа на голове его круто завилла густые, чёрные его волосы; глаза его, вероятно, от жара и пыли покрасневшие, нам показались налитыми кровью, почти же меланхолический его взгляд и самый тихий говор его настращённым моим товарищам казался омутом. Я же, не понимаю как, не почувствовал ни малейшего страха, а, напротив, сильное к нему влечение. Он пробыл с нами недолго, говорил всё обыкновенное, но самую речь вёл так умно, что мне внутренне было жаль, зачем он от нас, а не с нами едет. Может быть, он сие заметил, потому что со мною был ласковее, чем с другими, и на дорогу подарил мне сткляницу смородинного сиропа, уверяя, что, приближаясь к более обитаемым местам, он в ней нужды не имеет» <sup>[271]</sup> <sup>[272]</sup>.

Видимо, Филиппу Вигелю было невдомёк, что сироп, годящийся разве что для приготовления варенья или лимонада, мог скомпрометировать графа Фёдора Толстого в глазах старых товарищей.

О дальнейшем продвижении графа к западным пределам империи мы ничего не знаем. Нет никаких сведений и о том, удалось ли графу Толстому исполнить давешнюю мечту и без лишней огласки, наскоком посетить родину, Москву. На петербургской же заставе он объявился, по-видимому, в конце июля — начале августа 1805 года, аккурат за год до возвращения «Надежды» и «Невы» в Кронштадт.

Таким образом, в Северной столице лейб-гвардеец, побывавший в пяти частях света, отсутствовал два года.

В Петербурге татуированного поручика Преображенского полка графа

Фёдора Толстого, совершившего кругосветное путешествие, с нетерпением поджидали — и заждались его там не только бесчисленные приятели.

Ведь донесения осерчавшего посланника Николая Резанова — из Бразилии да и прочие — к тому времени сделали-таки своё дело.

В формулярном списке графа, составленном в 1811 году, сухо указано, что граф Фёдор Иванов сын Толстой «1805-го <года> августа 10-го по нахождению его при японском посольстве за дерзость и непристойное поведение выписан в Нейшлотский Гарнизонный батальон»<sup>[273]</sup>.

В паспорте об увольнении «от службы с мундиром», выданном графу в 1816 году, была повторена практически та же самая формулировка — только слово «непристойное» заменено словом «неприличное»<sup>[274]</sup>.

А в «Истории лейб-гвардии Преображенского полка», изданной в 1883 году, причины перевода поручика Толстого в гарнизонный батальон не объяснены вовсе<sup>[275]</sup>.

По Ф. Ф. Вигелю же выходит стократ романтичнее: бывшего кавалера посольства (и уже не «благовоспитанную особу») графа Фёдора Толстого тогда задержали на заставе при въезде в Петербург, чуть ли не силком провезли через город — и отправили в Нейшлотскую крепость.

### Глава 3. «ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫЙ»

*Этот граф Толстой был в своё время кутила и человек очень известный по своей разгульной и рассеянной жизни.*

*Е. П. Янькова*

Почтенный старец, человек самых строгих правил, генерал-адъютант и член Государственного совета граф Павел Христофорович Граббе, повествуя в своих «Записках» о встречах с Фёдором Толстым — «главным представителем школы безнравственности», почему-то утверждал: «Подобное явление теперь кажется невозможным. Ни правительству, ни обществу в тогдашние бурные времена некогда было заниматься отдельными лицами, без политической причины»<sup>[276]</sup>. Однако предпринятое изучение биографии графа Толстого убеждает нас в совершенно обратном: для него, бесконечно далёкого от политики человека, «полковой штуки» (так величали бесшабашных офицеров<sup>[277]</sup>), власти и в «бурные времена» начала XIX столетия всегда выкраивали — вынуждены были выкраивать — время.

Об интересе же «общества» к похождениям нашего героя и говорить не приходится. После возвращения из путешествия на «Надежде» имя графа Фёдора стали склонять в свете (возможно, и в полусвете) на все лады, и в середине десятилетия он вполне мог потягаться славой с каким-нибудь «заезжим фигляром».

По всей вероятности, уже тогда говоруны, перебивая косточки графу Толстому, стали называть его (вслед за остряками преображенцами) Американцем — и тем самым избавляли себя от необходимости нудно разъяснять собеседникам, кого из миллиона Толстых они имеют в виду. Удачная импровизация Сергея Марина и компании пошла гулять по кружкам и салонам. Так Фёдор Иванович обрёл пожизненное и меткое прозвище, которым всегда гордился, — и не раз с удовольствием писал (в третьем лице) про «графа» Толстого, известного в обществе под именем Американца»<sup>[278]</sup>. И вправду: «Кто из современников не знал Графа Ф.И.Т., прозванного Американцем, или кто не слышал об нём!»<sup>[279]</sup>

В мемуарах и переписке той эпохи закрепившееся за Фёдором

Ивановичем прозвище употребляется двояко: графа величают и Толстым-Американцем, и — иногда — Американцем Толстым. А для друзей и приятелей он чаще всего бывал просто Американцем.

Современники, в разговорах и на бумаге, разжаловали его многократно, иные совершали эту процедуру аж до одиннадцати раз. Другие — в частности Ф. В. Булгарин<sup>[280]</sup> — даже отправляли Американца тянуть солдатскую ляжку. Поручик «почти не выходил из-под ареста», — утверждал его двоюродный брат<sup>[281]</sup>.

Кончилось тем, что дочь графа, П. Ф. Перфильева, к которой никто не обращался «за более верными сведениями», прислала в 1878 году в редакцию петербургского журнала «Русская старина» сердитую заметку, где, среди прочего, указала авторам «литературных трудов», что отец её был разжалован всего «два раза»<sup>[282]</sup>.

К сожалению, никто — ни в ту пору, ни позднее — не потрудился расшифровать скупые слова Прасковьи Фёдоровны. А смысл их прозрачен: подействовавшей в начале XIX века системе военных чинов, офицеры гвардии имели старшинство в два-три класса перед армейскими офицерами (к примеру, чину гвардейского поручика соответствовал чин капитана, а вовсе не поручика, армейской пехоты<sup>[283]</sup>). Толстой же за проступки дважды переводился из лейб-гвардии Преображенского полка в заурядные армейские части *тем же чином* — то есть фактически он заметно понижался в чине, был разжалован.

Первым таким разжалованьем стала выписка графа в «гарнизонный Уколова полк» в 1800 году. Вторым — выписка в Нейшлотский гарнизонный батальон.

О ней — впрочем, не только о ней — и будет наш дальнейший рассказ.

В этой главе мы расскажем о семи годах жизни графа Фёдора — с момента его возвращения в Северную столицу летом 1805 года и до начала Отечественной войны против Наполеона — и заодно, исследовав доступные исторические источники, внесём очередные уточнения в толстовскую биографию.

Начнём же с того, что Филипп Филиппович Вигель заблуждался: поручик граф Толстой, скорее всего, так и не попал в 1805 году в Нейшлотскую крепость, и вот почему.

В формулярном списке графа есть явная странность, на которую до сих пор не обращено должного внимания. Напомним читателям: в уже цитировавшемся документе сказано, что Фёдор Толстой был выписан в

Нейшлотский гарнизонный батальон 10 августа 1805 года. А следующая запись в формулярном списке гласит: «Из одного переведён в Костромской пехотный полк — 1805 августа 29»<sup>[284]</sup>.

Почему же проштрафившийся Американец, направленный в виде наказания в одну воинскую команду, в «граниты финские, граниты вековые» (Е. А. Боратынский), буквально мигом — ведь не прошло и трёх недель августа — очутился в другой?

Ответ, на наш взгляд, довольно прост. Для его получения надо только исследовать старые бумаги и установить, что именно 29 августа 1805 года состоялся высочайший указ о **создании** Костромского пехотного (первоначально мушкетёрского<sup>[285]</sup>) полка. Шефом этого полка был назначен двадцативосьмилетний генерал-майор князь Алексей Михайлович Щербатов, «отличавшийся добротой и гуманностью»<sup>[286]</sup>.

А далее всё произошло примерно так же, как и в 1803 году, при формировании штатов кругосветной экспедиции. Кто-то из влиятельных петербургских персон вновь оказал протекцию графу Фёдору — и наказанного поручика Толстого, не успевшего отправиться в захолустный Нейшлот, «перевели» во вновь образованный, ещё не сформированный полк<sup>[287]</sup>. Конечно, Костромской мушкетёрский полк с молодым сиятельным шефом имел — по крайней мере в теории — несомненные преимущества перед дальней крепостью.

Таким образом, граф, не покидая летнего Петербурга, умудрился прослужить восемнадцать дней в одном из финляндских батальонов. (В эти августовские дни и недели он сполна отвёл душу в общении со старинными друзьями, в первую очередь с бывшими товарищами по Преображенскому полку — с Сергеем Мариным, Дмитрием Арсеньевым и прочими любезными сердцу гвардейцами.) После чего поручик Костромского полка граф Фёдор Толстой — очевидно уже осенью — покинул столицу и по испорченным непогодой дорогам двинулся в городок Слоним Литовско-Гродненской губернии.

Именно Слоним определили местом дислокации новорожденного мушкетёрского полка — и туда направлялись составившие полк роты и батальоны.

С дороги, едва отъехав от Петербурга, граф Фёдор обратился со стихотворным посланием к столичным приятелям. Эти стихи, сочинённые Толстым на одной из станций, дошли до нас в списке:

Давноль? Давноль, друзья, приятели! я с вами

Питался сладкими свидания слезами?  
И будто не видал щастливых тех часов,  
Когда с тобою был, Марин! Аргамаков!  
С тобой, о пламенный Наташки полубовник,  
Арсеньев, старый друг и прежний мой полковник!  
Но ах! исчезло всё, исчезло будто сон!  
С немецкой харею не зрю тебя, барон!..

К последнему стиху в списке кем-то было сделано пояснение: «Дризен»<sup>[288]</sup>. Вероятно, Фёдор Толстой, увидевшись перед отбытием с шедшим в гору, но не становившимся симпатичнее бароном Егором Васильевичем (Георгом-Вильгельмом тож), вновь успел что-то не поделить с ним.

Костромской мушкетёрский полк, как выяснил его историограф, «был сформирован из шести рот Великолуцкого мушкетёрского полка, одной Вильмандстрандского и одной Кексгольмского гарнизонных батальонов Финляндской инспекции»<sup>[289]</sup>. В нём числилось 35 штаб-и обер-офицеров и 1190 нижних чинов. Командиром полка являлся майор Василий Христианович Фитцнер<sup>[290]</sup>.

Вновь судьба упрямо сводила графа Фёдора с начальником из «немцев».

Поручикам Костромского полка, в зависимости от рода оружия, было установлено жалованье в размере от 285 до 395 рублей. Им полагался двубортный мундир со светло-зелёным стоячим воротником и такими же обшлагами, белые панталоны, тёмно-зелёные погоны, обшитые серебряным галуном, и султан из петушиных перьев на кивере, а также особые офицерские знаки, носимые на воротниках<sup>[291]</sup>. Однако весьма сомнительно, что Американец, «бывши в Костромском пехотном полку» (так сказано в формулярном списке<sup>[292]</sup>), успел облачиться в новую форму.

Так как никаких казарм для полка загодя построено, естественно, не было, то прибывавшие в захудалый Слоним офицеры и рекруты размещались в городе «по обывательским квартирам». Получил такую квартиру и граф Фёдор. В той местности велика была доля еврейского населения — и можно предположить, что поручик потеснил как раз еврейскую семью. С обывателями он явно не сошёлся, жить по уставу чужого монастыря не собирався и, как указано в формулярном списке, «за

учинённую ссору и драку с евреями по всевысочайшей конфирмации <...> 1805-го декабря 14-го дня арестован был на две недели»<sup>[293]</sup>.

А выйдя из-под ареста, раздосадованный поручик Фёдор Толстой снова поссорился — теперь уже с командиром полка.

Майор В. Х. Фитцнер, безусловно, не являлся «отцом-командиром». К концу 1805 года ситуация в его полку, ещё не принявшем знамён, сложилась просто аховая. Начиналась зима, а условия жизни людей оставляли желать лучшего. Врачей при ротах не было, нижние чины болели «нервической медлительной горячкой», учащались смертные случаи. «Постройка» мундирных, амуниционных и прочих вещей шла очень медленно и, как подобает, сопровождалась воровством казённых средств и т. д. Иными словами, хотя хулить вышестоящих чинов в армии и было строго запрещено — но подвергнуть резкой критике майора В. Х. Фитцнера многим хотелось нестерпимо.

И поручик граф Фёдор Толстой не стал играть в молчанку.

Какими характеристиками наградил он, дока по части «разделок», никудышного майора, мы не ведаем — зато знаем, что дело получило огласку и стало известно одному из самых строгих высших военных чиновников, великому князю Константину Павловичу, брату императора и гвардейскому начальнику.

И в результате поручик Костромского мушкетёрского полка граф Толстой «по повелению Его Императорского Высочества Государя Цесаревича и великого князя Константина Павловича за дерзостное его о командире своём суждение арестован был на месяц»<sup>[294]</sup>.

В мемуарах Фаддея Булгарина есть упоминание о проступках Американца «противу субординации»<sup>[295]</sup>. Об отцовской (или, вернее, графа Камского) «дерзости против начальника» однажды обмолвилась и П. Ф. Перфильева в автобиографической хронике<sup>[296]</sup>.

Когда же граф вышел из обжитого слонимского узилища, то узнал, что Костромской полк перемещается в расположение другого резервного корпуса, готовит обоз и спешно передислоцируется в город Новогрудок (той же Литовско-Гродненской губернии). Кроме того, освобождённый Толстой понял, что на сей раз обмануть фортуна ему не удалось: полк уйдёт на марш без него, ибо за новые грехи его — что за оказия! — «обратно перевели» в Нейшлотский гарнизонный батальон.

Туда — уже не на бумаге, как полгода назад, а взаправду — Американец «поступил», согласно «Пашпорту», 23 февраля 1806 года<sup>[297]</sup>.

Русские поэты тогда, при Александре Благословенном, посещали Финляндию, как правило, по казённой надобности, в военных мундирах разных полков.

«Здесь повсюду земля кажет вид опустошения и бесплодия, повсюду мрачна и угрюма<sup>[298]</sup>. Здесь лето продолжается не более шести недель, бури и непогоды царствуют в течение девяти месяцев, осень ужасная, и самая весна нередко принимает вид мрачной осени; куда ни обратишь взоры — везде, везде встречаешь или воды или камни. Здесь глубокие длинные озёра омывают волнами утёсы гранитные, на которых ветер с шумом качает сосновые рощи; там — целые развалины древних гранитных гор, обрушенных подземным огнём или разлитием океана»<sup>[299]</sup>.

Этими фразами начал — в «Отрывке из писем русского офицера о Финляндии» (1809) — рассказ о холодной стране К. Н. Батюшков.

Несколько иной, более приветливой и даже располагающей к рифмам, показалась эта закаменелая земля унтер-офицеру Нейшлотского полка Е. А. Боратынскому:

Как всё вокруг меня пленяет чудно взор!  
Там необъятными водами  
Слилось море с небесами;  
Тут с каменной горы к нему дремучий бор  
Сошёл тяжёлыми стопами,  
Сошёл — и смотрится в зеркале гладких вод!  
Уж поздно, день погас; но ясен неба свод,  
На скалы финские без мрака ночь нисходит,  
И только что себе в убор  
Алмазных звёзд ненужный хор  
На небосклон она выводит!<sup>[300]</sup>

Допускаем, что и граф Фёдор Толстой, знавший толк в поэзии всевозможных ландшафтов, на первых порах отдал должное суровым красотам северного края.

Нейшлотскому гарнизонному батальону, действительно, впору было обзаводиться собственным штатным пленэристом. «Старинный замок с тремя круглыми башнями и стенами из светлого камня высится на чёрной скале, поднимающейся из незамерзающей воды под огромным белым

небом, в окружении густых картинно-красивых лесов, — так описывается Нейшлот, по-фински Savonlinna, в одной из современных книг. — Вода не замерзает оттого, что течение здесь быстрое. Выглядит всё это — замок на озере, крепостные стены, девственные леса — очень романтично...»<sup>[301]</sup>

К сказанному можно добавить, что Нейшлотская крепость в начале XVIII столетия, во время Северной войны, имела важное стратегическое значение и становилась ареной сражений. Но позднее, после присоединения Нейшлота к Российской империи, это значение было утрачено.

Отправления дивной природы и рыцарский замок XV века Олофсборг в проливе Кюренсальми недолго пленяли взор Американца. Первые впечатления померкли, и пребывание в благолепной, но чудовищно скучной крепости вскоре превратилось для него в испытание — в то изнурительное испытание рутинной службой, которое с каждым днём всё более походило на изощрённую средневековую пытку.

Между тем в Европе началась и разгоралась война с блистательным корсиканцем Бонапартом.

В марсовых утехх участвовали и выступивший в поход родной лейб-гвардии Преображенский полк, и не чужой для Фёдора Толстого Костромской мушкетёрский<sup>[302]</sup>, и многие закадычные друзья графа. Так, поручик Сергей Марин, отложив перо, отличился в сражении при Аустерлице, где был, правда, тяжело ранен — и награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость». Показали себя отменными бойцами и иные петербургские знакомцы графа.

А вот поручику Толстому в такое-то время — воистину его время — суждено было пребывать на отшибе, томиться в сонном гарнизоне, который и в задрипанные арьергарды никоим боком не годился. «Наказание жестокое для храбреца, который никогда не видал сражение», — писал в мемуарах по поводу графа Фёдора и его нейшлотской участи Ф. Ф. Вигель<sup>[303]</sup>.

Подобной маеты — скуки, от коей и мухидохнут, — Фёдор Толстой не смог бы выдержать долго.

Столичные друзья, занятые кто чем, писали ему нечасто — и очутившийся в финляндском обозе Американец начал на них всерьёз дуться. Отыгрался потерявший терпение анахорет на всё том же Сергее Марине.

Бравый Сергей Никифорович по возвращении с театра военных действий делал успехи в большом свете. Сам государь, отличая Марину,

поручил ему формирование батальона стрелков Олонецкой милиции для вновь создаваемого земского войска. В апреле 1806 года поручик Марин был произведён в штабс-капитаны Преображенского полка («И равен чином я армейскому майору», — сказано об этом в его стихах <sup>[304]</sup>). Поговаривали и о любовных победах увечного воина.

В общем, Сергей Марин, поэт и ратный герой, вошёл в моду, стал печатать свои стихи и со вкусом вести «новую жизнь».

Когда слухи об этом доползли до Нейшлота, граф Фёдор Толстой, стряхнув оцепенение, снова напрягся и сочинил пространное послание к удачливому, получившему повышение другу.

Стихи нашего героя сохранились благодаря тому, что были переписаны в так называемый Зелёный альбом графини Веры Николаевны Завадовской — «Лилы», возлюбленной Сергея Марина. Там они помещены на листе 92 под следующим заголовком: «От графа Толстова к Марину. 1805-го году, августа 7-го из Нейшлота». Однако в заглавии копиистом допущена ошибка: реальные факты, фигурирующие в толстовских стихах (и — скажем сразу — в ответе Сергея Марина, о котором пойдёт речь далее), дают нам основание утверждать, что послание графа было написано на год позже, нежели указано в альбоме, — в августе 1806 года.

Сочинение Американца стоит привести целиком, причём в колоритной альбомной редакции:

Фортуны Баловню, её любезну сыну  
Хочу я попенять, хочь то и не по чину.  
На дружбу старую надежда правда есть,  
И так Марин, к тебе писать имею честь, —  
Но к вам, или к тебе — и тут не дать чтоб маха,  
Однако же — среди надежды, среди страха...  
К тебе, — желав тебе, чтоб ты всегда был ты!  
Чтобы ума тваво и сердца красоты,  
Приятности твои пленяли нас едины;  
Чтоб ты остался ты средь бурной той пучины  
Куда тебя судьбы попутной ветр завлек,  
Чтоб в свете знатном быв, всё был бы человек;  
Чтоб ты не забывал гонимых и судьбою...  
Вот милый друг!..

Граф Фёдор не привык жаловаться, а тут у него всё-таки вырвался стих

про «гонимых судьбою». Видать, совсем уж не сладко стало Толстому, недавно объехавшему целый свет, в гарнизонном каменном склепе, где ничего не происходит, среди тусклых, ни на что не претендующих посредственностей в погонах.

Далее разобиженный поручик Фёдор Толстой грустно констатирует, что штабс-капитан забыл его, что Марин попросту променял старого Преображенского друга на «новую жизнь». Свою версию изменившейся столичной жизни Сергея Марина Американец излагает (кстати, почти за двадцать лет до появления первой главы «Евгения Онегина», где столь выразительно описан день молодого вертопраха) местами коряво, но в целом, думается, небесталанно и весьма остроумно. Судите сами:

.....Уж век расстался как с тобою.  
Хоть строчку б от тебя! — иль только быв знаком  
С щастливым случая на свете колесом,  
И щастия во всём лобзаемый рукою  
Не знаешь ты, сердца томятся как тоскою.  
А может быть и то, тебе что не досуг,  
Твой новой жизни род, знакомых новой круг.  
Для старых уж друзей не оставляешь время,  
Что писем пишешь ты и без меня беремья<sup>[305]</sup>;  
Записочки ж, — о! их не клавши даже в щёт  
Довольно скажешь мне, довольно есть хлопот.  
Как солнца луч твоей осветит окны спальни  
И ширмы лишь твои откинутся хрустальны  
Отродие князей бенгальския страны<sup>[306]</sup>  
Подаст тебе халат, атласные штаны.  
Прокуксишь только лишь свои ты очи ясны,  
Меркурьи уж несут тебе цыдули страстны<sup>[307]</sup>, —  
Вот тут любовных дел потребен тайный ключ,  
Чтобы бумажки цвет, каёмочка, сургуч,  
Всё было б с чувствами и всё бы было кстати,  
Чтоб сердцу отвечал дивизец на печати,  
Меж тем и не видать, как на дворе обед,  
Тут утренней свершив прохладной туалет  
Как вихр помчался ты<sup>[308]</sup>, и к часу так шестому  
Спасибо повару, французу выписному,  
В большом ты обществе, где вся с тобою знать,

Где я слышал умно умеешь как то врать.  
Скончался стол, поклон отдав большому свету  
Весь будто бы не свой ты кинешься в карету  
И с колебанием приятнейших ресор,  
Всё лезет дичь тебе, война, любовной вздор;  
В восторгах пламенных, средь сладкого мечтанья  
Боишься пропустить счастливый час свиданья;  
Иное ж, утомясь заедешь ты домой  
Понежить чувства приятною дремой, —  
Да вдруг глядь на часы — девятой в половине,  
А ты пароль свой дал какой-нибудь графине...<sup>[309]</sup>  
Чтоб вечер провести и ужин вместе с ней...

В последних стихах послания, едко прощаясь с вечно занятым сверхважными, преимущественно амурными, делами «милым другом», граф Фёдор всё-таки настоятельно просит Марина написать в Нейшлотскую крепость хотя бы «строчки две»:

Марин! Я вижу сам тебе не до друзей:  
Ступай мой друг! Венец тебе сплетён амуром;  
Меж милых рассказней, с забавным каламбуром  
Как третий полночь и не увидишь сам  
И так, — покойну ночь желать позвольте вам, —  
Вот краткой лишь экстракт часов твоих занятя,  
Где ж вспомнить бедняков тебе тут нашу братью!  
Коль лъзя, так у любви минутку хоть украдь  
И строчки две изволь Толстому написать.  
Прости мой милый друг! — Арсеньеву, барону  
Скажи ты от меня обеим по поклону<sup>[310]</sup>.

Саркастический привет «барону», то есть командиру батальона Егору Васильевичу Дризену 1-му, чем-то напоминал поклон, отвешенный Американцем двумя годами ранее на Камчатке капитан-лейтенанту Ивану Фёдоровичу Крузенштерну.

Сергей Марин, получив толстовское послание, был им явно задет и написал скорый «Ответ», который начинался так:

Сократа ученик — друг всех Алцибиадов<sup>[311]</sup>,  
Злодей ефрейторства, гонитель вахт парадов —  
Быв — гвардии офицер, армейской, и матрос,  
Которого теперь рок в гарнизон занёс;  
Где живучи от всех мирских сует свободен...

Похоже, что Марин — в отличие от не находившего себе места графа Фёдора Толстого — видел в *несуётной* жизни известные достоинства. Впрочем, мы отвлеклись от помещённого в Зелёном альбоме текста — почитаем-ка его дальше, тем более что автор «Ответа» поспешил перейти в наступление:

Забыв печали все, фельдфебельшей доволен.  
Любя приятелей ты вспомни<л> Марина.  
Скажи однако ж мне какая сатана,  
Шепнула там тебе, что здесь я утешаюсь,  
И что в столице я как в масле сыр катаюсь,  
Что всё лелеет здесь, всё веселит меня,  
И что мне новой день милей прошедша дня.  
Ошибся граф! Когда настроив лирны струны,  
Воспел меня назвав ты баловнем фортуны;  
Или Толстой, кругом объехав белой свет,  
Не знаешь ты ещё что счастья в свете нет.  
Когда же ты его нашёл где за морями,  
То не скрывай сего пред верными друзьями.  
Скажи мне, где и как — и парусы подняв  
Мы пустимся в моря с тобой любезный граф!  
И бури все презрев, презрев дожди, ненастье,  
За тридевять земель — пойдём искать мы шастье.  
Но пусть готовится к принятию нас флот;  
А между тем хочу писать к тебе в Нейшлот<sup>[312]</sup>.

Остальные пятьдесят шесть стихов «Ответа»<sup>[313]</sup> были призваны убедить ставшего в позу графа Фёдора в том, что он жестоко ошибся. За время разлуки с другом Сергей Никифорович Марин ничуть не изменился («только стал потолще»), ведёт прежний «жизни род» и — самое главное — не обрёл пошлого земного счастья, достаточного для всякого узколобого

«баловня фортуны».

Согласился ли Американец с замысловатыми аргументами штабс-капитана (вскоре ставшего флигель-адъютантом) или нет, мы не знаем, однако «бедняк» Фёдор Толстой, несомненно, был душевно рад доставленному осенью 1806 года в Нейшлот посланию. На какое-то, пусть и непродолжительное, время «Ответ» Сергея Марина взбодрил графа Фёдора, осатаневшего от гарнизонной тягомотины, абриса четырёх бастионов и застывших лесных пейзажей.

Однако потом тоска, нещадная нейшлотская кручина вновь, и надолго, полонила его душу.

Требуемых для полноценного существования нашего героя «рая» и «ада» в Нейшлоте не было, их там и не предвиделось.

Глаза Толстого, ещё недавно столь выразительные, безнадёжно потухли.

Только по ночам, в сумбурных красочных снах-воспоминаниях, он и жил.

По-видимому, никогда — ни до, ни после — граф Фёдор не оказывался в столь беспросветном положении.

По-настоящему выручить Американца из беды никакие доступные «фельдфебельши», никакие разлюбезные письма из Петербурга, рифмы, колоды карт и батареи бутылок, конечно, не могли. Это было по силам разве что внезапно налетевшей *буре рока*.

И такая спасительная буря однажды грянула.

Ею для двадцатишестилетнего поручика графа Фёдора Толстого стала начавшаяся война России со Швецией.

В июне 1807 года Российская империя, так и не преуспев на поле брани, заключила Тильзитский мир с наполеоновской Францией и присоединилась к пресловутой континентальной системе. Входящие в данную (как потом выяснилось, не слишком эффективную) систему европейские державы прекратили торговые операции с Англией и не допускали корабли «владычицы морей» в свои гавани.

В Тильзите же император Александр I взял на себя обязательство склонить к континентальной блокаде соседнюю Швецию (которая исстари владела большей частью Финляндии). За это Александру Павловичу предоставлялось право беспрепятственно присоединить к территории России всю Финляндию. «Таким образом, участь Финляндии была предрешена в Тильзите на свидании императоров, — пишет дореволюционный историк. — Наполеон при этом правильно указал, что

Швеция, примыкая столь близко к столице России, является её „географическим врагом“. Но и помимо Наполеона, Александр Павлович не раздумал о Финляндии, понимая, что граница империи, шедшая по реке Кюмени, должна быть отодвинута далее к северу»<sup>[314]</sup>.

Шведский король Густав IV Адольф, и ранее не стремившийся к политическому сближению с Россией, решительно отверг все «тильзитские» предложения Петербурга и продолжил вести флирт с Лондоном. Более того, во второй половине 1807 года король, проявлявший «признаки психического расстройства»<sup>[315]</sup>, сделал ряд демонстративных шагов, резко обостривших русско-шведские отношения. В ответ на это 14 января 1808 года российской гвардии было высочайше (и строго секретно) предписано приготовиться «к выступлению в поход по первому приказанию»<sup>[316]</sup>.

В начале февраля три дивизии под командованием генерала от инфантерии графа Фёдора Фёдоровича Буксгевдена, перейдя границу Финляндии, неспешно, утопая в снегах и замерзая, двинулись в северном направлении.

А в марте Россия, используя в качестве официального повода выдворение из Стокгольма русского и прусского посланников, объявила войну Швеции.

На первых порах кампания «под инеями севера, средь океана вековых лесов, на берегах озёр пустынных»<sup>[317]</sup> разворачивалась для русских как нельзя более успешно. Уже в феврале — апреле 1808 года их отряды, не встретив ожесточённого сопротивления, захватили важные крепости Або, Гельсингфорс и Свеаборг, а также иные населённые пункты и острова. Эта «вооружённая прогулка» (Д. В. Давыдов) дала основания опубликовать в Петербурге Манифест об окончательном покорении Финляндии и присоединении её «навсегда к Российской Империи»<sup>[318]</sup>.

Однако отступившие далеко на север шведы сумели-таки (при поддержке с моря англичан) оправиться от неудач и нанесли противнику ряд чувствительных поражений, «попятили» его. Взялись за оружие, за топоры и дубины также местные крестьяне. И тогда стало ясно, что с объявлением «шведской Финляндии русской провинцией» с балами и увеселениями на Неве заметно поторопились; что конца военным действиям, с лета приобретшим характер локальных сражений и стычек с финскими партизанами, череды наступлений и ретирад, ещё не видно.

Узнав о вступлении России в войну, причём в такую близкую войну,

граф Фёдор Толстой приложил отчаянные усилия для того, чтобы попасть в ряды витезей, туда, где находился его старинный друг Денис Давыдов и пахло жжёным порохом.

Со слов Ф. Ф. Вигеля нам известно, что когда генерал-майор И. И. Алексеев, шеф Митавского драгунского полка, прибыл в Сердоболь (городок на берегу Ладожского озера), где должен был принять командование над отрядом, поручик явился к нему и чуть ли не на коленях умолял взять его в поход. «Молодой лев наружностью и сердцем полюбился Алексееву, — сообщает мемуарист, — и он представил о том в Петербург, но с выговором получил отказ»<sup>[319]</sup>.

Увы, «подвиги» татуированного графа, свершённые более двух лет назад и ранее, высокое начальство и не думало забывать.

Зато другому тогдашнему ходатаю за поручика Фёдора Толстого, генерал-адъютанту князю Михаилу Петровичу Долгорукову, отказать те же лица уже не посмели: все в столице знали, что двадцатисемилетнему красавцу отдала своё сердце обворожительная великая княжна Екатерина Павловна. И посему воевавшему со шведами генерал-майору князю Долгорукову — шефу Курляндского драгунского полка, «явившему отличное мужество и храбрость» в кампаниях против Наполеона, кавалеру ордена Святого Георгия 3-й и 4-й степени<sup>[320]</sup> — удалось-таки заполучить давнего Преображенского знакомого графа Фёдора Толстого в собственный отряд.

Так и не прощённый правительством Американец был прикомандирован к долгоруковскому штабу в качестве одного из личных адъютантов князя.

Из формулярного списка графа Фёдора Толстого следует, что он находился в «Финляндии против шведов» с 27 сентября 1808 года<sup>[321]</sup>.

Нейшлотское кошмарное сидение, продолжавшееся два с половиной года, осталось для него в прошлом.

В состав штаба князя входил и без пяти минут подпоручик Иван Петрович Липранди (1790–1880), впоследствии приятель Александра Пушкина, важный военный агент, генерал-майор и историк. В воспоминаниях И. П. Липранди, славящихся своей точностью, есть страница, где описаны оригинальные штабные обязанности «Нейшлотского гарнизонного батальона поручика графа Фёдора Ивановича Толстого (известного под названием Американца)» и поведано о характере отношений между ним и князем М. П. Долгоруковым:

«Князь знал его издавна и был с ним, как с старым товарищем, любил

слушать его рассказы, мастерски излагаемые, и не иначе называл его, как дядей Федей, или Фёдором. Он заведывал походным хозяйством и за столом разливал суп, делал, для личного употребления князя, конверты (тогда не было ещё клеенных) и т. п., и сберегался для отчаянных предприятий»<sup>[322]</sup>.

Иными словами, генерал-майор М. П. Долгоруков, выручая гонимого поручика, придумал для него натуральную синекуру, не подвластную установлениям «ефрейторства»; синекуру, которая к тому же учитывала общеизвестные гастрономические склонности Фёдора Толстого. С другой стороны. Американцу, помимо супов и конвертов, доверялись самые рискованные, мало кому посильные дела, и лучшего применения на войне амбициозному и «внеуставному», рвущемуся в бой графу Фёдору быть, вероятно, попросту не могло.

Так что в 1808 году среди финских скал произошёл редчайший случай: Толстому крупно, неслыханно повезло с начальником. Забегая вперёд скажем, что наш герой пронёс благодарную память о благодетельном князе Михаиле Петровиче Долгорукове через всю жизнь.

Служба поручика Фёдора Толстого под началом храбрейшего князя Долгорукова, «в высшей степени любимого войском», была, к великому сожалению графа, очень недолгой.

Уже 15 октября 1808 года произошло «несчастное» (по определению И. П. Липранди) дело при Иденсальме, где шведы сосредоточили значительные силы и заняли весьма крепкую позицию. Чтобы не дать отступающему за пролив неприятелю «времени разобрать мост, — пишет И. П. Липранди, — князь поручил адъютанту своему графу Толстому с несколькими казаками броситься за шведскими драгунами и завязать с ними перестрелку»<sup>[323]</sup>.

А позже, когда после удачной вылазки Американца русские войска перешли в наступление, случилось самое ужасное.

Спешившись, пошёл со всеми в атаку и сам командир князь Михаил Долгоруков. Рядом с ним к только что завоёванному мосту двигались двое: Иван Липранди («с планом позиции в руках») и граф Фёдор Толстой («с огромной пенковой трубкой»), Тот, кто нёс карту, запомнил происшедшее в мельчайших подробностях:

«Князь был в сюртуке нараспашку, под ним надет был, тогда почти у всех в употреблении, шпензер, то есть мундир без фалд. На шее Георгиевский крест, сабля под сюртуком. В правой руке он держал на коротеньком чубуке трубку, в левой маленькую зрительную трубу. День

был прекрасный, осенний. Шли под гору довольно скоро, князь по самой оконечности левой стороны дороги; ядра были выпускаемы довольно часто.

Вдруг мы услышали удар ядра и в то же мгновение увидели князя, упавшего в яму (из которой выбирали глину) около дороги. Граф Толстой и я мгновенно бросились за ним <...>. Фуражки и чубука уже не было; зрительная труба была стиснута в левой руке. Князь лежал на спине. Прекрасное лицо его не изменилось. Трёхфунтовое ядро ударило его в локоть правой руки и пронизало его стан. Он был бездыханен. Граф и я приподняли голову...»<sup>[324]</sup>

(Шведы между тем, писал впоследствии находившийся на поле боя «в резерве» офицер лейб-гвардии Егерского батальона К. Н. Батюшков, были «прогнаны с великим уроном»<sup>[325]</sup>. Кстати, Фёдор Толстой и Константин Батюшков крепко подружились в дни войны в Финляндии. Ни на кого не похожий Американец произвёл столь сильное впечатление на поэта, что последний однажды назвал графа «удивительным человеком, которого Дидерот, Пиголбрен и Ритиф де ла Бретоне сочинили в часы философического исступления»<sup>[326]</sup>.)

«Вечером <...> мы нашли князя на том самом столе, на котором обеживали, в распоряжении медиков, бальзамировавших его, — заключает свою повесть И. П. Липранди. — Здесь только я мог обмыться от крови, но граф Толстой решительно сказал, что не будет смывать её, пока сама не исчезнет, и взял себе шпензер князя»<sup>[327]</sup>.

Долгоруковский мундир Американец хранил как святыню почти сорок лет.

На третий день поручик Фёдор Толстой и два других штабных офицера повезли тело князя-«солдата» в российскую столицу. «Ему велено было только присутствовать при церемонии погребения, — сообщил Ф. Ф. Вигель, — и тот же час опять выехать из Петербурга»<sup>[328]</sup>.

А по возвращении оттуда безутешного графа Фёдора — как утверждал тот же мемуарист, «в память Долгорукова»<sup>[329]</sup> — власти наконец простили и вернули в гвардейский Преображенский полк. Судя по имеющимся документам, это произошло 31 октября 1808 года<sup>[330]</sup>. Американец примкнул к 4-му батальону полка, который с конца сентября участвовал «в трудном походе по малонаселённой стране, объятай пламенем народной войны»<sup>[331]</sup>.

«В походах против неприятеля» граф Фёдор числился по 1 ноября

1809 года<sup>[332]</sup> и не раз отличился в сражениях «в Финляндии против шведов». «Граф Ф<ёдор> И<ванович> Т<олстой> был точно храбр и, невзирая на пылкость характера, хладнокровен», — подчёркивал позже Фаддей Булгарин<sup>[333]</sup>.

11 августа 1809 года Фёдора Толстого произвели в штабс-капитаны<sup>[334]</sup>.

А за несколько месяцев до этого производства, в зиму с 1808 на 1809 год, Американец близ Вазы совершил, без преувеличения, подвиг. В его прошении об отставке (1814) на сей счёт сказано следующее: «22 Генваря 1809 года ходил с охотниками осматривать положение замёрзших вод Кваркен среди стужи до 25 градусов, когда ненадёжность льда угрожала страхом смерти»<sup>[335]</sup>.

Описанию подвига графа Фёдора Ивановича впоследствии была посвящена отдельная главка в многотомной «Истории лейб-гвардии Преображенского полка». Она называется «Капитан<sup>[336]</sup> граф Толстой переправляется через пролив Кваркен»:

«<...> Капитану полка графу Толстому было поручено, по приказанию командира корпуса князя Голицына, исследовать пролив Кваркен. Граф Толстой немедленно отправился по назначению с несколькими казаками и, дойдя до Годденского маяка, донёс, что путь хотя труден, но всё-таки проходим, причём добавил, что близ г<орода> Умео шведы не располагают, по-видимому, большими силами.

Это последнее донесение впоследствии дало возможность Барклаю де Толли, принявшему начальство над корпусом Голицына, перейти по льду Ботнический залив и с 3-тысячным отрядом занять Вестерботнию»<sup>[337]</sup>.

Что имел в виду Американец, сдержанно докладывая о «трудном пути», стало ясно, когда войска под командованием генерал-лейтенанта М. Б. Барклая де Толли вступили в начале марта на лёд.

«Чего только не испытал этот мужественный отряд! — удивлялся историк спустя столетие. — Трое суток ему пришлось идти местами по глубоким снегам, местами по высоким льдам. Спать могли только под открытым небом. Проводников не было. Огня нельзя было разводить, чтобы не обнаружить шведам своего наступления. Приходилось не только взбираться на ледяные утёсы и переходить широкие расселины, но нужно было ещё тащить на себе по этому тяжёлому пути орудия и обозы. Кваркен замерзает исключительно в суровую зиму. Но стоило только порыву южного ветра взволновать на этом пространстве лёд, и весь отряд обрёл бы себе ужасную могилу в морской пучине»<sup>[338]</sup>.

Барклай де Толли признал переход „наизатруднительнейшим“ и прибавил, что его мог преодолеть только русский солдат. „Не нужно веховать Кваркена, я развеховал его трупами“, — сказал тот же Барклай де Толли, и эти слова полководца ярко дорисовывают картину перенесённых трудов»<sup>[339]</sup>.

А ведь Американец, двигаясь с отрядом, совершил «сию гигантскую и даже невероятную атаку»<sup>[340]</sup> вторично. Русские, пройдя около ста вёрст, вышли в тыл шведов и взяли город Умео практически без сопротивления. Один из офицеров, пересекших залив по льду, назвал эту операцию «фараоновской»<sup>[341]</sup>. Другие вспоминали о «могильном камне безнадёжной пустыни»<sup>[342]</sup>.

За участие «в экспедиции при покорении Аландских островов» и «за оказанное им тогда отличие» в сражении граф Фёдор Толстой «удостоился Монаршего благоволения»<sup>[343]</sup>. Имей он поменьше грехов — был бы, видимо, и награждён императором пощедрее.

Дорого давшаяся, но всё-таки успешная для русских война завершилась в сентябре 1809 года подписанием Фридрихсгамского мира.

Теперь молебствия, парады и фейерверки были уместны. В «собственность и державное обладание» империи перешла вся Финляндия до реки Торнео, Россия обеспечила себе контроль над Балтийским морем и обезопасила Петербург. «Без Финляндии Россия оставалась неполною, как бы недостроенною, — афористично изречено в старой книге. — Финляндия явилась как бы рукою, прибавленною к туловищу России»<sup>[344]</sup>.

Вполне мог быть удовлетворён итогами кампании и Американец, вырвавшийся из гарнизонного плена, прощённый, славно дравшийся и кутивший, обзаведшийся в «тундрах финских» новыми приятелями-офицерами и приятельницами из «чухонченок», повышенный в чине и отмеченный императором.

Теперь популярному, но не угомонившемуся<sup>[345]</sup> графу Фёдору предстояло стать *очень* известным человеком.

Дочь Толстого-Американца поведала, что у отца в продолжение жизни было «несколько дуэлей»<sup>[346]</sup>. О двух достоверных поединках нам предстоит здесь рассказать<sup>[347]</sup>.

В финском городке Або, где располагался отвоевавший батальон Преображенского полка, у штабс-капитана Фёдора Толстого была дуэль с

капитаном Генерального штаба Брунновым, и, как сообщил И. П. Липранди, Американец «прострелил», то есть ранил, своего противника<sup>[348]</sup>. Достаточно рядовой для той эпохи эпизод повлѣк, однако, за собой нерядовые, драматические последствия.

Спустя несколько дней после поединка с Брунновым граф Фѣдор вновь вышел к барьеру. На сей раз ему противостоял Александр Нарышкин, сын обер-церемониймейстера и тайного советника. И наш герой поразил юного гвардейца насмерть.

«Незавидная его известность, — утверждал в повествовании о Толстом выражая господствовавшее мнение, граф П. Х. Граббе — началась убиением на дуели молодого Нарышкина»<sup>[349]</sup>.

«Это происшествие наделало много шума в городе», — читаем в мемуарах Ф. В. Булгарина<sup>[350]</sup>.

Акцентировала внимание на поединке Александра Нарышкина с Фѣдором Толстым — как на главном из «грешков молодости» Американца — и «бабушка» Е. П. Янькова. Она, в частности писала: «Александр Иванович был видный и красивый молодой офицер, подававший большие надежды своим родителям живого и вспыльчивого характера; у него вышла ссора с графом Фѣдором Ивановичем Толстым, который вызвал его на поединок и убил его. Это было года за два или за три до двенадцатого года»<sup>[351]</sup>.

Попробуем разобраться, что же на самом деле произошло в городке Або осенью 1809 года.

Вот краткая версия Ф. Ф. Вигеля: «У раненого Алексеева, несколько времени жившего в Або, каждый вечер собиралась гвардейская молодѣжь, между прочими старый знакомый его Толстой и молодой Нарышкин. Они оба были влюблены в какую-то шведку, финляндку или чухонку и ревновали её друг к другу В один из сих вечеров сидели они рядом за большим карточным столом, шѣпотом разбранились, на другое утро дрались и бедный Нарышкин пал от первого выстрела своего противника»<sup>[352]</sup>.

Фаддей Булгарин снабдил более подробный рассказ о «трагическом происшествии, глубоко тронувшем всех», психологическими нюансами, острыми диалогами и прочими — не всегда правда убедительными — романическими аксессуарами. Вдобавок ко всему он, запамятавав, перенѣс место кровавого действия в окрестности Петербурга: «Преображенский батальон стоял в Большом Парголове, и множество офицеров собралось к

Графу Ф<ёдору> И<вановичу> Т<олстому> на вечер. Разумеется что стали играть в карты. Граф Ф<ёдор> И<ванович> Т<олстой> держал банк в гальбе-цвельве. Прапорщик Лейб-Егерского полка А<лександр> И<ванович> Н<арышкин> прекрасный собою юноша, скромный, благовоспитанный образованный, пристал также к игре. В избе было жарко, и многие гости, по примеру хозяина, сняли мундир.

Покупая карту, Н<арышкин> сказал Графу Т<олстому>: „Дай туз а!“ Граф Т<олстой> положил карты, засучил рукава рубахи и выставя кулаки, возразил с улыбкою: „Изволь!“ Это была шутка, но неразборчивая, и Н<арышкин> обиделся грубым каламбуром<sup>[353]</sup>, бросил карты и, сказав: „Постой же, я дам тебе туза!“, вышел из комнаты.

Мы употребляли все средства, чтоб успокоить Н<арышкина>, и даже убедили Графа Ф<ёдора> И<вановича> Т<олстого> извиниться и письменно объявить, что он не имел намерения оскорбить его. Но Н<арышкин> был непреклонен и хотел непременно стреляться, говоря, что если б другой сказал ему это, то он первый бы посмеялся; но от известного дуэлиста, который привык властвовать над другими страхом, он не стерпит никакого неприличного слова. Надобно было драться.

Когда противники стали на место, Н<арышкин> сказал Графу Т<олстому>: „Знай, что если ты не попадёшь, то я убью тебя, приставив пистолет ко лбу! Пора тебе кончить!“

Первый выстрел принадлежал Графу Т<олстому>, потому что он был вызван, и он вспыхнул от слов Н<арышкина>. „Когда так, так вот же тебе!“ — отвечал Граф Т<олстой>, протянул руку, выстрелил и попал в бок Н<арышкину>. Рана была смертельная: Н<арышкин> умер на третий день<sup>[354]</sup>.

Обстоятельно, с массой подробностей поведал о дуэли в Або Толстого и Нарышкина (тот выбрал в секунданты графа де Растильяка) также И. П. Липранди, который попутно уточнил отдельные факты, сообщённые Ф. Ф. Вигелем. (Допускаем, что в этом поединке Иван Петрович был секундантом графа Фёдора.) «Действительно, столкновение Толстого с Нарышкиным произошло у Алексеева, — пишет автор „Замечаний“, — но не за большим карточным столом, а за бостонным, в котором принимали участие: Алексеев, Ставраков, Толстой и Нарышкин. Никакой разбранки, о которой говорит Вигель, между ними не было, тем ещё менее за *ревность*: в этом отношении они были антиподами. Несколько дней пред тем Толстой прострелил капитана Генерального штаба Брунова <sic>, вступившегося, по сплетням, за одну из своих сестёр, о которой Толстой сказал какое-то

словцо, за которое в настоящее время (то есть в 1870-е годы. — М. Ф.) не обратили бы внимания или бы посмеялись и не более; но надо перенестись в ту пору, чтобы судить о впечатлениях. Когда словцо это дошло до брата, то он собрал сведения, при ком оно было произнесено. Толстой подозревал (основательно или нет, не знаю), что Нарышкин, в числе будто бы других, подтвердил сказанное. Этот последний знал, что Толстой подозревает его в этом.

Играли в бостон с прикупкой: Нарышкин потребовал туза такой-то масти. Он находился у Толстого; отдавая его, без всякого сердца, обыкновенным дружеским, всегдашним тоном он присовокупил: „Тебе бы вот надо этого!“, относя к другого рода тузу.

На другой день Толстой употреблял все свои средства к примирению, но Нарышкин оставался непреклонен и чрез несколько часов был смертельно ранен в пах» <sup>[355]</sup>.

Легко удостовериться, что у помянутых мемуаристов (испытывавших, кстати, разные чувства к Американцу) есть существенные расхождения в деталях, но нет принципиальных различий в самом взгляде на поединок. Минуя разночтения и оттенки, остановимся на наиболее важном.

Фаддей Булгарин и Иван Липранди, не сговариваясь, убедительно показывают, что граф Фёдор повёл себя в истории с Александром Нарышкиным совсем не как заматерелый дуэлист — иначе.

Ведь классический бретёр, спровоцировав избранную им жертву, без дипломатических проволочек и с видимым удовольствием «растянул» (VI, 128) бы возмущившегося противника, то есть отправил его на тот свет. Неисправимый же Фёдор Толстой, сказав, как за ним водилось, лишнее, ненароком оскорбил бескомпромиссного знакомого — а затем, получив вызов, всячески пытался вернуть расположение Нарышкина. Едва ли подлежит сомнению, что Американец и себя при этом поругивал, и лезущего на рожон юнца жалел. Где же тут бретёрство, где хвалёная толстовская «дикость»? Их нет и в помине. Иной дуэльный педант, неумный и прямолинейный, наверное, мог бы усмотреть в таком поведении графа даже признаки малодушия.

Толстой стрелял первым и, по дуэльным нормам, не имел права демонстративно выстрелить на воздух. Не мог он, дорожа репутацией превосходного стрелка, и умышленно промахнуться. Рассуждая так, обратим внимание на характер ранения Александра Нарышкина.

Если воспользоваться крылатой пушкинской формулой из «Евгения Онегина» (VI, 122), то резонно предположить, что Американец,

вынужденный выйти к барьеру, метил скорее «в ляжку», нежели «в висок» противника. Другими словами, он планировал попасть в Нарышкина, проучить его, но вовсе не собирался убивать мальчишку<sup>[356]</sup>.

Увы, в те времена даже корифеи не всегда могли совладать с далёкими от совершенства дуэльными пистолетами.

Но «общественному мнению», уже вынесшему *a priori* приговор дуэлисту Фёдору Толстому, дела до подобных тонкостей, разумеется, не было. И большинство современников сочли случившееся в городке Або не чем иным, как циничной расправой способного на всё Американца с гордым молодым офицером. «Так обыкновенно ведётся на свете, — глубокомысленно писал по поводу легенд о графе Толстом Ф. В. Булгарин. — О хорошем умалчивают, а к дурному прибавляют выдумки, чтоб серое сделать чёрным!»<sup>[357]</sup>

При этом графу был выдан обществом своеобразный патент на вызвавшую размен выстрелами реплику про «туза». Штабс-капитанская фраза запомнилась многим и даже, как мы вскоре убедимся, удостоилась поэтической интерпретации.

В Александровскую эпоху к поединкам, в том числе имевшим печальные последствия, власти относились по-философски, «с пониманием», то есть более или менее либерально. По словам князя С. Г. Волконского, «дуэль почиталась государем как горькая необходимость в условиях общественных»<sup>[358]</sup>. «Обычным наказанием за дуэль в конце XVIII — первой трети XIX века, — пишет современный исследователь данной темы, — было заключение в крепость на срок до года, разжалование в солдаты с правом или, реже, без права выслуги, перевод в действующие части (обычно на Кавказ), перевод из гвардии в армию тем же чином <...>, иногда — в захолустный гарнизон, выключка со службы с отправкой в свою деревню, обход производством в очередной чин согласно обычному порядку и т. п.»<sup>[359]</sup>.

Подчеркнём: графа Фёдора Толстого, стрелявшегося за короткое время дважды, ранившего одного и убившего другого противника, наказали никак не строже прочих тогдашних дуэлянтов. Более того, избранная для героя шведской кампании кара была максимально мягкой: его всего-навсего «посадили»<sup>[360]</sup> в тюремный замок. Ф. Ф. Вигель представил дело следующим образом: «Гвардия выступила обратно походом в Петербург, откуда было прислано приказание везти Толстого арестованным. У Выборгской заставы его опять остановили и послали прямо в крепость»<sup>[361]</sup>.

Так Толстой-Американец очутился в Выборгской крепости.

Это произошло, видимо, в начале ноября 1809 года. «Неизвестно, как долго, — писал С. Л. Толстой, — просидел Фёдор Иванович в Выборгской крепости»<sup>[362]</sup>. Новонайденные документы дают возможность приблизительно подсчитать: граф провёл в заключении чуть более трёх месяцев.

Он оставался верен себе и в каземате. Князь П. А. Вяземский занёс в свою записную книжку занятный — и, скорее всего, правдивый — рассказ об очередной проделке Американца:

«За дуэль или какую-то проказу был посажен он в Выборгскую крепость. Спустя несколько времени показалось ему, что срок содержания его в крепости уже миновал, и начал он рапортами и письмами бомбардировать начальство, то с просьбой, то с жалобой, то с упрёками. Это наконец надоело коменданту крепости, и он прислал ему строгое предписание и выговор с приказанием не осмеливаться впредь докучать начальству пустыми ходатайствами. Малограмотный писарь, переписывавший эту офицерскую бумагу, где-то и совершенно неуместно поставил вопросительный знак. Толстой обеими руками так и схватился за этот неожиданный знак препинания и снова принялся за перо. „Перечитывая (пишет он коменданту) несколько раз с должным вниманием и с покорностью предписание вашего превосходительства, отыскал я в нём вопросительный знак, на который вменяю себе в непременную обязанность отвечать“. И тут же стал он снова излагать свои доводы, жалобы и требования»<sup>[363]</sup>.

Уже в феврале 1810 года граф Фёдор вернулся из крепости в Преображенский полк. А 15-го числа его отправили в домовый отпуск на 28 дней, из коего Американец «на срок явился»<sup>[364]</sup>. С середины марта и до начала декабря штабс-капитан Толстой нёс службу исправно и никаких шалостей себе, вероятно, не позволил. И в декабре ему снова предоставили отпуск, теперь уже на целых три месяца. Более того, 12 декабря 1810 года графа Фёдора Толстого произвели в капитаны<sup>[365]</sup>.

В те же сроки произошло другое, примечательное для всех и каждого из преображенцев, событие. Давний недруг Американца барон Е. В. Дризен тоже продвинулся по службе — да ещё как продвинулся: 14 сентября 1810 года он был «назначен командиром полка в чине Полковника»<sup>[366]</sup>.

В марте 1811 года, и вновь «на срок», граф Фёдор Толстой возвратился из отпуска в свой полк.

По всей видимости, новоиспечённый гвардейский капитан тогда давненько не давал о себе знать друзьям, находившимся в отдалении от Петербурга, и кто-то из них пожаловался на молчальника Денису Давыдову. Тот откликнулся стихами — так и не завершёнными, впервые напечатанными (по тетради № 63 из архива Дениса Васильевича, с сохранением орфографии и пунктуации подлинника) лишь в 1933 году:

### 1811-го ГОДУ

Толстой молчит! — неужто пьян?  
Неужто вновь закуралесил?  
Нет, мой любезный грубиян  
Туза бы Дризену отвесил.  
Давно-б о Дризене читал:  
И битый *исключён из списков* —  
Так видно он не получал  
Толстого ловких зубочистков.  
Так видно, мой Толстой не пьян... <sup>[367]</sup>

Тот самый «туз», который привёл к кровавому поединку Американца с Нарышкиным, объявился через год с лишком в давыдовских стихах <sup>[368]</sup>. Очевидно, автор стихотворения, достаточно осведомлённый про отношения Фёдора Толстого и барона Дризена, прознал и про фразу графа, произнесённую в 1809 году в Або, и вроде бы к месту ввернул её.

Употребив же «туза», Денис Давыдов, как сказали бы люди суеверные, опасаящиеся зайцев и прочих дурных примет, своими виршами напоролил беду.

Только вот из полковых списков в год создания этих рифм — в знаменательный для европейцев год, когда забродило «вино кометы», — был исключён не командир лейб-гвардии Преображенского полка барон Егор Дризен 1-й, а любезный приятель Дениса Давыдова, граф Фёдор Толстой.

«Американец всегда дивился снисходительности моих суждений о людях», — написал однажды П. А. Вяземский А. И. Тургеневу <sup>[369]</sup>. Оно и понятно: сам граф, в отличие от князя Петра Андреевича, предпочитал рубить сплеча.

То, что случилось с нашим героем весной или летом 1811 года,

остаётся загадкой и поныне.

Ведь Американец недавно отличился на войне, был отмечен императором Александром Павловичем, стал капитаном гвардейского полка. На пороге тридцатилетия граф как будто взялся за ум, изжил или усмирил «дикость», о его сногшибательных выходках и дуэлях начали понемногу забывать. Иные осведомлённые лица даже всерьёз поговаривали о том, что Толстому в недалёком будущем суждено попасть во флигель-адъютанты.

Зоркая наблюдательница Е. П. Янькова имела основания утверждать другое: красавец Фёдор Толстой «был некоторое время в большой моде, и дамы за ним бегали»<sup>[370]</sup>. «Много женщин не устояло против него!» — восклицала по тому же поводу знавшая подноготную отца П. Ф. Перфильева<sup>[371]</sup>.

Буквально всё и всюду складывалось тогда для него настолько удачно, что даже появившуюся на европейском небе в марте яркую комету Толстой-Американец вполне мог принять не за дурное предзнаменование, а за припозднившийся восход своей звезды.

Тут, под кометой, всё и пошло прахом.

Документов, проясняющих «дело» графа Фёдора, пока не обнаружено. Сам Американец ни словом не обмолвился о причинах «бури» 1811 года. Ничего не написали об этой истории и его друзья, и прочие москвичи и петербуржцы. Однако мы, зная, как наказали капитана графа Толстого, вправе думать, что он совершил некий экстраординарный проступок, причём такой, что власти, во избежание громкого скандала, предпочли свернуть следствие и покарать виновника келейно, без лишней огласки (как некогда в Камчатке).

Таким проступком офицера могло быть, к примеру, неповиновение своему командиру и его оскорбление, что по тогдашним законам приравнивалось к натуральному бунту. Понятно, что идея дотошного, публичного расследования дела о бунте старшего офицера Преображенского полка, красы и гордости русской гвардии, не пришлась бы по вкусу высшему начальству.

Косвенное подтверждение гипотезы о том, что пошедшая было в гору военная карьера графа Фёдора Толстого мигом оборвалась вследствие его острого столкновения с командиром полка, бароном Е. В. Дризенем, есть, по нашему мнению, в сбивчивом рассказе тайного советника Г. В. Грудева. Речь идёт о следующем фрагменте его старческих устных воспоминаний:

«Американец граф Толстой наплевал на полковника Дризена. Была

дуэль, и Толстого разжаловали»<sup>[372]</sup>.

В процитированном отрывке хватает нелепостей. Одна из них — произведённое мемуаристом «разжалованье» графа (о разжалованьях уже сказано в начале настоящей главы).

«Наплевал» — тоже гиль: в этом случае опозоренный полковник Дризен не смог бы оставаться дольше в Преображенском полку, а он числился там пожизненно, до 19 ноября 1812 года, когда был «исключён умершим»<sup>[373]</sup>.

Большие сомнения вызывает и сообщение Г. В. Грудева о состоявшейся дуэли Фёдора Толстого и Дризена. Их служебное неравенство было очень серьёзным препятствием к поединку<sup>[374]</sup>. К тому же дуэль с участием столь значительной персоны, как командир гвардейского полка, наверняка имела бы общественный резонанс и попала в анналы Александровской эпохи.

Однако, извратив факты, почти столетний Г. В. Грудев не ошибся, на наш взгляд, в изложении самой *сути* случившегося. Повторим вышесказанное: граф Фёдор Толстой крайне резко выступил против барона Егора Дризена — и был за это весьма строго (но не громогласно) наказан.

А для сохранения скандальной тайны правительство пошло, можно сказать, на закулисную сделку с Американцем: ему предложили внезапно и основательно *заболеть*. Возможно, тут вновь, как и в прежние годы, расстарались заступники графа Фёдора, благодаря которым капитан избежал более суровой кары.

Разысканные уже в наши дни документы<sup>[375]</sup> позволяют восстановить хронику событий осени 1811 года.

17 сентября графа освидетельствовал полковой штаб-лекарь, который заключил, что Толстой «действительно болен одышкой, и потому военной службы Его Императорского Величества продолжать не может».

Через сутки, 19-го числа, был составлен «Формулярный список Лейб-Гвардии Преображенского полка Капитана Графа Толстого». В конце документа (где, среди прочего, указано, что граф «холост» и — нотабене — «к повышению достоин») стоит подпись: «Полковник Барон Дризен I».

Спустя несколько дней наш герой, призвав в товарищи смышлёного писаря, покорно подал прошение на высочайшее имя. Вот полный текст бумаги, созданной на основании «Формулярного списка»; она хранится ныне в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА):

«Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император

Александр Павлович, Самодержец Всероссийский, Государь  
Всемилоостивейший

Просит Лейбгвардии Преображенского полка капитан Граф Фёдор  
Иванов сын Толстой о нижеследующем:

В службу Вашего Императорского Величества поступил я сначала всей  
полк подпрапорщиком 1791-го Января 1; портупей-прапорщиком 1797-го  
Декабря 28-го; прапорщиком 1798-го Сентября 9; подпоручиком 1799-го  
Сентября 27; поручиком 1803-го Августа 10; и по Высочайшим Приказам  
переведён был в Нейшлотский Гарнизонный баталион тем же чином 1805-  
го Августа 10; из оногo в Костромской пехотный полк 1805-го Августа 29;  
обратно переведён в Нейшлотский Гарнизонный баталион 1806-го Февраля  
23, а оттуда переведён по-прежнему в сей полк 1808-го Октября 31; штабс-  
капитаном 1809-го Августа 11; в нынешнем чину 1810-го годов <sic>  
Декабря 12 числа; в походе находился 1807-го Сентября с 27-го и 1809-го  
годов Ноября по 1 число, в Финляндии против шведов и в экспедиции при  
покорении Аланских островов. А как ныне будучи одержим  
приключившеюся болезнью, о которой прилагая при сём штаб-лекарское  
свидетельство, службы Вашего Императорского Величества продолжать  
нахожу себя не в силах; почему всеподданнейше прошу.

Дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества Указом  
поведено было сие моё прошение по команде принять и меня именованного  
от службы уволить.

Всемилоостивейший Государь! Прошу Вашего Императорского  
Величества о сём моём прошении решение учинить сентября...<sup>[376]</sup> дня  
1811 года, к поданию надлежит по команде. Прощение писал со слов  
просителя онаго ж полка рядовой Иван Костарев.

К сему прошению Лейбгвардии Преображенского полка Капитан Граф  
Фёдор Иванов сын Толстой руку приложил».

Поданное «по команде» формальное, лишённое и намёка на какую-  
либо отсебятину, прошение Американца было препровождено (вместе с  
прошениями двух других офицеров, Порошина 3-го и Нумерса) на мызу  
Стрельна, в штаб-квартиру шефа Преображенского полка великого князя  
Константина Павловича.

26 сентября 1811 года тот представил пакет документов об увольнении  
«за болезнями» и свой рапорт «на благорассмотрение» государя.

Получив представление брата и цесаревича (за № 346), император  
Александр Павлович повелел: двух Преображенских подпоручиков  
(случайно попавших в компанию с графом Фёдором) «отставить по  
положению».

А о капитане Фёдоре Толстом царь распорядился сделать «сверх сего особое исполнение».

Смысл этой туманной фразы самодержца становится понятен из других канцелярских бумаг конца 1811 года.

Одна из них — отношение военного министра генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли к великому князю Константину Павловичу от 7 октября, где говорится:

«Вследствие представления Вашего Императорского Высочества от 26 минувшего Сентября за № 346, Государь Император высочайше соизволяя на отставку Лейбгвардии Преображенского полка капитана Графа Толстого, о чём и будет объявлено в следующем приказе: повелеть изволил сего же дня выехать ему графу Толстому из С-т-Петербурга в Калугскую губернию к родственникам его, что мною ему объявлено и Вашему Императорскому Высочеству имею честь всепокорнейше донести».

В тот же день, 7 октября 1811 года, военный министр адресовал в лейб-гвардейский Преображенский полк предписание за № 2491:

«Оного полка капитан Граф Толстой по Высочайшему повелению по прошению его увольняется от службы, о чём будет объявлено в следующем приказе; а между тем сего же дня приказано ему от меня отсюда выехать по желанию его в Калужскую губернию к родственникам его; о чём полку и даю сим знать».

Итак, за «одышку» графа наказывали не только отставкой, но и ссылкой, о чём Михаил Богданович Барклай де Толли, как выясняется из предписания, сообщил капитану Фёдору Толстому 7 октября 1811 года лично.

В другом документе (а именно — в резолюции на отношении министра полиции А. Д. Балашова) военный министр вскоре уточнил:

«Государь при отставке высочайше приказал его (Фёдора Толстого. — М. Ф.) выслать, взяв с него расписку, чтобы в обе столицы не въезжал».

Высочайший приказ об увольнении от службы «Лейбгвардии Преображенского полка капитана Графа Толстого», отправленный в типографию, был датирован 12 октября<sup>[377]</sup>. В документах более позднего времени значится, что граф «по прошению его за болезнями уволен от службы без чина и мундира<sup>[378]</sup>, с жительством в Калужской губернии»<sup>[379]</sup>.

А из секретного отношения того же генерала от инфантерии А. Д. Балашова к тому же М. Б. Барклаю де Толли (от 29 декабря 1811 года, за № 880) можно выудить ещё одну важную подробность. Оказывается, Американца не просто выпроводили из Петербурга в Калужскую губернию,

а привезли туда — надо полагать, что под неким конвоем.

17 октября 1811 года в «Санктпетербургских ведомостях» (№ 83) было напечатано сообщение об «увольнении от службы» капитана графа Фёдора Толстого.

К этому времени Фёдор Иванович, «человек очень известный», навсегда распрощавшись с доблестным Преображенским полком, вместе с сопровождающим его *лицом* (или лицами), вероятно, уже прибыл к назначенному месту жительства — в Медынский уезд Калужской губернии.

До солдатского ранца или до кандалной Сибири Американец всё-таки неотянул.

В хронике «Несколько глав из жизни графини Инны» Прасковья Перфильева ограничилась мимолётным упоминанием о том, что её отец был «сослан»<sup>[380]</sup>.

До И. П. Липранди, оставшегося после окончания шведской войны в Финляндии и потерявшего боевого товарища из виду, впоследствии дошли слухи, что тот «в отставке»<sup>[381]</sup>.

О «Калужской деревне», куда Американец «сослан был на житьё», однажды обмолвился П. А. Вяземский<sup>[382]</sup>. Зато послереволюционный биограф, учтя это сообщение князя, на собственный лад развил его и написал, что после увольнения из гвардии граф Фёдор Толстой «жил частным человеком в своей Калужской деревне»<sup>[383]</sup>.

В наши дни о пребывании графа Фёдора в ссылке стало известно из документов чуть больше.

Своих владений у него в указанной губернии не имелось. Возможно, права Т. Н. Архангельская, которая предположила, что Фёдор Иванович пожелал быть высланным в Калужскую губернию потому, что там с некоторых пор жила его родная сестра Вера Ивановна, вышедшая замуж за богатого помещика, бывшего штабс-ротмистра лейб-гвардии Уланского полка<sup>[384]</sup> Семёна Антоновича Хлюстина<sup>[385]</sup>. К тому моменту Вера Ивановна уже овдовела; ей и её малолетним детям в «селе Покровском и по Медыни» принадлежало, согласно имеющимся источникам, 1627 крепостных душ<sup>[386]</sup>. Туда-то, в село Покровское, лежащее на юге Медынского уезда, и мог быть, по мнению исследовательницы, доставлен на пороге зимы наказанный Американец.

Однако не исключено, что в октябре 1811 года, по унылым раскисшим трактам, графа привезли из Петербурга в другое владение семейства

Хлюстиных — в село Троицкое, расположенное неподалёку от Покровского. (В Троицкое, кстати говоря, Фёдор Толстой заглядывал и позже, в частности, во второй половине двадцатых годов. В архиве хранится письмо его, посланное оттуда князю В. Ф. Гагарину: «Я пред тобой, милой и любезной друг Князь Василей, как будто и виноват. На два твои письма квиваюсь одним. Но мои недосуги и чистосердечное раскаяние за меня исходатайствуют великодушное прощение...»<sup>[387]</sup>)

Почему же Американец, поставленный перед выбором, изъявил желание отправиться к сестре, а не к родителям, чьи имения находились в других губерниях? Не потому ли, что возвращался граф, завершив карьеру, бесславно, *на щите*; что роль вернувшегося домой «блудного сына» он, разобиженный гордец, сыграть тогда перед стариками Толстыми не мог да и не хотел? Думается, что Фёдору Толстому не были чужды рефлексии подобного рода.

Внезапное появление в тихой провинции «столь примечательного лица» (Ф. Ф. Вигель) привело в определённое замешательство калужского гражданского губернатора П. Н. Каверина и его присных. И действительно: отставного гвардейского капитана вроде бы *привезли* — словно лиходея — на подведомственную им территорию, однако никаких сопроводительных инструкций касательно обращения с непредсказуемым ссыльным в Калугу так и не поступило. Перестраховываясь, П. Н. Каверин счёл за благо обратиться к министру полиции А. Д. Балашову за дополнительными разъяснениями: «какие учинить распоряжения относительно Графа Толстого»<sup>[388]</sup>.

Тогда А. Д. Балашов списался с военным министром, и в итоге продолжительного эпистолярного диалога сановники сошлись на том, что граф всё-таки будет жить, изъясняясь по-официальному, безнадзорно, но в Москву и Петербург — как распорядился в октябре 1811 года император — он отъезжать ни под каким предлогом не должен.

Иными словами, на губернскую администрацию возлагалась обязанность неназойливо присматривать за шалуном.

Более полугода — с поздней предвоенной осени и до памятного лета 1812 года — провёл наш герой в Медынском уезде. Здесь граф 6 февраля встретил своё тридцатилетие. В этом возрасте с людьми тогда случалось всякое: одни, следуя обыкновению, женились, другие сходили с ума или в гроб, а кто-то, потерпев фиаско у подножия пирамид, возвращался в столицу и становился консулом.

Отставку и калужскую ссылку Американец мог бы, пожалуй, наречь

своим карликовым Египтом.

К сожалению, подробностей медынского периода биографии графа Фёдора мы до сих пор не знаем. Но наверняка тут, у сестры и в иных усадьбах, имели место вино и карты, книги и гастрономические опыты; был святой Спиридоний (12 декабря); не обошлось без балов, пересудов уездных кумушек и опущенных глаз зардевшихся дурнушек. Зато не было совместных поездок с опростившимися аборигенами на охоту (её Американец терпеть не мог <sup>[389]</sup>), не произошло и громких столкновений с провинциальным начальством.

Доказано, что граф Фёдор Иванович иногда общался с молодыми соседями — супругами Николаем Афанасьевичем и Натальей Ивановной Гончаровыми, чей Полотняный Завод лежал верстах в пятнадцати к востоку от Покровского. В ту пору в гончаровской семье было четверо детей, ждали пятого. Бог наградил Гончаровых девочкой, Натальей, которая появилась на свет в августе 1812 года, уже после отъезда Фёдора Толстого из Медынского уезда. Пройдут годы — и знакомство графа с калужскими помещиками сыграет на руку Александру Пушкину: поэт вознамерится взять в жёны Natalie Гончарову и выберет Американца, своего человека в доме её родителей, в сваты.

Яркой кометы обыватели опасались не зря: за нею надвигалась гроза.

10 июня 1812 года Франция объявила войну России. И спустя сутки наполеоновская Великая армия начала переправляться через Неман.

Уже с первых дней июля Калужская губерния стала походить на муравейник или на «большой военный стан» <sup>[390]</sup>, где царили паника и энтузиазм, шумели витии и шли спешные приготовления. Всеми сословиями бодро собирались пожертвования, организовывались магазины, из крепостных душ создавалось внутреннее ополчение.

У хамов, выделенных помещиками в ратники, как сразу же выяснилось, не имелось надлежащего вооружения, а во вновь образованных полках ощущалась острая нехватка опытных командиров. Тогда правительство предписало уездным предводителям дворянства приглашать на военную службу отставных штаб-и обер-офицеров. Им полагались прогоны для следования в места формирования военной силы.

Вместе с тем в разосланном повсюду циркуляре Министерства полиции (подтверждённом управляющим Военным министерством) подчёркивалось, что для определения в службу начальники губерний обязаны привлекать офицеров, «только известных в кругу дворянства по доброму поведению; за пороки же отставленные или в губернии дурно

замеченные допущены к службе быть не могут»<sup>[391]</sup>.

Министерский циркуляр напрямую касался ссыльного графа Фёдора Толстого: ведь капитана отлучили от гвардейской службы именно за «пороки». Судя по казённой бумаге, дорога в действующую армию для таких, как он, была заказана или, по крайней мере, крайне терниста.

В критическую минуту государство, как вычитывалось из патриотической декларации чернильных душ, могло обойтись без услуг подобных сомнительных лиц.

Таким образом, отставка от службы грозила превратиться для фрачников с червоточиной, упорствующих или раскаявшихся, в *отставку от Отечества*.

К слову вспоминается один из рассказов князя П. А. Вяземского об Американце: «Когда появились первые 8 томов „Истории Государства Российского“, он прочёл их одним духом и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал он, какое значение имеет слово Отечество, и получил сознание, что у него Отечество есть»<sup>[392]</sup>.

Мораль сего рассказа проста: к «порокам» графа Фёдора Толстого надобно отнести и его пристрастие к эффектной, заведомо некорректной, шокирующей слушателей фразе. «Он любил софизмы и парадоксы», — сообщал Ф. В. Булгарин<sup>[393]</sup>. «Болтун красноречивый» — так обращался к графу в стихах другой краснбай, Денис Давыдов<sup>[394]</sup>. А разве не о том же грибоедовские строки:

Когда ж об честности высокой говорит,  
Каким-то демоном внушаем:  
Глаза в крови, лицо горит,  
Сам плачет, и мы все рыдаем...

Откровенно лил пули Американец и в салонных разговорах о карамзинской «Истории». На самом деле Отечество у графа Фёдора Ивановича Толстого было *всегда*.

И, едва услышав про загромыхавшую на западных рубежах «грозу двенадцатого года», он *наплевал* на всякие столичные циркуляры и начал хлопотать о скорейшем возвращении в строй.

## Глава 4. В СРАЖЕНИЯХ С БУОНАПАРТЕ

*Кто любит видеть в чашах дно,  
Тот бодро ищет боя...*

*В. А. Жуковский*

На развесёлых, подчас оргиастических столичных пирушках середины десятых — начала двадцатых годов позапрошлого века наравне с тостами нередко звучала застольная песня, автором которой предположительно называют морского офицера И. П. Бунина<sup>[395]</sup> или (что гораздо более вероятно) князя П. А. Вяземского. Каждый куплет этой ритуальной песни — в ней порой видели пародию на чинные песнопения вольных каменщиков — был посвящён какому-либо почтенному собутыльнику (Денису Давыдову, Жуковскому, Батюшкову и прочим прилежным «кавалерам»). Исполняемые компанией куплеты перемежались бодрым, с вариантами, припевом.

Объевшиеся и захмелевшие «пробочники» с усердием горланили *a cappella*:

Подобно древле Ганимеду<sup>[396]</sup>,  
Возьмёмся дружно за одно.  
И наливай сосед соседу:  
Сосед ведь любит пить вино!

Попал в герои корпоративной песни и граф Фёдор Иванович Толстой. Его деяния удостоились следующего куплета:

А вот и наш Американец!  
В день славный, под Бородиным,  
Ты храбро нёс солдатский ранец  
И щеголял штыком своим.

На память дня того Георгий  
Украсил боевую грудь:

Средь наших мирных, братских оргий  
Вторым ты по Денисе будь!<sup>[397]</sup>

Нестройные голоса хора, в который уж раз восхвалив ратные подвиги графа, громко повторяли припев, по настроению варьируя третью его строку («Поцелуй сосед соседа», «Обойми сосед соседа», «Поклонись сосед соседу» и т. д.).

Затем хлопали и летели ввысь очередные пробки, опять наполнялись и шумно сдвигались стаканы, менялись тарелки, вносились в залу новые яства — и потеха «семьи пирующих друзей» обретала второе, третье, дцатое дыханье...

С превеликим удовольствием присоединялся к подгулявшим песельникам и Американец. Несложно угадать, какой из куплетов был особенно приятен ему. Графа нисколько не смущало то обстоятельство, что в адресованных ему хвалебных стихах не всё соответствовало истине. Толстой легко утешал себя тем, что он и впрямь побывал в самом пекле Бородинского сражения; что из сложенной любезными бражниками застольной песни нельзя выкинуть ни единого слова. Может быть, наш герой заодно и удивлялся: надо же, о его славном поединке с коварным Буонапарте люди сочинили так мало анекдотов.

А Вяземский не ограничился песенной частью. Позже князь Пётр Андреевич утверждал и в мемуарной книжке, что на Бородинском поле граф Фёдор «надел солдатскую шинель, ходил с рядовыми на бой с неприятелем, отличился и получил Георгиевский крест 4-й степени»<sup>[398]</sup>.

Фаддей Булгарин в воспоминаниях развил данную тему: он писал, что Фёдор Толстой, «находясь в отставке солдатом, пошёл в ратники в 1812 году и отчаянною храбростью снова заслужил полковничий чин и ордена, которых лишён был по суду»<sup>[399]</sup>.

Даже Денис Давыдов, боевой товарищ графа, нисколько не сомневался, что Американец «поступил рядовым в Московское ополчение»<sup>[400]</sup>.

В научной литературе и прочих сочинениях эти высказывания современников нашего героя не получили критической оценки.

На самом же деле ни «солдатского ранца», ни ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, жалуемого, как записано в Статуте ордена 1769 года, «за особливо какой мужественный поступок»<sup>[401]</sup>,

в двенадцатом году Американцу не досталось.

«Проследить эту часть его служебного пути исследователи пока не решались, видимо, прежде всего из-за недостаточного количества сохранившихся документов», — пишет в наши дни Т. Н. Архангельская<sup>[402]</sup>. Выявленные и опубликованные ею архивные материалы наконец-то дают возможность реконструировать (в общих чертах, с пробелами) «наполеоновский» этап биографии графа Фёдора Толстого.

«Впечатление, зделанное бурной молодостью <...> на воображение общества»<sup>[403]</sup>, — супостат незримый и могущественный.

Опасаясь твердолобых призраков, военных и полицейских чиновников, отставной гвардии капитан, «ленивейший из смертных» (так характеризовал он себя в одном из писем князю П. А. Вяземскому)<sup>[404]</sup>, действовал весьма изощрённо и энергично. Граф избрал летом памятного военного года довольно хитроумную тактику. Он решил пробраться в действующую армию путями окольными, при поддержке влиятельных гражданских лиц — тех, кто, по словам М. И. Голенищева-Кутузова, «на время войны перепоясался на брань против врагов Отечества»<sup>[405]</sup>.

В июле, ещё до Указа об учреждении комитетов для образования внутреннего ополчения, ссыльный граф написал письмо владельцу Уральских металлургических заводов Николаю Никитичу Демидову, шефу 1-го егерского полка Московского ополчения. Этот полк, созданный иждивением богатейшего заводчика и насчитывавший в своих рядах 2400 воинов, формировался, судя по тогдашней ведомости, в Рузе<sup>[406]</sup>. А в командиры рекрутов был определён только что вернувшийся в армию полковник А. В. Аргамаков, давнишний приятель Американца. Возможно, именно он, некогда товарищ по службе в Преображенском полку, и надоумил оказавшегося не у дел графа обратиться к тайному советнику и патриоту Н. Н. Демидову.

В отправленном письме содержалась настоятельная просьба зачислить его, Фёдора Толстого, в данный полк.

Находившийся в Москве Николай Демидов навёл соответствующие справки (скорее всего, у того же А. В. Аргамакова) и затем препроводил прошение нашего героя генерал-адъютанту князю Василию Сергеевичу Трубецкому. К прошению Демидов приложил собственную бумагу, которая датируется 26 июля 1812 года (ныне хранится в РГВИА):

«Милостивый государь Князь Василий Сергеич. Небезизвестно

Вашему Сиятельству, что я взялся сформировать 1-й Егерский полк Московской Земской силы, то мне нужны офицеры, но хотя и являются многие из статских, но люди к службе не приобывшие и оную не знающие, прилагаю вам при сём письмо от Графа Толстого, известного Вашему Сиятельству, опытного и славного по словам его товарищей офицера, желающего поступить ко мне. Благоволите доложить Государю Императору, прикажет ли его, Толстого, в полк принять, с чином по сделанному положению, и прикажите о воле Его Императорского Величества мне дать знать, чем изволите одолжить пребывающего с истинным почтением, Милостивый государь, Вашего Сиятельства *покорнейшего слугу Николай Демидов*<sup>[407]</sup>.

В день создания приведённой эпистолы отступающие русские 1-я и 2-я Западные армии ещё пребывали в Смоленске.

На счастье, князь В. С. Трубецкой, находившийся в ту пору при императоре Александре Павловиче, был знаком с опальным графом. Генерал-адъютант дал прошению авторитетного богача ход, в результате чего на демидовском письме вскоре появилось написанное карандашом распоряжение: «Принять». (По мнению Т. Н. Архангельской, это собственноручная резолюция царя.)

Ниже указанного вердикта — автограф управляющего Военным министерством князя А. И. Горчакова 1-го: «Получено 19 августа 812». Аналогичная дата проставлена кем-то и на верхнем поле листа<sup>[408]</sup>.

По всей видимости, понедельник 19 августа 1812 года и должно считать официальной датой возвращения Американца («по его желанию») на военную службу. Очевидно, его вернули «с чином по сделанному положению» — то есть с производством из капитанов гвардии в армейские *подполковники*. Высочайшего приказа о производстве вновь прощённого графа Фёдора Толстого в подполковники до сих пор не найдено (похоже, его и не было<sup>[409]</sup>), однако этот факт подтверждается многими документами более позднего происхождения<sup>[410]</sup>.

Таким образом, граф Фёдор сумел реализовать свой «партизанский» план. Он, никогда не сомневавшийся, что приверженность к Отечеству есть «в сердце каждого благородного, прямо благородного человека»<sup>[411]</sup>, пополнил-таки ратные ряды россиян.

Минута была самой что ни на есть критической: в этот день соединённые русские армии, над которыми двумя сутками ранее принял командование М. И. Голенищев-Кутузов, продолжили унылую ретираду и

оставили Царёво Займище.

Умеряя «невероятную энергию преследования» (А. де Коленкур), ведя тяжёлые арьергардные бои с чужеземцами, войска потянулись в московском направлении.

До Бородинской битвы — или битвы при реке Москва, как называли её впоследствии французы, — оставалась ровно неделя.

Московское ополчение (численностью порядка 20 тысяч воинов) под командованием генерал-лейтенанта графа И. И. Моркова прибыло на Бородинскую позицию из Можайска 24 августа 1812 года, в день ожесточённого сражения на левом фланге Главной армии (за так называемый Шевардинский редут, в итоге оставленный нашими войсками)

<sup>[412]</sup>. Подошедший корпус разделялся на три дивизии, в состав которых вошли три егерских и восемь пеших полков, а также конный казачий полк. Огнестрельное оружие — причём довольно сомнительного свойства — имелось разве что у половины «русских крестоносцев».

На позиции необстрелянные бородачи-новобранцы спешно распределялись по полкам и бригадам, имевшим боевой опыт, и составляли их третью — вслед за передовыми частями и резервами — шеренгу. Предполагалось, что ратники без крайней необходимости не будут задействованы в намечавшемся сражении, а станут выносить с поля боя раненых.

Известно, что «в 1-ю Западную армию поступили 8 батальонов из 1-го и 3-го егерских и 3-го и 4-го пеших полков; во 2-ю Западную армию — 6 батальонов из 2-го егерского, 7-го и 8-го пеших полков (всего 9,5 тысяч воинов)»

<sup>[413]</sup>. Подполковник граф Фёдор Толстой незадолго до битвы был переведён из 1-го егерского в 8-й пеший казачий полк (под командой генерал-майора В. Д. Лаптева), где стал «баталионным командиром» и «много содействовал к сформированию полка». Вместе с ним в армию генерала от инфантерии князя Петра Ивановича Багратиона, на левый фланг русской армии, отправили 1200 человек

<sup>[414]</sup>. В силу многих, объективных и субъективных, причин зона ответственности 2-й Западной армии была наиболее уязвимой частью нашей позиции. И мало кто из людей сведущих сомневался в том, что главный удар наполеоновских войск будет нанесён именно сюда, в район Семёновских флешей, деревни Семёновское и центральной батареи.

Этим Американец мог быть доволен. Не устраивало его только пребывание в третьей шеренге, среди ополченцев, в отдалении от

передовой.

«Накануне Бородинского сражения, — вспоминал Иван Петрович Липранди, — находясь на строящейся центральной батарее, я услышал, что кто-то отыскивает какого-то полковника<sup>[415]</sup> графа Толстого. Оказалось, что это мой старый знакомый, в то время начальник дружины ополчения, из любопытства пошёл к цепи посмотреть французов. Его скоро отыскали; мы успели только разменяться несколькими словами и помянуть князя (М. П. Долгорукова. — М. Ф.). Сказав мне, где и чем он командует, он поскакал на призыв»<sup>[416]</sup>.

Аттестовавшись приятелю (на тот момент обер-квартирмейстеру 6-го пехотного полка) «начальником дружины ополчения» (то есть командиром батальона 8-го пешего полка), граф Фёдор ввечеру 25 августа уже примеривался к первой, смертельно опасной линии войск. На аванпостах он, привстав в стременах, попытался разглядеть располагавшегося за речкой и перелеском своего завтрашнего, уже начинавшего ликовать, противника.

Упомянутая Иваном Липранди «центральная батарея» (в итоге так до конца, видимо, и не достроенная) имела и другие названия: Большой редут, Курганная батарея, Центральный люнет, позднее — батарея Раевского... Спустя несколько часов неистово штурмовавшие укрепление французы и прочие «языки» называли батарею «адской пастью»<sup>[417]</sup>.

Немудрено, что 26 августа 1812 года, в понедельник, подполковник граф Фёдор Толстой очутился на «большом поле» именно там, где ему и подобало очутиться.

Его *однодневный* полк имел белое знамя и пять цветных, с тёмно-коричневым крестом. Углы этих знамён образца 1797 года были также тёмно-коричневыми, но с селадоновым (светло-зелёным), или просто селадоновыми.

Зато древки оказались чёрными<sup>[418]</sup> — совсем как глаза у Американца.

На рассвете, около 6 часов утра, когда ещё не рассеялся туман над полем, Великая армия всей своей мощью обрушилась на оборонительные рубежи русского воинства, одновременно атакуя Семёновские флеши и село Бородино.

И задрожала земля, заржали кони, загрохотали орудия, тут и там завязались ожесточённые схватки. Сразу же появилось множество убитых и раненых.

В то же время в русском лагере, в третьей шеренге войск, происходило

удивительное движение, чем-то напоминающее броуновское, — движение, имеющее самое непосредственное отношение к нашему повествованию. Его, это снование, нельзя исчерпывающе объяснить ни свойственной всякому сражению сумятице, ни сбивчивостью приказов командиров, ни какими-либо оплошностями растерявшихся служивых.

Оно имело совершенно иную природу.

С одной стороны, указанное возвратно-поступательное движение было вполне осязаемо, массово. Ополченцы и «специально наряженные команды» нижних чинов, приседая и крестясь, бросились, с носилками и без оных, уносить в тыл получивших увечья офицеров и солдат. По словам очевидца, это происходило примерно так: «Русские мужики с пиками и без пик, с топором за поясом <...> втесняются в толпу вооружённых, ходят под бурею картечи, и — вы видели — они нагибались, что-то подымали, уносили... <...> Кутузов приказал смоленскому ополчению уносить раненых из-под пуль сражающихся, из-под копыт и колёс конницы и артиллерии. <...> У французов этого не было; зато их раненые задыхались под мёртвыми, — и трупы их были растоптаны копытами, раздавлены колёсами артиллерии»<sup>[419]</sup>.

Спасённых и доставленных в третью шеренгу окровавленных воинов принимали другие ополченцы, клали их на заготовленные подводы и отправляли в сторону Новой Смоленской дороги, а оттуда к Можайску. Один из ополченцев позднее назвал такую работу «самой неприятной на свете должностью», которую, безусловно, лучше «променять на потеряние самой <...> жизни»<sup>[420]</sup>.

Другая же составляющая движения в войсках была практически незаметна наблюдателю, однако её значимость — военную и моральную — трудно переоценить. Сведения о ней имеются, в частности, в донесении начальника Московской военной силы генерал-лейтенанта И. И. Моркова, отправленном 20 января 1813 года в Главный штаб действующих армий. Докладывая о распределении ополченцев и их начальников по корпусам 1-й и 2-й армий перед Бородинским сражением, граф И. И. Морков сообщал: «С тех пор не имел я ни малейшего сведения о вверенной мне Московской военной силе и не мог оно иметь по причине той, что полковые, батальонные и сотенные начальники при своих командах не находились, а были раскомандированы к разным должностям...»<sup>[421]</sup>

В переводе с диалекта воинских артикулов на обиходный, всем понятный язык сие означает вот что. Большинство кадровых офицеров — по приказу армейского командования, полностью совпавшему с их

собственным неуёмным желанием, — в тот или иной момент покинули вверенных им ранее безоружных дилетантов, выдвинулись вперёд, примкнули к дерущимся русским полкам и сшиблись с неприятелем.

Словом, когда ободняло, последние стали первыми, одними из первых.

Наш Американец был «прикомандирован» к Ладожскому пехотному полку, который состоял в 1-й бригаде 26-й пехотной дивизии генерал-майора И. Ф. Паскевича<sup>[422]</sup>. Шефом полка значился тогда полковник Е. Я. Савоини. Дивизия же входила в состав 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского, «полного дарований и неустрашимости военачальника» (Д. В. Давыдов).

Этот корпус оборонял первенствующий участок русской позиции — и опорным пунктом обороны, её «ключом», являлся редут на Курганной высоте.

Спустя столетие историограф Ладожского полка подполковник Николаев констатировал: «26-го августа, в Бородинском сражении, полк находился на важнейшей позиции — центральной батарее, названной впоследствии батареей Раевского, на которую обрушился главный удар неприятеля»<sup>[423]</sup>. К сожалению, полковой летописец не сообщил нам никаких подробностей о действиях отважных ладожцев в тот исторический день.

Ещё при жизни графа Фёдора Толстого, в 1839 году, на месте исчезнувшей батареи установили памятник<sup>[424]</sup>. Благодарные соотечественники воздали должное поразительному мужеству защитников люнета и прочих русских воинов, проявленному в сражении «столь жестоком, какого примера не было»<sup>[425]</sup>.

Хвала вам будет оживлять  
И поздних лет беседы.  
«От них учитесь умирать!» —  
Так скажут внукам деды;  
При вашем имени вскипит  
В вожде ретивом пламя;  
Он на твердыню с ним взлетит  
И водрузит там знамя.

Думается, было бы справедливо воспринимать этот бородинский монумент и как памятник нашему герою.

Сохранившиеся военно-оперативные документы, мемуары участников сражения и исследования учёных (в том числе представителей новейших историографических школ) позволяют нам рассказать об эпизодах брани в районе Большого редута, имеющих определённое отношение к подполковнику графу Фёдору Толстому. Далее вниманию читателей предлагается подкреплённая отдельными документами и хронометрическими выкладками *версия* поведения Американца в «великий день Бородина» (III, 273).

Итак, «погода стояла чистая и ясная, с небольшим ветром»<sup>[426]</sup>. Массированное наступление противника (под предводительством вице-короля Италии Э. Р. Богарне) на Большой редут началось около 9.00. «Неприятель, устроив в глазах наших все свои армии, так сказать, в одну колонну, шёл прямо на фронт наш, — писал Н. Н. Раевский генералу от инфантерии Д. С. Дох-турову 11 сентября 1812 года из Луковны, — подойдя же к оному, сильные колонны отделились с левого его фланга, пошли прямо на редут и, несмотря на сильный картечный огонь моих орудий, без выстрела головы оных перелезли через бруствер...»<sup>[427]</sup>

Довольно быстро войскам первого эшелона атакующих (которыми командовал бригадный генерал Ш. Боннами) удалось овладеть батареей. Офицеры и прислуга при орудиях пали в рукопашной схватке.

Приблизительно тогда же получил ранение (оказавшееся смертельным) П. И. Багратион, что привело, по словам Э. Ф. Сен-При, к «кратковременной дезорганизации большинства полков»<sup>[428]</sup>. Как выразился позже Ф. Н. Глинка, «стадо осталось без пастыря»<sup>[429]</sup>. Ранили и шефа ладожцев полковника Е. Я. Савоини.

По мнению французов, в тот самый момент, в десятом часу утра, они были в полушаге от безоговорочной победы, от нового «солнца Аустерлица».

И вот совпадение: как раз тут, как будто из-под земли, объявляется наш герой — и вступает в бой, «щеголяет штыком своим». Существуют источники, где упоминается сражающийся на Курганной высоте татуированный, со святым Спиридонием на груди граф Фёдор Иванович Толстой.

Из документов мы узнаём, что граф Фёдор принял в тот роковой час командование над Ладожским полком и даже попытался малыми силами контратаковать преуспевших французов. Так, в рапорте от 7 сентября 1812 года Н. Н. Раевский докладывал М. И. Голенищеву-Кутузову об Американце: «Командуя баталионом, отличною своею храбростью

поощрял своих подчинённых, когда же при атаке неприятеля на наш редут ранен Ладожского полка шеф полковник Савоини, то, вступая в командование полка, бросался неоднократно с оным в штыки и тем содействовал в истреблении неприятельских колонн»<sup>[430]</sup>.

Позднее Н. Н. Раевский сообщил П. П. Коновницину (в письме от 10 декабря 1812 года) следующее: «Подполковник граф Толстой прикомандирован во время сражения 26-го августа к командованию Ладожским пехотным полком по причине перераненных того полка шефа и других штаб-офицеров покойным Главнокомандующим князем Багратионом»<sup>[431]</sup>.

Нежданно-негаданно к попавшим в тяжелейшее положение защитникам батареи подоспела «сикурса», подмога.

Торопившиеся на другой участок сражения генералы А. П. Ермолов и граф А. И. Кутайсов оказались в районе Курганной высоты в самый нужный миг. И Алексей Петрович Ермолов, воспользовавшись тактическими оплошностями французов, возглавил масштабную контратаку русских. «Проезжая центр армии, я увидел укреплённую высоту, на коей стояла батарея из 18 орудий, составлявшая правое 2-й армии крыло, в руках неприятеля, в больших уже силах на ней гнездившегося, — информировал Алексей Петрович генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли 20 сентября того же года. — Батареи неприятеля господствовали уже окрестностью сей высоты, и с обеих <sic> её сторон спешили колонны распространить приобретённые им успехи. <...> Высота сия, повелевавшая всем пространством, на коем устроены были обе армии, 18 орудий, доставшихся неприятелю, были слишком важным обстоятельством, чтобы не испытать возвратить сделанную потерю. Я предпринял оное. Нужна была дерзость и моё счастье, и я преуспел. Взяв один только 3-й батальон Уфимского пех<отного> полка, остановил я бегущих и толпою, в образе колонн, ударил в штыки. Неприятель защищался жестоко, батареи его делали страшное опустошение, но ничто не устояло»<sup>[432]</sup>.

«Эта схватка была одна из самых ужаснейших и кровопролитных в продолжение всего Бородинского дела. Трупы неприятеля завалили люнет перед укреплением», — читаем в записках И. Ф. Паскевича<sup>[433]</sup>.

«Овладение сею батареею принадлежит решительности и мужеству чиновников<sup>[434]</sup> и необычайной храбрости солдат», — прибавил А. П. Ермолов<sup>[435]</sup>.

(Увы, в ходе того боя погиб генерал-майор А. И. Кутайсов, «вождь молодой». Тело его так и не было найдено.)

В русской отчаянной контратаке, завершившейся возвращением центрального редута, уничтожением тьмы французов и пленением тяжело раненного генерала Ш. Боннами, приняли участие воины двух дивизий, многих полков и батальонов. Бок о бок с ладожцами дрался Полтавский пехотный полк (который входил в одну бригаду с Ладожским; Полтавский полк в итоге потерял в этот день 262 нижних чина убитыми и пропавшими без вести и 170 ранеными<sup>[436]</sup>). Понятно, что в невообразимой суматохе боя, когда колонны смешались, подполковник Фёдор Толстой, кое-как распоряжавшийся в редуте и подле укрепления окружавшими его воинами, подчас воспринимался как командир и этого полка.

Позднее данное обстоятельство, кем-то отмеченное, отразилось в делопроизводственных бумагах. В одной из них написали про графа: «Причислен для командования Полтавским пехотным полком»; и ниже добавили витиеватое: «Ладогского пехотного полка, прикомандированный из Полтавского пехотного полка»<sup>[437]</sup>. Первичная бюрократическая неточность была закреплена в прошении Фёдора Толстого об отставке (1814) и в «Пашпорте» 1816 года, составленном на основе предыдущих документов. Там про нашего героя сказано: «1812 года в августе месяце командовал Полтавским пехотным полком»<sup>[438]</sup>.

Допущенная в начале осени 1812 года в штабах оплошка повлекла за собой досадные последствия: она задержала, несмотря на представления и ходатайства ряда военачальников (М. И. Голенищева-Кутузова, Н. Н. Раевского, А. П. Ермолова), производство Толстого-Американца в следующий чин.

Опрокинув и отбросив французов «до кустарников» и Семёновского оврага, защитники Большого редута вновь заняли оборонительную позицию. «Более действий моего корпуса описать остаётся мне в двух словах, — сообщал Н. Н. Раевский спустя полмесяца, — что по истреблении неприятеля, возвратясь опять в свои места, держался в оных до тех пор против повторяемых атак неприятеля, пока убитыми и ранеными приведён был в совершенное ничтожество, и уже редут мой занял генерал-майор Лихачёв. <...> Описывать деяния всякого генерала, штаб-и обер-офицера я не в силах, а отличная их храбрость доказана тем, что почти все истреблены на месте»<sup>[439]</sup>.

Ещё как минимум дважды наполеоновские дивизии, получая подкрепления, яростно штурмовали непокорную батарею, судьба которой,

по мнению современных военных историков, фактически была предрешена после вытеснения русских из Семёновского <sup>[440]</sup>. Но защитники бастиона не подозревали об этом и стояли до последней крайности, насмерть, по выражению генерал-майора И. Ф. Паскевича — «до истощения сил в полках».

«Картина ужасная, бой ужасный! По жесточайшей пальбе всё наше левое крыло идёт в штыки. Всё смешалось и обагрилось кровью», — записал Ф. Н. Глинка, очевидец сражения <sup>[441]</sup>.

«Сражение перешло в рукопашную схватку, — будто вторил ему В. И. Левенштерн. — Люди дрались спереди, сзади; свои и враги смешались» <sup>[442]</sup>.

«Обе стороны решились лечь на месте, — вспоминал артиллерийский офицер Н. Любенков, — изломанные ружья не останавливали, бились прикладами, тесаками...» <sup>[443]</sup>

И только около 15.00 неприятелю удалось-таки окончательно овладеть разрушенным люнетом. Оборонявшие батарею воины, «покрытые потом и порохом, обрызганные кровью и мозгом человеческим, не могли более противиться и защищать люнет. Но мысль о личной сдаче далеко была от них! Почти все приняли честную смерть и легли костями там, где стояли» <sup>[444]</sup>.

К тому часу Курганная высота представляла собой «зрелище, превосходившее по ужасу всё, что только можно было вообразить. Подходы, рвы, внутренняя часть укреплений — всё это исчезло под искусственным холмом из мёртвых и умирающих, средняя высота которого равнялась 6–8 человекам, наваленным друг на друга» <sup>[445]</sup>.

«Итог взятия Большого редута высоко оценён самим неприятелем, — читаем в новейшем исследовании Л. Л. Ивченко. — Так, утешая А. Коленкура, брат которого „остался в редуте“, Наполеон произнёс в его адрес следующие слова: „Он умер смертью храбрых, решив исход сражения“. Если же подойти к оценке этого события, отрешившись от драматических эффектов, то следует признать, что очередной „частный успех“ реально мало что давал противнику» <sup>[446]</sup>.

Когда стали считать раны и товарищей, выяснилось: 7-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского, которому «нечем уже было действовать», потерял в этой исполинской сече 3250 человек убитыми и пропавшими без вести и 2790 ранеными <sup>[447]</sup>. А в Ладожском полку было убито и пропало без вести 196 человек, ранено же — 215 <sup>[448]</sup>.

Пролил кровь 26 августа 1812 года и подполковник Фёдор Толстой: граф был «ранен в левую ногу пулею навывлет»<sup>[449]</sup>. «Он был сильно ранен в ногу», — уточнил впоследствии Денис Давыдов<sup>[450]</sup>. В какой из моментов баталии это случилось, нам неизвестно. Видимо, неприятельская пуля достаточно долго искала его: ведь Американец, как сказано выше, ходил в штыки «неоднократно».

Нет никаких сведений и о том, как ему удалось выбраться из «ада» и оказаться в тылу, на крестьянской подводе, предназначенной для раненых. Велик русский Бог: возможно, граф Толстой ухитрился доковылять сам; или его спасли мужики (те самые снующие взад-вперёд ополченцы с носилками); или офицеру подставил плечо кто-то из оказавшихся рядом воинов с «солдатским ранцем».

А вечером, когда побоище завершилось, раненого Американца увидел в покое на огромном походный лазарет Можайске начальник штаба 1-й Западной армии генерал-майор А. П. Ермолов. Этот эпизод был описан Денисом Давыдовым с натуралистическими подробностями: «Ермолов, проезжая после сражения мимо раненых, коих везли в большом числе на подводах, услышал знакомый голос и своё имя. Обернувшись, он в гуще раненых с трудом мог узнать графа Толстого, который, желая убедить его в полученной им ране, сорвал бинт с ноги, откуда струями потекла кровь»<sup>[451]</sup>.

Так он — театрально, в духе античных трагедий — воззвал к справедливости сильных мира сего.

Потом графа Фёдора эвакуировали из Можайска (возможно, через обречённую Москву). При выезде из города, 28 августа, произошла ещё одна встреча нашего героя с Иваном Петровичем Липранди, который по прошествии лет вспоминал: «...До рассвета, отправляясь с квартирьерами к Крымскому Броду и обгоняя бесчисленные обозы, я услышал из одного экипажа голос графа, звавшего к себе шедшего в некотором расстоянии от него своего человека. Я подъехал. Граф был ранен в ногу и предложил мне мадеры; я кое-как выпроводил его из ряда повозок, и мы расстались»<sup>[452]</sup>.

Американец на ходу навёрстывал упущенное: ведь 26-го числа ему, право, было некогда опорожнить бутылку.

Мадера возвращала подполковнику Фёдору Толстому силы, врачевала его.

Наполеону не удалось решить судьбу кампании в генеральной схватке при Бородине.

Русские устояли, не дали разбить себя — и, отступив, на марше могли

позволить себе глоток всемогущего вина.

Их бескомпромиссная партия с корсиканцем «на роковой шахматной доске» (Ф. Н. Глинка) была отложена в сложнейшей позиции, с обоюдными шансами на выигрыш.

Соперников ждало долгое, изобилующее всяческими комбинациями, ловушками и жертвами, доигрывание.

Настал день, когда граф Фёдор всё-таки сравнялся в чине с почившим недругом, бароном Е. В. фон Дризенем. Высочайший приказ о производстве Американца в полковники был подписан 13 марта 1813 года. В «Санктпетербургских ведомостях» (4 апреля, № 27) пропечатали следующее: «За отличие, оказанное в <Бородинском> сражении, производятся: прикомандированный к Ладожскому пехотному полку из Московского ополчения подполковник граф Толстой в полковники...»<sup>[453]</sup>

К тому времени наш герой, давно исцелившийся, успел побывать «во многих сражениях»<sup>[454]</sup> с потерявшим инициативу Бонапартом.

Судя по рапорту начальника Московской военной силы генерал-лейтенанта графа И. И. Моркова, который помечен 31 марта 1813 года<sup>[455]</sup>, Американец уже в начале октября 1812 года снова был в строю и, находясь «безотлучно» при 8-м пешем полку, «отличил себя мужеством» в ряде баталий<sup>[456]</sup>.

Так, 6 октября он принял участие в Тарутинском сражении — в деле при реке Чернишне, где русские изрядно потрепали корпус короля Неаполитанского Иоахима Мюрата и взяли в плен около тысячи французов.

Спустя несколько дней, 12-го числа, подполковник Фёдор Толстой дрался за Малоярославец. Город был занят авангардом русской Главной армии 15 октября 1812 года.

Минуло ещё три напряжённые недели — и мы видим графа 6 ноября в сражении под Красным, где войска под командованием генерала от инфантерии М. А. Милорадовича почти полностью уничтожили корпус маршала Мишеля Нея и полонили около 12 тысяч человек. После этого дела приблизился эндшпиль кровавой партии: положение Великой армии стало очень тяжёлым, почти безнадёжным.

В «Списке штаб-и обер-офицерам Московской военной силы, отличившимся в кампанию прошлого 1812 года», который генерал-лейтенант И. И. Морков приложил к своему мартовскому 1813 года рапорту, указывалось, что граф Ф. И. Толстой, выказавший мужество в указанных битвах, достоин ордена «Св<ятого> Владимира 4-й степени с

бантом»<sup>[457]</sup>. Но ходатайство начальника Московского ополчения (которое, по утверждению М. И. Голенищева-Кутузова, «во многих сражениях оказывало величайшую пользу»<sup>[458]</sup>), кажется, было отложено в долгий ящик.

Из всеподданнейшего рапорта генерал-фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова императору Александру Павловичу от 21 ноября 1812 года выясняется, что в ту пору 8-й пеший полк дислоцировался на Днепре, «в Орше»<sup>[459]</sup>, уездном городе Могилёвской губернии.

А в середине морозного января 1813 года двоюродный брат Американца граф Н. И. Толстой, адъютант генерала от инфантерии князя А. И. Горчакова 2-го, столкнулся с нашим героем уже на Березине, в городе Борисове Минской губернии. Вскоре, 4 февраля, он сообщил об этом родным в Петербург: «Граф Фёдор Иванович виделся со мною недели две тому назад, а теперь я не знаю, где он находится, ибо он прикомандирован к отдельному совсем корпусу»<sup>[460]</sup>.

О маршрутах, «растахах» и деяниях графа во время Заграничного похода русской армии мы знаем пока очень немного. Ничем не может здесь помочь биографу и Иван Липранди. «Во время войны 1813–1815 годов я не встречался с ним», — пишет он о Фёдоре Ивановиче<sup>[461]</sup>.

Зато с генерал-майором Александром Христофоровичем Бенкендорфом граф Фёдор, возможно, столкнулся на военных дорогах. (Впоследствии, обращаясь к начальнику III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии по важному делу, Толстой представился «человеком, который некогда имел честь быть» А. Х. Бенкендорфу «не без известен»<sup>[462]</sup>.)

В 1813 году граф Фёдор (судя по его прошению об отставке 1814 года) «был за границу в Герцогстве Варшавском и при блокаде крепости Модлина; Августа с 17 в Шлезии, Сентября с 6-го — в Саксонии, с 10 в Богемии, Октября 27 числа в сражении при деревне Фрозе»<sup>[463]</sup>.

Потом, в декабре, Американец попал в Польскую армию генерала от кавалерии барона Л. Л. Беннигсена. Он был «прикомандирован» к 42-му егерскому полку, которым командовал полковник Е. И. Синенков. Данный полк в составе своей дивизии (знакомой нам 26-й пехотной дивизии генерал-майора И. Ф. Паскевича<sup>[464]</sup>) входил в корпус генерала от инфантерии Д. С. Дохтурова.

Известно, в частности, что за участие в зимних операциях 1814 года и «отличие» при осаде и штурме («действительном сражении») крепости

Горн и поста Гам (14 января) Американец, командовавший «передовыми аванпостами», был наконец-то отмечен начальством: «награждён орденом Св<ятого> Равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом»<sup>[465]</sup>. «Боевая грудь» графа «украсилась» этим орденом в конце января или в феврале 1814 года<sup>[466]</sup>.

Потом была успешная «экспедиция» на остров Вильгельмсбург («Виленсбург») на Эльбе (неподалёку от блокированного союзниками Гамбурга), которая проходила в январе — феврале 1814 года. Атаковавшие остров войска Л. Л. Беннигсена (ставшего графом) спалили мосты, захватили 4 орудия и пленили 400 офицеров и солдат неприятеля<sup>[467]</sup>. За дело 28 января 1814 года граф Фёдор был представлен к вожделенному для любого русского офицера «ордену Св<ятого> Великомученика и Победоносца Георгия, 4 класса»<sup>[468]</sup>. (Видимо, на *островах* он, воспитанник Морского корпуса и участник кругосветного путешествия, дрался с особенным воодушевлением.)

Сохранился рапорт («Донесение № 116») графа Л. Л. Беннигсена императору Александру 1 от 25 февраля 1814 года, где говорится: «За отличные подвиги, оказанные в сражении 28-го генваря 1814 года под Гамбургом, по представлению Генерала от Инфантерии Дохтурова назначены мною были к ордену Св<ятого> Георгия 4-го класса полков 42-го Егерского Полковник граф Толстой и Орловского пехотного майор Лунин, коих заслуги, на основании Высочайше утверждённого Вашим Императорским Величеством учреждения для Большой Действующей армии, предложил я на уважение совета, каковой на сей конец составлен был при корпусе генерала Дохтурова из наличных кавалеров сего ордена. Оный совет, находя подвиги Полковника Графа Толстова и майора Лунина достаточными к получению ордена Св<ятого> Георгия 4-го класса, удостоил оным помянутых чиновников, коим в соответствии того удостоения и определил я знаки сего военного ордена, о чём донося Вашему Императорскому Величеству, всеподданнейше прошу о утверждении оных.

№ 31. Февраля 25 дня 1814 года. Д<еревня> Пиннеберг. Генерал Граф Беннигсен»<sup>[469]</sup>.

К данному рапорту главнокомандующий Польской армией приложил другой документ, также датированный 25 февраля 1814 года, — «Список штаб-офицерам, кои за оказанную ими храбрость награждены мною по удостоению совета орденом Св<ятого> Георгия 4-го класса». Там (в графе

«Подвиги») дано описание героического деяния Американца: «Командуя баталионами 42-го егерского и Нижегородского полков, овладел Готгенгорстскою батареею, на коей находились два неприятельских орудия, а потом, опрокинув неприятеля при Алтаузске, обратился к Морвердеру и, невзирая на сильное неприятельское стремление, отражал оного с большим успехом»<sup>[470]</sup>.

На рапорте Л. Л. Беннигсена царь написал карандашом: «Исполнить»<sup>[471]</sup>.

«Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоёванные песни: Vive Henri-Quatre<sup>[472]</sup>, тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слёзы свидания!» (VIII, 83; *выделено Пушкиным*).

Большинство ополченцев, воевавших в Европе в составе регулярных войск, возвратились в Россию в 1814 году<sup>[473]</sup>. Тогда же вернулся домой и Американец. Из толстовской переписки видно, что обратный путь его проходил через Варшаву, довольно скучный город. С августа по октябрь он гостил у родни в Калужской губернии, где к тому же лечился<sup>[474]</sup>.

До Первопрестольной победитель галлов добрался, видимо, уже поздней осенью, «когда ещё Москва пиновала своё освобождение»<sup>[475]</sup>.

Как же быстро летело его время! Казалось, ещё позавчера Американец бедокурил в корпусе, не далее как вчера парил на воздушном шаре, строил куры сладострастным дикаркам и ползал по кваркенским торосам, — а ведь добрая половина жизни уже миновала, полдуши (изрѣк бы Гораций) отлетело.

«Была жизнь... Жилось... Много видел твой отец на своём веку», — скажет он через уйму лет дочери и запьёт эту фразу изрядным глотком пунша<sup>[476]</sup>.

Попав в родимую обитель, наш герой отвёл душу по-настоящему, со вкусом: стал, как позднее изысканно выразился, «графствовать и графинствовать»<sup>[477]</sup>. Русский инвалид Фёдор Иванович Толстой, никого не стесняясь, брал по праву триумфатора своё. Ведь он заслужил и здравицы,

и застольные песни, и пожизненное право не только шалить напрапалую, но и козырять в официальных бумагах: «Некогда служил не без чести Царю и отечеству, проливал за них кровь свою»<sup>[478]</sup>.

К нескончаемым московским пирам подросли и награды за пролитую кровь.

Накануне дня его рождения, 5 февраля 1815 года, был подписан высочайший указ, по которому полковник граф Фёдор Толстой стал-таки кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени — стал с обобщающей формулировкой: «За отличия в сражениях с французами»<sup>[479]</sup>.

Надо думать, что примерно в ту же пору граф получил и серебряную медаль на Андреевской ленте, учреждённую в память Отечественной войны. На её лицевой стороне было помещено изображение Всевидящего ока и надпись: «1812 год», а на оборотной выбиты слова из Псалтири (Пс. 113, 9): «Не нам, не нам, но имени Твоему». Такие медали очень высоко ценились в офицерской среде. Они, как писал А. И. Михайловский-Данилевский в «Журнале 1813 года», «составили <...> какую-то дружескую, братскую связь между русскими военными»<sup>[480]</sup>.

Награды явились поводом для дальнейших, совсем уж забубённых пиршеств. В ходе одной такой вечеринки захмелевший граф Фёдор причинил непоправимый ущерб мундиру капитулировавшего и захрапевшего генерал-майора А. А. Ефимовича<sup>[481]</sup>.

Денис Давыдов, добросовестный участник brutальных оргий «пробочников», посвятил в 1815 году Американцу благообразные стихи, озаглавленные (в рукописи): «К другу, на мои именины». Послание партизана начиналось такими эвфемизмами:

Болтун красноречивый,  
Повеса дорогой!  
Оставим свет шумливый  
С беспутной суетой.  
Пусть радости игривы,  
Амуры шаловливы  
И важных Муз сигклит  
И троица Харит  
Украсят день счастливый!  
Друг милый, вечером  
Хоть на часок покинем  
Вельмож докучный дом

И к камельку подвинем  
Диваны со столом.  
Плодами и вином  
Роскошно покровенным  
И гордо отягченным  
Страсбургским пирогом.  
К нам созван круг желанный  
Отличных сорванцов,  
И плюшем увенчанны.  
Владельцы острых слов,  
Мы Вакховых даров  
Потянем сок избранный!..<sup>[482]</sup>

По некоторым сведениям, поселился Американец по возвращении в Староконюшенном переулке (или в Старой Конюшенной, как иногда говорили)<sup>[483]</sup>. Обосновавшись там, граф Фёдор стал урывками, между попойками, картами и прочими наипервейшими занятиями, хлопотать об отставке. Эти заботы растянулись почти на полтора года — и принесли ему, владимирскому и георгиевскому кавалеру, очередные огорчения.

Прошение об отставке полковник Фёдор Толстой подал 23 декабря 1814 года:

«Его Сиятельству Господину Генералу от инфантерии Управляющему Военным министерством и кавалеру князю Алексею Ивановичу Горчакову. Состоящего по армии Полковника Графа Толстого Рапорт.

По случаю открывшейся в ноге раны не в состоянии будучи продолжить военной службы, я всепокорнейше прошу Ваше Сиятельство о приложенном при сём моём прошении на Высочайшее Его Императорского Величества имя, сделать Ваше представление.

1814 года 23-го декабря. Москва.

Полковник Граф Толстой»<sup>[484]</sup>.

На полях князь А. И. Горчаков пометил: «3 февр<аля>»<sup>[485]</sup>.

К своему рапорту умудрённый Американец присовокупил «Свидетельство» калужского медицинского чиновника Я. Щиrowsкого, пользовавшего графа после ранения. (По-видимому, граф съездил за этой бумагой в Калугу.) К документу была приложена красная сургучная печать. Вот его текст:

«Дано сие свидетельство Господину полковнику, находившемуся во

время военных действий при пехотном 7-м корпусе в 26-й дивизии Графу Толстому в том, что он во время бытности его в Калужской губернии 1813 с июня по август<sup>[486]</sup> и 1814 с августа по октябрь лечим мною от последствий после раны пулею в левую ногу, полученной в сражении при Бородине 26 августа 1812-го года. Припадки болезненные, подлежавшие моему лечению, состояли в повреждении сухой жилы, в отёке и в судорогах повреждённого члена. Хотя оные болезненные состояния и обессилены во многом, но повременно ознаменовывают своё действие. Я полагаю моим мнением, что для совершенного уничтожения их нужно употребление минеральных вод и спокойный образ жизни, в удостоверение чего и дал сие моё свидетельство ноября 15 дня 1814 года.

Доктор медицины и хирургии, Медицинского Министерства Просвещённого совета корреспондент, Надворный советник Яков Щировский. Калуга»<sup>[487]</sup>.

В день подачи прошения об отставке Американцу пришлось подписать ещё один документ — «Реверс»:

«1814 года декабря 23-го дня, я, нижеподписавшийся, даю сей реверс, в том, что ежели по поданному мною на Всевысочайшее Его Императорского Величества имя прошению получу увольнение за имеющуюся у меня болезнью от воинской службы на собственное моё пропитание, то по отставке одного от казны нигде просить не буду.

Полковник Граф Толстой»<sup>[488]</sup>. Само прошение об отставке (кстати, кое-что уточняющее в биографии графа Фёдора) заняло три листа. Его «переписывал с сочинения самого просителя служитель гвардии капитана Бибикова Василий Толбин», а Американец 24 декабря 1814 года к переписанной бумаге «руку приложил»<sup>[489]</sup>.

Этот документ начинался так:

«Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Александр Павлович, Самодержец Всероссийский, Государь Всемиловейший,

Просит состоящий по армии полковник граф Фёдор Иванов сын Толстой...»

А завершалось прошение следующими абзацами:

«Ныне же, хотя я усердием моим желал бы продолжить воинскую Вашего Императорского Величества службу, но по слабости здоровья и <с> ежечасными болезненными припадками, как равно терпимой ломоты левой ноги от полученной раны, нахожусь не в состоянии. О чём поднося у сего Медицинское Свидетельство, осмеливаюсь всеподданнейше просить к

сему дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом поведено было сие моё прошение принять, и меня именованного по болезни от воинской службы на собственное пропитание уволить, всеподданнейше прося наградить следующим чином, а что по отставке не буду я просить казённого пропитания, в том обязуюсь реверсом.

Всемиловитейший Государь! Прошу Вашего Императорского Величества о сём моём прошении решение учинить, к поданию надлежит по команде»<sup>[490]</sup>.

У «Доклада» о графе Фёдоре Толстом длинное название — «О увольнении от службы за раню на собственное пропитание числящегося по армии полковника графа Толстого, с награждением следующего чина»<sup>[491]</sup>. Он был «представлен» в высшие инстанции 31 октября 1815 года. В начале документа есть даты: «3 генваря 815», «Марта 9 1816» и «12 марта»<sup>[492]</sup>. Маргиналии, по-видимому, фиксируют определённые стадии прохождения толстовского дела по коридорам власти. Хранящийся в РГВИА «Дублекат» (*sic!*) подписан «надворным советником Пантюхиным».

В составленном чиновниками «Докладе», который направили императору Александру Павловичу, между прочим указывалось:

«...Произведённый за отличие в сражении в полковники Граф Толстой, по причине открывшейся в ноге раны, полученной им в достопамятной Бородинской баталии, всеподданнейше просит об увольнении его от службы на собственное пропитание, со всемиловитейшим награждением следующим чином».

Далее в бумаге цитировался формулярный список офицера, а затем было подытожено, что полковник, который «к повышению аттестовался достойным», находился «всего в службе 25 лет 2 месяца, в офицерских чинах 17 <лет> 5 <месяцев>, в настоящем чине 3 <года> 2 <месяца>»<sup>[493]</sup>.

(Существует дополнение к «Докладу», скрепленное подписью всё того же надворного советника Пантюхина; оно помечено 29 января 1815 года. В дополнении даны разъяснения относительно производства графа Фёдора Толстого в полковники<sup>[494]</sup>.)

Особое внимание привлекает резолюция, наложенная на подлинный документ в два приёма. Некая важная (или самая важная?) персона написала карандашом категоричное: «Отставить тем же чином». А ниже, чернилами, было — уже снисходительнее — добавлено: «С мундиром. 9 марта 1816»<sup>[495]</sup>.

Кому-то наверху, видать, очень не хотелось напоследок производить

сорвиголову в генералы. Но будем справедливы: «на собственное пропитание» Американца отправляли — в отличие от «штрафной» отставки 1811 года — всё же «с мундиром», то есть с известным почётом.

Высочайшее повеление об увольнении «Господина Полковника и Кавалера Графа Фёдора Толстого, имеющего от роду 34 года», «за раню от службы с мундиром» воспоследовало 16 марта 1816 года.

Через одиннадцать дней, 27-го числа, из Инспекторского департамента Главного штаба ему выписали полагающийся «Пашпорт»: «По указу Его Величества Государя Императора Александра Павловича, Самодержца Всероссийского, и прочая, и прочая, и прочая...» Этот документ подписали дежурный генерал генерал-адъютант А. А. Закревский и начальник отделения военный советник Киселёв<sup>[496]</sup>.

Потом в канцелярии приложили к бумаге венчающую дело печать, — и тридцатичетырёхлетний, начинающий полнеть<sup>[497]</sup> полковник граф Фёдор Толстой распрощался с военной службой навеки.

Наверное, ему, давно привыкшему «смотреть на людей сквозь тусклое стекло опытности» и «видеть предметы без очарования, иногда даже и в чёрной краске»<sup>[498]</sup>, всё же было грустно и обидно. Его сизнова обошли, объегорили: «жирные» генеральские эполеты с бахромой увечный Фёдор Иванович Толстой, бесспорно, выслужил. Поэтому людей, затаившихся в неприступных кабинетах, граф мог костерить нещадно, — но само продолжающееся бытие собачить и не помышлял.

Оно, лихорадочное и дурманящее бытие, нашему герою отнюдь не опротивело. Так что о «минеральных водах» и спокойном, в стёганом халате, «райском» существовании Американец пока не мечтал.

Тогда же кто-то распустил слух, что граф Фёдор умер, — и слух докатился до самой Франции<sup>[499]</sup>. Значит, до последнего его вздоха, до дна чаши было ещё весьма далеко.

Удивительны сентенции иных мемуаристов. «Во времена устройства и общественной тишины, — уверял читателей П. Х. Граббе, — такие характеры исчезают или не ищут известности, для них невыгодной»<sup>[500]</sup>. Разве граф Павел Христофорович забыл, что был довольно близко знаком с Американцем; что тот никуда не «исчезал» с общественной авансцены и своей скандальной «известностью» вовсе не тяготился?

Зато М. Ф. Каменская не сомневалась, что в послевоенной Москве её дядюшка развернулся, что называется, во всю ивановскую: «Вторая его русская жизнь чуть ли не интереснее американской»<sup>[501]</sup>.

Как бы подтверждая эти слова, отставной полковник Фёдор Толстой, «замечательный по своему необыкновенному уму»<sup>[502]</sup>, предельно чётко сформулировал собственное кредо в одном из писем князю Петру Вяземскому: «Не облегчай совести своей от грехов любезных и весёлых, как тяжело без них жить. Заживо приобретённая святость есть преддверие разрушения»<sup>[503]</sup>.

Грехопадение графа продолжилось, и, следственно, в Староконюшенной по-прежнему равнялись на мифологического героя и не утихло жизнеутверждающее:

Подобно древле Ганимеду,  
Возьмёмся дружно за одно.  
И наливай сосед соседу:  
Сосед ведь любит пить вино!

В общем, не попав в отставные генералы, Американец покамест удовлетворялся тем, что вышел в практикующие философы.

## Глава 5. ЦЫГАНКА ДУНЯША

*Он хочет быть, как мы, цыганом...*

*А. С. Пушкин*

Незадолго до кончины, в одном из последних писем князю П. А. Вяземскому, наш герой в который уж раз помянул добрым словом шальную молодость, безвозвратно ушедшие дни. Они остались в памяти Фёдора Ивановича как «удалые, разгульные: когда пилось, буянилось и любилось, право, лутче теперешнего»<sup>[504]</sup>. И характерно, что слово, касающееся дочерей Евы, он вывел прописными, почти аршинными буквами. Очевидно, любовные переживания первой четверти века были особенно важны и дороги безнадежно больному графу.

Между тем в свои сердечные тайны граф Фёдор, человек «самой привлекательной, мужественной наружности»<sup>[505]</sup> и редкостный говорун, никогда и никого, даже ближайших друзей, не посвящал. Это наглухо закрытая от нескромных взоров и языков сфера его бытия, заповедная область толстовской души. «Я ни по Сенату, как ты говоришь, ни на женщин, как сам скажу, ходокom не бывал и смолода», — убеждал граф «любезного» князя П. А. Вяземского<sup>[506]</sup>.

Кое-что сокровенное довелось, правда, узнать дочери Толстого-Американца, П. Ф. Перфильевой. Не нам судить её, поместившую в автобиографической повести «Несколько глав из жизни графини Инны» душещипательные строки про «единственную привязанность» отца, «княгиню Дарью Андреевну», тётку заглавной героини. «Мы любили друг друга, и память этого чувства священна для нас» — так, по уверению Прасковьи Фёдоровны, признался графине Инне граф Камский-Толстой перед смертью<sup>[507]</sup>.

Речь в хронике, напечатанной в «Русском вестнике», шла о вполне реальной особе — о графине Прасковье Васильевне Толстой, урождённой Барыковой (1796–1879), супруге полковника графа Андрея Андреевича Толстого (1771–1844)<sup>[508]</sup>. Предполагаем, что она вышла замуж в середине 1810-х годов. Впоследствии о «любимом» графом Фёдором «семействе графини Прасковьи Васильевны Толстой» (а не графа Андрея Андреевича!) П. Ф. Перфильева многозначительно упомянула и в заметке, помещённой

ею в журнале «Русская старина»<sup>[509]</sup>.

Как поведала племянница Американца М. Ф. Каменская, графиня Прасковья Васильевна Толстая, «женщина очень умная, образованная», «смолоду была очень хороша собой; <...> у неё были чудные, чёрные, большие глаза, очень умное выразительное лицо и самая добрая ласковая улыбка». Позже она стала «прекрасной матерью и хорошей родственницей».

Знают графиню и пушкинисты: она принимала поэта в своём московском доме в Малом Власьевском переулке, на Арбате<sup>[510]</sup>. Наверняка частенько заходил сюда и граф Фёдор, долго живший поблизости. А из воспоминаний той же Марии Каменской выясняется, что Американец гасил и в доме А. А. и П. В. Толстых в Царском Селе<sup>[511]</sup>.

Известно, наконец, что пятидесятилетняя, уже овдовевшая графиня Прасковья Васильевна, узнав о смертельной болезни нашего героя, примчалась к Фёдору Толстому и присутствовала при его прощальных минутах<sup>[512]</sup>. В «Нескольких главах из жизни графини Инны» об этом рассказано так: «У отца был какой-то праздничный вид. Память страстной любви, скрытая радость, уверенность в обоюдности чувства и предсмертная минута последнего блаженства придавали какое-то особенное выражение всей его фигуре»<sup>[513]</sup>.

Вот, пожалуй, и вся история «утаённой любви» Американца. В ней нет ни секретных писем, ни тенистых гротов, ни сцен ревности, ни поединков между родственниками, ни рогов. «Шиш потомству», — как когда-то отрезал поэт (XII, 336).

Но в груди у графа Фёдора учащённо билось *большое сердце*. И поэтому рядом с элегической графиней Прасковьей Васильевной у одра умирающего пребывала ещё одна стареющая и горящая женщина.

Эта дама в течение трёх с лишком десятилетий была гласной и законной спутницей арбатского философа.

Граф впервые заметил её «в одном из разгульных обществ»<sup>[514]</sup> осенью 1814 года...

Древняя, возрождавшаяся после пожара столица тогда веселилась напропалую.

А какое же московское барское ухарство могло обойтись без цыган, без их шумливых толп и хоров, громких песен, пронзительных и дико-удалых («Слышишь, разумеешь...», «Эй вы, гусары...», «Ах, матушка, что так в

поле пыльно...» и прочих); без слепящих глаза нарядов, сверкающих шалей, жёлтых колец и браслетов, без гитар и бубнов, «хлопа и топа», воплей и бешеных выходов, вихревых плясок до ажитации, до упаду, перемежаемых шампанским и сочными, пьянящими поцелуями чернооких красавиц с распущенными волосами?

«Признаюсь, что мало слышал подобного! <...> Есть что-то такое в их пении, — утверждал собиратель фольклора П. В. Киреевский, — что иностранцу должно быть непонятно и потому не понравится; но, может быть, тем оно лучше»<sup>[515]</sup>.

За лобзаниями смуглых красоток в серьгах из монет и «странным смешением разладицы с согласием» (М. Н. Загоскин) разгорячённые компании мчались обычно в Марьину Рощу или в Нескучный сад, где обитали таборы «смиренной вольности детей» (IV, 203). Нередко кутящие холостяки оказывались и в Египетском павильоне Останкинского дворца (там концертировали представители загадочного племени, в частности, «Илюшка с хором», Илья Соколов, и знаменитая примадонна Стеша, от пения которой плакала сама А. Каталани), зазывали громозвучных, прочно вошедших в моду цыган в ближайший трактир или к себе домой.

Схожим образом, с богемными пикниками, фейерверками, лихими катаниями, «стоном неги» (II, 94) и «персей волнованьем», действовал и граф Фёдор Толстой — один из главных возмутителей спокойствия города и приятель «всех ветрениц известных», всех московских Аспазий.

Однако одна из встреч графа с бродячей «шумной ватагой цыган» завершилась совсем не трафаретно. И явно заблуждалась Мария Каменская, которая, описывая амурное приключение графа Фёдора, ехидно заметила, что её увлекающийся дядюшка «в Москве скоро влюбился в ножки молоденькой цыганочки-плясуньи»<sup>[516]</sup>.

Стройные ножки (коих, по уверениям знатока, было тогда едва ли не три пары на целую Россию), конечно, кое-что тоже значили, но не они решили участь нашего героя.

Он просто-напросто увидел «Дуняшу, тихую, скромную; увидел — и участь жизни его была решена!»<sup>[517]</sup>.

Подобная оказия в пошлых книжках обычно и называется пошло: любовью с первого взгляда.

Провидение свело его, «гр<афа> Толстого, известного в обществе под именем Американца», с Авдотьей (Евдокией) Максимовной Тугаевой, «цыганкой Дуняшей, вовсе не известной»<sup>[518]</sup>. «Она встретилась с отцом где-то на дороге, — сообщила П. Ф. Перфильева, — потом вскоре увидела

его на вечере у князя Г... Любовь их возгорелась, и судьба была решена!»<sup>[519]</sup>

Доныне благополучно здравствует версия (проникшая даже в сугубо научные штудии), согласно которой легконогий граф Фёдор Толстой, нимало не раздумывая, «умчал 15-летнюю красавицу цыганку с концерта прямо в церковь, под венец»<sup>[520]</sup>. В действительности же всё случилось иначе — но с натуральной «цыганщиной», то есть не менее романтично.

Певице из «счастливого племени» (III, 264) исполнилось к тому времени семнадцать лет (она появилась на свет Божий в 1797 году). Прасковья Перфильева, не слишком ладившая с родительницей, подчеркнула в её наружности «типичность нации». Дочь сумела набросать такой портрет Авдотьи Максимовны: «Мать моя была не русская. Правильный греческий нос, большие чёрные глаза навывкате, тонкие губы, с поднятыми кверху линиями на углах рта, делали её лицо самонадеянным и хитрым; походка у неё была лёгкая и скорая, с маленьким наклоном головы назад, что придавало ей самодовольный вид; при этой красоте как-то не хочется говорить о характере, который ей далеко не соответствовал»<sup>[521]</sup>.

Обратим внимание: критически настроенная к матери Прасковья Фёдоровна всё же воздала должное пригожести девы из табора.

Американца же встреченная цыганка — бедная и гордая, пылкая, упрямая, неприступная и оттого ещё более желанная — просто заворожила, заставила трепетать «лёгким листом», свела с ума.

И граф Фёдор ринулся на штурм. Он преследовал Дуняшу «почти целый год», по-царски одаривал и добивался её — и в конце концов по-настоящему «дикий» натиск Американца был «увенчан взаимной любовью». Осаждённая крепость пала: он склонил-таки красавицу с большой дороги к заключению «необыкновенного союза».

«Египетская дева»<sup>[522]</sup> ответила на его стихийные чувства, покинула табор и стала жить под одной крышей с видным из себя и потешным, широкогрудым и мускулистым, тёмноволосым и кудрявым (как настоящий цыган), к тому же испещрённым всяческими узорами магнатом, который был старше её на целых пятнадцать лет. «Мать отдалась ему и телом, и душою», — констатировала П. Ф. Перфильева<sup>[523]</sup>.

В толстовском доме появилась юная хозяйка — *подобие барыни*.

Необыкновенная подруга Американца, кажется, полюбила его престарелым, поневоле привыкшим к выходкам графа Фёдора родителям.

При знакомстве сметливая Дуняша, как пишет автор «Биографии Сарры», «умела снискать их нежность»<sup>[524]</sup>. Приняли цыганку, обожавшую «щеголять одеждою»<sup>[525]</sup> и распекать бестолковую прислугу, и бесчисленные московские и иногородние приятели Толстого. Они церемонно кланялись ей в ножки и величали возлюбленную графа Авдотьей Максимовной.

Заодно собутыльники в шутку причислили и нашего героя к «цыганам».

(Заметим, что схожие романы, мимолётные, а то и продолжительные, тогда иногда случались. Общественное мнение не восставало против них, не находило тут ни малейшей «нравственной загадки» и трактовало связь аристократа с цыганкой, находившейся на самой низкой ступени российской социальной иерархии, как причуду, простительную блажь преисполненного жизненных соков барина. Шашни такого рода — например кочёвка Александра Пушкина с табором в Буджакской степи, сожительство Павла Воиновича Нащокина и Ольги Солдатовой — воспринимались примерно так же, как летнее увлечение в своей деревне миловидной пейзажкой, как обыденная «крепостная любовь».)

В последующие за тем годы Авдотья Тугаева исправно рожала Американцу детей. К 1819 году у свивших гнездо любовников их образовался целый табор: «четыре дочери были плодом сей страсти»<sup>[526]</sup>.

Наш герой, к вящему удивлению окружающих и, быть может, собственному, оказался любвеобильным, трогательным отцом. Он, забывая про леность, «сию высокую добродетель души и тела»<sup>[527]</sup>, носился со всяким младенцем как с писаной торбой. Непомерную радость приносила графу Фёдору каждая дочка, однако старшую, Верочку, «существо неземное, во плоть облечённый дух», он всё же выделял, возвёл в фаворитки и любил её «до обожания».

Когда в 1818 году Верочка опасно заболела, Американец тотчас ощутил себя «на краю пропасти». «Я <...> видел беду вблизи и, не зная меру сил своих, — признавался он князю П. А. Вяземскому, — не знал, буду ли иметь довольно твёрдости перенести жестокость грозящего удара; с каждым шагом, вечностию поглощённым, я ожидал последнего часа боготворимой мною старшей моей дочери. Положение ужасное!»<sup>[528]</sup> Однако девочку удалось тогда выходить.

Попутно Американец, полу-цыган и полу-супруг, мечтал о мальчике, наследнике.

Короче говоря, к концу десятилетия «Толстой был счастлив, как только может быть <счастлив> человек на сей земле»<sup>[529]</sup>.

И смерть отца, графа Ивана Андреевича Толстого, случившаяся в провинции в 1818 году, видимо, лишь на короткое время омрачила чело нашего героя.

С вселением в дом графа Фёдора Толстого авантажной Дуняши вошли в обычай и «цыганские вечера» на Арbate.

Об одном из них Василий Львович Пушкин сообщал князю П. А. Вяземскому в Варшаву: «Мы часто бываем вместе и пьём шампанское как воду. В прошедший понедельник Американец Толстой давал нам ужин. Стешка с своими подругами отличалась и восхищала нас. <...> Мы у Толстого просидели до пяти часов утра...»<sup>[530]</sup>

Сам князь Пётр Андреевич (в письме А. И. Тургеневу от 16 января 1819 года) забавно описал иную арбатскую сходку меломанов: «Шаликов был намерен со мною на цыганском вечере у Американца и таял грузинскую похоть. На другой день прислал нам стихи: „Достопамятный вечер“. Начинается:

Я пил шампанское не рюмкой, а стаканом.  
Тут были гурии египетского рая.

Подари этим стихом Дениса, если он ещё у вас...»<sup>[531]</sup>

Показательно, что через несколько дней, 19-го числа, Американец вновь собрал у себя «весь Парнас, весь сумасшедший дом»<sup>[532]</sup>.

Отдавая должное «египетскому раю», Американец не забывал и прочие «адские» прелести («радости небесные», в категориях греховодника Дениса Давыдова) — и об этом будет рассказано подробнее в следующей главе.

А несравненная Дуня, по всей видимости, имела характер тяжёлый, своенравный, истинно цыганский, но ум не по годам зрелый, очень практический, *мещанский*, и не пыталась тогда мешать графу Фёдору *жить*. Публичное поведение нашего героя после встречи с цыганкой не претерпело никаких существенных изменений. Он не лишился свободы, вовсе не замкнул себя, как полагает современный автор, «в узком круге семейной жизни, в смиренном служении и подчинении»<sup>[533]</sup>. Да и «бесплотной», «пустынной» новую, *квазисемейную* жизнь Американца («в ней одиноко движутся две-три фигуры») можно назвать разве что по

недоразумению.

Просто иным — отныне и уже навсегда — стал *контекст* толстовского существования, и другие, ранее неведомые, *смыслы бытия* исподволь, сперва нечувствительно для окружающих, а потом всё заметнее, начали проявляться и возводиться графом в разряд значимых.

Граф Фёдор, поклоняясь божественному Эросу, остался завсегдатаем московских кружков и салонов и убеждённым патриотом Английского клуба.

Он поддерживал старые знакомства и обрстал новейшими, причём на дружбу с лицами «историческими» и дюжинными был «парнем прочным»<sup>[534]</sup>.

Американец, как и прежде, собирал отовсюду слухи и, отредактировав их, придав оным пикантность, передавал язвительные эстафеты дальше.

Гулял на бульваре и путешествовал по империи.

Кутил, картёжничал, колдовал над супами, кропал ремесленные стишки, читал серьёзные и скабрёзные книги.

И всё перечисленное и многое другое нашло отражение в дружеской переписке того времени.

О «пустыннике» со святым Спиридонием на груди<sup>[535]</sup> и бесом в ребре приятели писали во второй половине десятых годов систематически и на всякие лады. В Остафьевском архиве князя П. А. Вяземского сохранилась обширная коллекция таких упоминаний.

Например, Константин Батюшков сообщил П. А. Вяземскому летом 1816 года, что Американец бывает у него «ежедневно»<sup>[536]</sup>.

В. А. Жуковский, обращаясь к князю Петру 17 апреля 1818 года, поведал, что Фёдор Толстой выразил желание помочь сосланному в Оренбург за дезертирство из Астраханского кирасирского полка юнкеру А. И. Мещёвскому (Мещовскому), заурядному поэту и переводчику. Далее Василий Андреевич прибавил про графа следующее: «Он тебе кланяется и велит тебе сказать, что он *немногих так уважает, как тебя...*»<sup>[537]</sup>

Нечто схожее обнаруживается в письме В. Л. Пушкина от 16 марта 1819 года: «Он (Ф. И. Толстой. — М. Ф.), я и все почти держатся твоей философии»<sup>[538]</sup>. Менее чем через месяц Василий Львович коснулся в эпистоле иных материй: «Американец от твоих писем в восхищении. Он сам готовится писать к тебе, теперь занимается Геродотом, Гиббоном и иногда штоссом и квинтичем. Он накопил множество книг и с жадностью их читает»<sup>[539]</sup>.

Не забывал графа Фёдора и Денис Давыдов. Так, в письме П. А. Вяземскому от 28 июля 1818 года он удивлялся, что Американец оставил его в неведении насчёт московской ссоры П. А. Катенина с К. Н. Батюшковым: «А ты знаешь, что о таком приключении Толстой не промолчит»<sup>[540]</sup>.

Сам же П. А. Вяземский однажды запечатлел эффектный толстовский каламбур того времени. «Он шуткою говорил мне, — читаем в письме князя А. И. Тургеневу от 5 июля 1819 года, — что я так *tolérant*<sup>[541]</sup>, что он почти подозревает меня наделе быть *Talleyrand*<sup>[542]</sup>, то есть, разумеется, фальшивым и скрытным»<sup>[543]</sup>.

Так как Асмодей высоко ценил остроумие, то он конечно же не обиделся на *bon mot* графа Фёдора.

Из других писем, отложившихся в Остафьевском архиве, мы узнаём, в частности, о том, что Американец неоднократно покидал Первопрестольную.

С верным Денисом Давыдовым он, тридцатилетний, очень даже недурственно провёл время на ярмарке в Киеве ранней весной 1818 года. Об этом «увеселительном» набеге Михаил Фёдорович Орлов, арзамасец по прозвищу «Рейн» и по совместительству начальник штаба 4-го пехотного корпуса, оповестил князя П. А. Вяземского посредством следующих красноречивых строк: «Я долго ленился к тебе писать единственно оттого, что много о тебе говорил с дьяволом Денисом и бешеным псом Толстым. Они здесь — были на контрактах. Толстой уехал в Москву, к цыганкам в гости...»<sup>[544]</sup>

Вспомним: в далёком 1804 году правитель области Камчатской генерал-майор П. И. Кошелев, порицая нашего заблудшего героя, аттестовал его почти так же — «беспутным псом». Хотя с той поры, поры кругосветного путешествия, и минуло целых четырнадцать лет, отставной полковник граф Фёдор Толстой, оказывается, ещё вполне мог потряхнуть стариной и без всяких скидок на возраст удостоиться «петропавловской» (но теперь уже с одобрительным оттенком) характеристики.

Возвращался Американец из Малороссии в Белокаменную в прекрасном настроении и в клубах «спиртоватого зловония»<sup>[545]</sup>, жертвами коего становились ни в чём не повинные попутчики и станционные смотрители.

А дома, у «цыганок», ему готовилось нечто ужасное.

Как видно из вышеприведённых писем, некоторое время по приезде в Москву жизнь графа была безоблачной и размеренной, то есть насыщенной всякого рода удовольствиями.

Потом захворала Верочка, дышала на ладан, однако всё-таки поправилась. Её родители снова повеселели. В честь выздоровления дочери Американец даже объявил — и выдерживал — мораторий на зелено вино <sup>[546]</sup>.

А весной 1819 года наш взбодрившийся герой не выпускал из рук колоды карт. «Толстого Американца я очень давно не видел, — докладывал В. Л. Пушкин князю П. А. Вяземскому 8 мая 1819 года. — Он более, нежели когда-нибудь, пустился в игру; ему недосуг...» <sup>[547]</sup>

Катастрофа прилась на начало лета и золотую осень. Злодейка судьба расправилась с Американцем изощрённо, в два этапа — убийственным дублетом.

25 июня 1819 года летописец московского Парнаса В. Л. Пушкин писал князю П. А. Вяземскому: «Толстой Американец в большом горе; у него умерли три дочери, и самая большая его фаворитка Верочка. Я уже поеду навестить его. Прости, мой милой!»

Съездив же к раздавленному князю Фёдору, Василий Львович на другой день сделал такую приписку к посланию: «Я был вчера у Толстого. Его видеть нельзя без сожаленья; он плачет горькими слезами. К сестре его посылали курьера. Я думаю, что он уедет с нею в деревню» <sup>[548]</sup>.

Ни в какую деревню наш герой так и не отправился — он просто не успел сделать этого. Фёдора Толстого и Дуняшу настиг новый удар: от загадочного мора, проникшего в дом, вскоре скончалась их четвёртая дочь. Это произошло, вероятно, в середине сентября <sup>[549]</sup>.

«У Американца Толстого последняя дочь умерла, и он очень жалок», — только и вздохнул В. Л. Пушкин <sup>[550]</sup>.

«Зыбкое здание счастья», возводившееся отставным полковником графом Фёдором Ивановичем Толстым почти пять лет, рухнуло в одночасье. От него осталась лишь семейка маленьких холмиков на Ваганьковском кладбище.

Американец и его подруга разом осиротели.

Стоустая молва и тут не оставила графа Фёдора в покое. Сразу нашлись лица, которые доподлинно знали причину смерти по крайней мере одной из малюток. «Я застал его уже против обыкновения расстроенным, — вспоминал современник. — Перед тем он лишился малолетней дочери, и

рассказывали, будто от неосторожного удара в минуту запальчивости»<sup>[551]</sup>. (Читая такое, легко понять Американца, который зачастую жаловался на «жестокосердие» и «холодное равнодушие некоторых людей»<sup>[552]</sup>, на «глупые лица», превращающиеся в «злые хари»<sup>[553]</sup>, и утверждал, что «во всю жизнь страдал более за грехи ближнего, нежели за собственные свои»<sup>[554]</sup>.)

Спасало в жуткую пору занавешенных зеркал графа Фёдора не «средство рассеяния», не вино. Вино вдруг перестало быть всемогущим: оно, вестимо, лилось полноводной рекой, однако лишь оглушало, ненадолго отшибало память, действовало неважнецки, как эфемерный наркотик. Врачевала же — медленно, но толково — душевные раны нашего героя цыганка, она же мешанка, Авдотья Тугаева, «верный его друг», которая «усердно помогала ему нести тяжкое бремя жизни»<sup>[555]</sup>.

Кстати сказать, Авдотья Максимовна после смерти детей пристрастилась к чтению Священного Писания, развесила повсюду в доме иконы, затеплила лампы и стала, в отличие от Американца, усердной прихожанкой.

Но как бы ни поддерживала сникшего графа Дуняша, в доме, где всюду мерещились крошечные духи, «на мгновенье землю посетившие», он жить больше не мог и не желал.

Не мог Американец и отринуть мысль, однажды его пронзившую: то, что произошло, надобно воспринимать как ниспосланное ему наказание за прелюбодеяние, долгую и беззаботную «жизнь во грехе», за слишком плотское, эгоистичное отношение к полюбившейся цыганке.

Дальнейшие действия отставного полковника Фёдора Толстого были обусловлены именно этими обстоятельствами — и данными им в злополучную пору обетами.

Скорее всего, в конце сентября 1819 года к Американцу заехал в гости другой полковник и граф — Павел Христофорович Граббе, тогдашний командир Лубенского гусарского полка и без пяти минут член Союза благоденствия. За щедрым обедом разговор зашёл о житье-бытье хозяина, и склонный к морализаторству визитёр не стал церемониться с Фёдором Толстым. «Я <...> не скрыл от него, — сообщал П. Х. Граббе, — моего сожаления, что столько редких способностей, какими Небо его одарило, не нашло лучшего применения. Он сыграл со мною роль раскаяния, быть может, мгновенно и чувствовал его, даже слёзы, к моему удивлению, вырвались из его тусклых, непостижимого цвета глаз по мужественному

его лицу»<sup>[556]</sup>.

Свои «редкие способности» любой передовой дворянин послевоенной России обязан был направить, надо полагать, на общественное служение, на борьбу с пороками самовластия. Мы допускаем, что заезжий тридцатилетний вольнодум (вскоре отставленный «за явное несоблюдение порядка военной службы»<sup>[557]</sup>) испытывал графа Фёдора Толстого как раз на сей предмет — он вкрадчиво зондировал почву.

Если П. Х. Граббе и впрямь хотел увлечь Американца рискованными подблюдными речами, то он напрасно старался. Фёдор Иванович и сам был демагогом хоть куда, но не намеревался присоединиться к «толпе дворян» (VI, 524, 526), записываться в фармазоны. Полковник Толстой, в отличие от «ста прапорщиков», думал больше о своём, филистерском; своё же, домашнее, он и оплакивал; и в повестке его дня стоял не социальный, а совершенно иной переворот.

В первых числах октября 1819 года безутешный Американец, пытаясь отвлечься и развеяться, убежал из проклятого дома и от свежих могил в Петербург, где провёл около двух месяцев. «Здесь князь Фёдор Фёдорович Гагарин и граф Толстой-Американец, — писал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому. — Последний живёт у князя Шаховского, и потому мы, вероятно, редко будем видеться»<sup>[558]</sup>.

На «чердаке» князя А. А. Шаховского, приятеля нашего героя, граф Фёдор познакомился с молодым, обретающим популярность поэтом Александром Пушкиным и тут же повздорил с ним. (Об этой размолвке в ходе карточной игры, имевшей драматические, далекоидущие последствия, мы расскажем позже, в особой главе.)

Новый, 1820 год Американец встретил уже в Москве.

А вскоре стало ясно, что его Дуняша опять брюхата.

И тогда давно и твёрдо всё решивший граф Фёдор сделал первый из задуманных шагов.

Он приобрёл у поручика С. Ф. Кашкарова дом под № 121 на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка, во 2-м квартале Пречистенской части. Заодно полковник «прикупил» у кашкаровского соседа, некоего господина Коренева, и клочок арбатской земли<sup>[559]</sup>.

Тут же, торопясь успеть **к сроку** и не скупясь, граф стал приводить благоприобретённые хоромы в порядок: цыганка уже приучила его следить за «убранством комнат». «Американец Толстой купил дом и отделявает его прекраснейшим образом и богатою рукою, — доносил В. Л. Пушкин князю

П. А. Вяземскому 21 июня 1820 года. — Он был нездоров и очень похудел»<sup>[560]</sup>.

Когда отделочные работы в целом завершились, граф бережно перевёз грузную Дуняшу в новое жилище — одноэтажное, в семь окон по фасаду, с мезонином. (Таких строений появилось немало в послепожарной Москве.) Здесь, в Калошином, среди привезённых Американцем из странствий диковин, она в скором времени и разрешилась от бремени.

На календаре значилось 20 августа 1820 года<sup>[561]</sup>.

Сызнова цыганка родила ему девочку, которую окрестили Саррой.

«Как ангел-утешитель, явилась Сарра на белый свет, — написано в „Биографии Сарры“. — Живыми восторгами приветствовали новорожденную малютку»<sup>[562]</sup>. (В хронике «Несколько глав из жизни графини Инны» П. Ф. Перфильева заменила это слишком узнаваемое имя на иное — её сестра стала Риммой. «Потом родилась снова дочь, которую называли Риммой, — пишет Прасковья Фёдоровна, — вследствие предсказания какого-то юродивого, которое совпало будто бы с виденным матерью сном. По предсказанию этому предполагалось, если родится дочь, назвать её Риммой, а сына Вавилом»<sup>[563]</sup>.)

Нам известно, что «Сарра родилась под тяжким бременем ужасных болезненных припадков», почти год жизнь младенца висела на волоске, однако родителям и лекарям всё-таки удалось выходить этот «милый цветок».

В каждодневных заботах о дочери Американец не забыл и о другом своём обете.

Как-то раз Дуняша Тугаева узнала, что её любовник учудил так учудил: он вознамерился жениться на ней, «затянуть узел любви на остаток жизни»<sup>[564]</sup>. Бабьих возражений Фёдор Иванович не потерпел бы, но прекословить его сиятельству она, поражённая, и не пыталась. «Бешеному псу уступи дорогу», — гласит народная мудрость. Да и каких-либо веских причин для отказа от руки, сердца и титула, предлагаемых любимым человеком, у цыганки, фактически порвавшей с табором, не было.

И душой, и разумом, всем существом своим Дуняша, безумно ревновавшая Американца все эти годы, возликовала и горячо одобрила феерическое решение графа.

Храм священномученика Власия был под боком, в Старой Конюшенной. Там, согласно справке, выданной позднее из Московской духовной консистории, 10 января 1821 года граф Фёдор Толстой и

«венчался с московской мешанкой Евдокией Тугаевой»<sup>[565]</sup>. «Церковь освятила горячую, неизменную любовь: Толстой, презрев предрассудок света, отдал справедливость душе пламенной, высокой — он женился», — сказано в «Биографии Сарры»<sup>[566]</sup>.

По воспоминаниям П. Ф. Перфильевой, граф Фёдор заказал себе к знаменательному дню «особого фасону венчальное кольцо»<sup>[567]</sup>.

О «предрассудке света» автор «Биографии» упомянул вовсе не случайно. Очередная выходка неугомонного Американца шокировала родовитых москвичей. Если сожителство с цыганкой обществом допускалось, то женитьба на певичке выглядела уже нонсенсом, поступком во всех отношениях неприличным, оскорбительным для благородного сословия. И сословие, фыркнув, мигом дало понять графу Фёдору Толстому, в какое положение он поставил себя.

Лев Николаевич Толстой, общавшийся с Авдотьей Максимовной и её дочерью Прасковьей (зачастую казавшейся писателю «дурищей», «чучелом»<sup>[568]</sup>), рассказывал с их слов, что, «обвенчавшись, Ф<ёдор> И<ванович> поехал вместе со своей молодой женой с визитами во все знакомые ему дома. В некоторых чванных семьях, где раньше, несмотря на его порочную жизнь, его холостого охотно принимали, теперь, когда он приехал с женой-цыганкой, его не приняли. Тогда он, как человек самолюбивый и с чувством собственного достоинства, никогда больше к этим знакомым не ездил»<sup>[569]</sup>.

Думается, что данному сообщению автора «Войны и мира» можно доверять.

Даже друзья графа, привыкшие к его непредсказуемым «шалостям», разводили в январе 1821 года руками. Своё недоумение они порою пытались облечь в ироническую форму. «Американец Толстой женился на Авдотье Максимовне, — информировал В. Л. Пушкин П. А. Вяземского 19 января, — на прошедшей неделе была их свадьба, но я ещё с молодыми не видался. Московские кумы распустият эту весточку от Кяхты до Афинов, от Лужников до Рима, но как бы то ни было, а дело сделано»<sup>[570]</sup>.

Сам князь Пётр Андреевич обыграл сенсационную тему «Американец и Гименей» в послании «Василий Львович, милый! Здравствуй!...». Там были следующие стихи:

Пусть цедится рукою Вакха  
В бокал твой лучший виноград,

И будешь пить с Толстым без страха,  
Что за плечами Гиппократ...

К выделенному имени друга П. А. Вяземский соорудил сноску, где не обошлось без привычной для князя ухмылки: «Который, между прочим, женился на цыганке»<sup>[571]</sup>. (О том, что Авдотья Максимовна была не только «женой Американца» и графиней, но и парвеню, «цыганкой», Асмодей не забывал и четверть века спустя, приводя в порядок свой богатейший архив и снабжая перебираемые документы комментариями<sup>[572]</sup>.)

«Москва старинная болтушка» — максима из письма Американца<sup>[573]</sup>. После женитьбы графа Фёдора Толстого, в двадцатые годы, по городским салонам распространилась легенда, которая объясняла его экстравагантные матримониальные действия романтическими, прежде всего «человеколюбивыми», соображениями. К возникновению и этой небывальщины, возможно, был слегка причастен наш герой. В более позднем изложении Марии Каменской, племянницы графа, данная сентиментальная легенда, напоминающая «рассказы для народа» и отчасти очень даже *правдоподобная*, выглядит так.

Роман Американца с хорошенькой певуньей по прошествии времени наверняка зашёл бы в тупик, дядюшка ни за какие коврижки не обвенчался бы с Дуняшей Тугаевой, «если бы эта любящая его женщина своим благородным поступком не привела его в совесть.

Раз он проиграл в клубе большую сумму денег, не мог заплатить их и должен был быть выставлен на чёрную доску<sup>[574]</sup>. Графская гордость его не могла пережить этого позора, и он собрался всадить себе пулю в лоб. Цыганочка, видя его в возбуждённом состоянии, начала выпрашивать:

— Что с тобою, граф? Скажи мне! Я, быть может, могу помочь тебе.

— Что ты ко мне лезешь? Чем ты можешь помочь мне? Ну, проигрался! Выставят на чёрную доску, а я этого не переживу!.. Ну, что ты тут можешь сделать? Убирайся!

Но Пашенька<sup>[575]</sup> не отставала от него, узнала, сколько ему нужно денег, и на другое утро привезла и отдала их ему...

— Откуда ты достала эти деньги? — спросил удивлённый граф.

— Откуда? От тебя! Разве ты мало мне дарил?! Я всё прятала... а теперь возьми их, они твои...

После этого Фёдор Иванович расчувствовался и женился на

Пашеньке»<sup>[576]</sup>.

И вакхическая любовь цыганки, и неистовая, «адская» игра любовника, и его проигрыши, и щедрые презенты — всё это, разумеется, было. Возможно, Авдотья Тугаева иногда даже выручала оказавшегося на мели Американца и ссужала схороненными ею деньжонками. Вот только о самой малости, об ответном чувстве Фёдора Толстого, сочинители правдоподобной повести — таковых в старинной Москве величали «вестовщиками» — благоразумно умолчали.

Их можно понять: ведь одно упоминание о любви графа уничтожило бы легенду.

Ф. В. Булгарин писал в «Воспоминаниях»: «Следуя во всём своему оригинальному взгляду на свет и на дела человеческие, граф Ф<ёдор> И<ванович> Т<олстой>, поселившись в Москве, женился на цыганской певице и был с нею счастлив»<sup>[577]</sup>.

Биограф Американца, С. Л. Толстой, фактически согласился с Фаддеем Венедиктовичем: «Авдотья Максимовна оказалась женщиной энергичной и преданной своему мужу. Очевидно, только такая жена могла с ним ужиться; едва ли женщина его же круга могла бы вынести его крутой и своевольный нрав»<sup>[578]</sup>.

Однако ни мемуарист, ни биограф так и не сумели узнать всей правды о чете норовистых Толстых.

Пресловутый сор, коего, как и нежной страсти, после 10 января 1821 года у семейства было в избытке, не выносился из толстовской избы в «подлунность»<sup>[579]</sup>.

## Глава 6. К ПОРТРЕТУ АМЕРИКАНЦА

*Им было по колено море; они не пресмыкались ни перед личностью, ни пред общественным мнением и признавались иногда в своих проступках с откровенностью, не лишённую цинизма. Но Бог знает — уважительнее ли разыгрывать роль и рядиться в небывалую добродетель. По крайней мере, все знали, чего от них можно ожидать и чего опасаться.*

*Т. Новосильцева*

Осенью 1823 года Александр Пушкин нарисовал на полях листа с черновым текстом второй главы «Евгения Онегина» погрудный портрет графа Фёдора Ивановича Толстого. Изящный набросок был сделан им в Одессе по памяти: Американец запечатлён таким, каким его увидел поэт в Петербурге в октябре — ноябре 1819 года.

Граф Фёдор изображён на портрете в профиль, он чуть полноват, осанист, с мужественным подбородком и пышной, умело взъерошенной шевелюрой. Благородное лицо его сосредоточено, губы поджаты, уголки их опущены, а большие толстовские глаза даже при желании трудно назвать добрыми. Это облик человека сильного, жёсткого, полного внутренней энергии и готового постоять за себя. Т. Г. Цявловская, авторитетная исследовательница графики поэта, нарекла данный перьевой рисунок «уверенным, точно чеканным»<sup>[580]</sup>.

Не приходится сомневаться, что Пушкину скучными средствами удалось добиться внешнего сходства с оригиналом и уловить отдельные характеристические черты натуры нашего героя. Но к быстрому и талантливому рисунку всё же напрашивается некое вербальное приложение, которое обогатило бы получившееся изображение другими, отсутствующими у рисовальщика, штрихами и красками.

Подобное прибавление — скажем, в жанре *К портрету имярека*, популярном в литературе пушкинской эпохи, — мы и попытаемся создать на грядущих страницах.

Итак, Американец обзавёлся домом, супругой и дочерью. В 1821 году ему, «растущему аки редька, в землю»<sup>[581]</sup>, стукнуло уже тридцать девять лет. Пора и биографу перевести дух, отложить в сторону хронологические

таблицы и поведать явно заждавшемуся читателю (причём поведать не вскользь, как это делалось раньше, а обстоятельно, системно) о различных *ипостасях* графа Фёдора, принесших ему славу — штуковину сомнительную и обременительную, прижизненную и посмертную.

Кстати, об упомянутой славе. В январе 1826 года находившийся в Москве Е. А. Боратынский сообщил Н. В. Путяте: «На днях познакомился я с Толстым, Американцем. Очень занимательный человек. Смотрит добряком, и всякий, кто не слышал про него, ошибётся»<sup>[582]</sup>. Выходит, поэт больше доверился циркулировавшим нелестным слухам и анекдотам, нежели личным наблюдениям и интуиции, — и, следовательно, ничего не расчухал в собеседнике.

Извлечём отсюда полезный урок: ведь мнительность причиняет вред не только поэтам, но и биографам.

В главе, раздробленной на тематические этюды, время не всегда расчислено по календарю. Ради должной экспрессии и полноты той или иной картины мы порою будем вынуждены и забежать вперёд, в николаевское царствование, и поворачивать вспять, возвращаться в десятые годы позапрошлого столетия.

### **«Картёжный вор»**

Так, причём дважды, отозвался в стихах о Фёдоре Толстом возненавидевший графа Александр Пушкин.

А в «Горе от ума» (в действии четвёртом, явлении 4) персонаж, прототипом коего, очевидно, был Американец, назван Репетиловым несколько иначе. Он — «ночной разбойник» (читай: картёжник), который «крепко на руку нечист». Правда, ознакомившись со списком грибоедовской комедии, принадлежавшим князю Ф. П. Шаховскому, наш герой отредактировал последние стихи, написав вместо них: «В картишках на руку нечист». И тут же, в скобках, как бы произнося «Атанде-с», разъяснил суть ремарки: «Для верности портрета сия поправка необходима, чтоб не подумали, что ворует табакерки со стола; по крайней мере, думал отгадать намерение автора».

Лев Николаевич Толстой (коллекционировавший правдивые и — чаще — надуманные повести о родственнике) сообщил в частной беседе, что «Фёдор Иванович, встретив однажды Грибоедова, сказал ему:

— Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку нечист? Подумают,

что я взятки брал. Я взятков отродясь не брал.

— Но ты же играешь нечисто, — заметил Грибоедов.

— Только-то? — ответил Толстой. — Ну, ты так бы и написал»<sup>[583]</sup>.

По мнению авторитетного учёного Н. К. Пиксанова, этот знаменательный диалог мог случиться в мае 1824 года<sup>[584]</sup>. Таким образом, граф Фёдор Иванович вовсе не считал нужным скрывать, что является *chevalier d'industrie*, картёжным вором<sup>[585]</sup>.

Стесняться подобного ярлыка и таиться ему не было нужды: надувательство за зелёным сукном не противоречило тогдашним нормам этикета.

Кодекс чести дворянина (у Грибоедова в «Горе от ума» — «высокой честности») игнорировал азы мещанско-интеллигентских добродетелей (вроде «приличия» или «порядочности») и моральных допущений (типа «Не пойман — не вор»). По словам князя С. Г. Волконского, «шулерничать не было считаемо за порок, хотя в правилах чести были мы очень щекотливы»<sup>[586]</sup>.

Зато публичное обвинение в плутовстве выглядело поступком неэтичным, оскорбительным, затрагивающим честь пройдохи, — и вело (по настоянию пойманного за руку или всех участников конфликта) к размену выстрелами.

Не ставя на кон честь, жрец сложной и поэтичной ночной науки всё же мог подмочить собственную репутацию. Умелых плутов, «служителей четырёх королей» (Ф. Ф. Вигель) побаивались (по слухам, они были не только меркантильны, но и скоры на расправу), многие их сторонились и откровенно не жаловали, даже призывали проклятия на их головы. Однако подвергнуть бессовестных шулеров ostracism или поставить к барьеру *только за шельмовство* разобиженные партнёры не имели формальной возможности.

Допустимо, пожалуй, сказать, что картёжное воровство было канонизированным небезопасным искусством, мало кем освоенным *стилем* неистовой, «адской» игры, своеобразным показателем недюжинного (хотя и довольно спорного) профессионализма.

Карты, «большая карточная игра», стихия коммерческая или азартная, — это сублимированная романтическая страсть Американца к нескончаемой «схватке» (в самом широком смысле), его «шиболет», а также важная (увы, спорадическая) статья дохода и неперенная тема переписки со знакомыми<sup>[587]</sup>.

По словам М. Ф. Каменской, её дядюшка завёл «в Москве страшную картёжную игру»<sup>[588]</sup>.

А князь Павел Петрович Вяземский небезосновательно считал Толстого-Американца «душой и головой игрецкого общества»<sup>[589]</sup>.

Это подтверждается полицейским реестром заядлых столичных картёжников за 1829 год, где значилось 93 имени. Первое место в списке московские стражи общественной тишины отвели именно графу Фёдору Ивановичу Толстому. «Тонкий игрок и планист», — афористично определили они манеру игры Американца<sup>[590]</sup>.

Загибал углы он, «побеждая лень», и в ведро, и в ненастные дни. Играл и в чопорном Английском клубе, и у себя на Арбате (поговаривали, что там — натуральный игорный дом), и в других местах, респектабельных и попроще.

Поведение отставного полковника за ломберным столом в ходе *коммерческих* сражений со знанием дела описано Фаддеем Булгариным: «Граф Ф<ёдор> И<ванович> Т<олстой> всегда был в выигрыше. Он играл преимущественно в те игры, в которых характер игрока даёт преимущество над противником и побеждает самоё счастье. Любимые игры его были: квинтич, гальбе-цвельве и русская горка, то есть те игры, где надобно прикупать карты. Поиграв несколько времени с человеком, он разгадывал его характер и игру, по лицу узнавал, к каким мастям или картам он прикупает, а сам был тут для всех загадкою, владея физиономией по произволу. Этими стратагемами он разил своих совместников, выигрывал большие суммы...»<sup>[591]</sup>

Хоть и играл наш философический герой всегда и повсюду, но — и это крайне показательно — далеко не со всяким встречным.

Тот же Ф. В. Булгарин утверждал, что граф Фёдор Толстой «друзьям и приятелям не советовал играть с ним в карты, говоря откровенно, что в игре, как в сражении, он не знает ни друга, ни брата, и кто хочет перевести его деньги в свой карман, у того и он имеет право их выиграть»<sup>[592]</sup>.

Из мемуарного очерка Павла Вяземского мы, в частности, узнаём, что Американец принципиально не садился играть против «плохого игрока» князя Петра Андреевича Вяземского<sup>[593]</sup>.

Другая мемуаристка, г-жа Новосильцева (дама с «прекрасным талантом», как съязвила П. Ф. Перфильева<sup>[594]</sup>), сообщила, что как-то раз граф Фёдор Иванович наотрез отказался метать банк с князем С. Г. Волконским (впоследствии декабристом) и при сём сказал ему (по-

французски) буквально следующее: «Нет, мой милый, я вас слишком для этого люблю. Если б мы сели играть, я увлёкся бы привычкой исправлять ошибки фортуны»<sup>[595]</sup>.

Нетрудно догадаться, что «исправлять ошибки фортуны» значило плутовать, мошенничать во время партии. Синонимом этого эвфемизма было в описываемую пору выражение «играть намерняка». Наш герой, вооружённый мелком и щёткой, дополнял аналитическую и психологическую работу эффективными приёмами, которые имелись в его арсенале, — «нахальными уловками», по выражению Дениса Давыдова.

«Он обыграл бы вас в карты до нитки!» — в сердцах восклицал положительный Ф. П. Толстой, художник и двоюродный брат Американца<sup>[596]</sup>.

«Гр<аф> Толстой имел свои погрешности, о которых друзья его могли сожалеть», — куда более деликатно и туманно выразился князь П. А. Вяземский<sup>[597]</sup>.

Граф П. Х. Граббе не сомневался: «Граф Т<олсто>й был по превосходству карточный игрок намерняка, по их (картёжников. — М. Ф.) выражению»<sup>[598]</sup>.

А тайный советник Г. В. Грудев вспомнил о том, что на чьи-то слова «Ведь ты играешь намерняка» Американец ответил недвусмысленно: «Только одни дураки играют на счастье»<sup>[599]</sup>.

Заодно Г. В. Грудев утверждал, что у графа имелись так называемые *шавки*, в задачу коих входило подыскивать для нашего героя («бульдога», по определению мемуариста) потенциальных жертв с тугим кошельком. (Намёк на относительно нечистоплотных подручных Фёдора Толстого, преданно служивших ему «орудиями против других», есть и в воспоминаниях П. Х. Граббе<sup>[600]</sup>.) Подобные холуйствующие лица, мелкие сошки — и тогда, и позднее — в самом деле крутились около маститых игроков и кормились за их счёт. Но сообщённый Г. В. Грудевым к месту душераздирающий анекдот об издевательствах графа Фёдора и его присных над неведомым захмелевшим купцом всё-таки не внушает доверия<sup>[601]</sup>.

Надуманым представляется и рассказ Л. Н. Толстого, который запечатлел для потомков такую садистскую сцену: Американец методично и безжалостно обыгрывает бедного противника и заставляет его продолжать игру, угрожая разmozжить голову партнёру шандалом<sup>[602]</sup>.

В новеллах современников о картёжных лиходействах Американца

есть и другие сакраментальные преувеличения.

Зато анекдот о каком-то прижимистом князе, задолжавшем нашему герою по векселю «довольно значительную сумму», не вызывает протеста. Этот забавный текст (видимо, связанный с картами) внесён в «Старую записную книжку» П. А. Вяземского: «Срок платежа давно прошёл, и дано было несколько отсрочек, но денег князь ему не выплачивал. Наконец Толстой, выбившись из терпения, написал ему: „Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой весь сполна, то не пойду я искать правосудия в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства“»<sup>[603]</sup>.

Безымянный «шулер двадцатых годов» предостерегал своего несмышлёного собеседника: лицемерный Американец сперва всячески «обворочит» намеченного противника, «влезет к нему в душу», а потом «обыграет и убьёт!»<sup>[604]</sup>.

Схожее суждение о полковнике есть и в записках графа Ф. П. Толстого: «Множество дуэлей было у него из-за карт»<sup>[605]</sup>.

Однако из документов о таковых поединках Толстого-Американца (кроме вышеописанной «истории» с А. И. Нарышкиным) ничего не известно.

Из документов мы знаем совсем иное.

А именно: распечатывая и прокидывая колоды, мечая банк и понтируя, блефуя и жульничая, граф Фёдор Иванович сам не раз и не два крупно продувался.

Его письма князю П. А. Вяземскому свидетельствуют, что это произошло, например, осенью 1818 года и в конце 1820-х годов<sup>[606]</sup>.

«Пробеверленился» Американец и весной 1828 года, о чём не преминул поплакаться 19 апреля князю В. Ф. Гагарину<sup>[607]</sup>.

Случались у нашего увлекающегося героя и другие ночные неудачи, игрецкие банкротства. (Вспомним, что и женился-то он, согласно легенде, после ужасного проигрыша.) Вопреки мнениям критиков, московский «картёжный вор» далеко не всегда брал верх над иррациональным Случаем.

Тузы и дамы порою были к нему явно недоброжелательны.

Ларчик открывается просто: существовали тогда «разбойники» поизощрённее и понаглее Американца. Эта публика — В. С. Огонь-Догановский и прочие — подчас «исправляла ошибки фортуны» ещё лучше, чем игравший с ними граф Фёдор.

Запечатав одно из своих писем двадцатых годов, Американец, неисправимый остряк, надписал сверху: «Его сиятельству милостивому государю князю Василью Фёдоровичу князю <sic> Гагарину в собственные ручки»<sup>[608]</sup>.

Само же послание приятелю наш герой начал с такой настоятельной рекомендации:

«Милостивый государь князь Василей Фёдорович! Приемля истинно сердечное участие в завтраке, вашем сиятельством предложенном, непременною обязанностью поставляю предложить вам: выверять до совершенной точности часы, по оным ровно за полчаса опустить устрицы в самую холодную воду, в коей бы столько было опущено соли, сколько морская вода по вкусу оной в себе заключает. Верьте, ваше сиятельство, что сие открытие истинно мне принадлежит...»

А в постскриптуме граф Фёдор счёл нужным поместить следующие строки: «Я сделал пробу устрицам и признаться должен, что вы совершенно правы насчёт их превосходной свежести, а я, спорив противу вас, виноват; но, о Боже! Естли б я всегда мог только так быть виноват!»<sup>[609]</sup>

Это толстовское письмо, посвящённое устрицам, — почти идеальный пролог для этюда.

Вышло так, что Американцу не удалось стать знаменитым стихотворцем, однако он таки стал настоящим *поэтом* в иной области — гастрономической, где занял, как выразился князь Павел Вяземский, «авторитетное положение»<sup>[610]</sup> и снискал себе непреходящую славу.

Тут репутация отставного полковника вне всяких подозрений. «Не знаю, есть ли подобный гастроном в Европе, каким был граф Ф<ёдор> И<ванович> Т<олстой>, — восхищался Ф. В. Булгарин. — Он не предлагал большого числа блюд своим гостям, но каждое его блюдо было верх поваренного искусства»<sup>[611]</sup>.

Кулинарному искусству граф с упоением служил со времён гвардейской молодости<sup>[612]</sup> и до последних месяцев жизни.

Американец жил открыто и считался на редкость — даже по московским меркам — хлебосольным хозяином. Колдуя над меню, он никогда не скупился — и, мягко говоря, не жаловал тех, кто экономил на снеди. (А скряжничала, в частности, одна из толстовских тётушек, графиня Степанида Алексеевна Толстая, «богатая барыня», которую граф Фёдор

прозвал очень зло — «сливной лоханью». «За ужином садилась она обыкновенно особняком у дверей, чрез которые вносились и уносились кушанья, — потешался над дамой в записках князь П. А. Вяземский. — Этот обсервационный пост имел две цели: она наблюдала за слугами, чтобы они как-нибудь не присвоили себе часть кушаний; а к тому же должны были они сваливать ей на тарелку всё, что оставалось на блюдах после разноски по гостям, и всё это уплетала она, чтобы остатки не пропадали даром»<sup>[613]</sup>. В письме князю П. А. Вяземскому от 23 ноября 1818 года Американец мимоходом заметил, что «тётушка меньше изволит трескать»<sup>[614]</sup>.)

Немало имелось в древней столице ненасытных утроб, многие столы в городе ломились от лакомств, то и дело обновлялись здесь рекорды обжорства, а вот обилием тонких артистов — ценителей яств — Москва особенно похвастаться не могла.

Обеды же, которые закатывал Фёдор Иванович, были по части подаваемых блюд («статьи поваренной») столь изысканны, *эстетичны*, что даже оставили след в отечественной изящной словесности.

Так, В. Л. Пушкин (маявшийся от болезни) в послании графу Фёдору (1816) сокрушался об уплывших от него аппетитных стерлядях:

Что делать, милый мой Толстой?  
Обедать у тебя никак мне не возможно:  
Страдать подагрой мне велено судьбой,  
А с нею разъезжать совсем неосторожно!  
.....  
Я плачу, что лишён обеда твоего<sup>[615]</sup>.

П. А. Вяземский (по словам его сына Павла, Фёдор Толстой оказывал на князя Петра Андреевича «гастрономическое влияние»<sup>[616]</sup>) в стихах 1818 года констатировал, что приятель — «граф природный брюхом», непревзойдённый ценитель кулебяк и «жирной стерляди развара». Далее князь обращался к Американцу подобострастно:

...О знаменитый  
Обжор властитель, друг и бог!  
О, если, сочный и упитый,  
Достойным быть мой стих бы мог

Твоей щедроты плодovитой!  
Приправь и разогрей мой слог,  
Пусть будет он, тебе угодный,  
Душист, как с трюфлями пирог,  
И вкусен, как каплун дородный!

В заключение «кухонной» части стихотворного послания автор, тоже большой любитель «жирных и смачных трапез»<sup>[617]</sup>, молил оказать ему крайне важную услугу — найти стоящего повара (за которого князь готов был выложить тысячу рублей):

Просить себе того-другого  
С поклонами я не спешу:  
Мне нужен повар — от Толстого  
Я только повара прошу!<sup>[618]</sup>

Однако Американец ничем не смог помочь бедствующему П. А. Вяземскому. «Как ты, с твоим умным умом, хочешь иметь повара за тысячу рублей! — удивлялся граф Фёдор в ответном письме, которое датировано 23 ноября 1818 года. — Нет, Вяземской, за невозможное и не берусь. Мы не в том веке живём, чтобы за тысячу рублёв можно было нанять одну токмо честность, в поваре же, сверх сей потерянной добродетели, нужно: Гений, который ниже опытностию не обретается; просвещение, на которое потребны неусыпное старание, долгое время и проч., проч. Вот тебе в чёрствой прозе сухой отказ на прекрасную твою стихотворную просьбу»<sup>[619]</sup>.

Мастерство повара (а таковой у графа имелся), конечно, значило многое, оно являлось «статьёй первенствующей», но активное, творческое участие самого Американца, разработавшего вдобавок собственную идеологию *чревоугодия*, всё же играло в процессе создания кулинарных шедевров решающую роль. «Столовые припасы он всегда закупал сам, — вспоминал Ф. В. Булгарин. — Несколько раз он брал меня с собою, при этом говоря, что первый признак образованности — выбор припасов кухонных, и что хорошая пища облагораживает животную оболочку человека, из которой испаряется разум. Например, он покупал только ту рыбу в садке, которая сильно бьётся, то есть в которой более жизни.

Достоинство мяса он узнавал по его цвету и т. п.»<sup>[620]</sup>.

По московским рынкам граф Фёдор Иванович шествовал сиятельным гоголем: он был всеми почитаемым завсегдатаем.

Иногда весёлым приятелям удавалось потрафить гастрономическим увлечениям нашего героя. Так, А. И. Тургенев однажды отправил из Парижа в Россию ценный подарок для Американца. «Посылаю <...> графу Фёдору Толстому — карту обедов и завтраков за два и за полтора франка, то есть менее двух рублей с персоны», — писал Александр Иванович князю П. А. Вяземскому 29 октября (10 ноября) 1825 года. И добавил: «Suum cuique!»<sup>[621][622]</sup>

А Денис Васильевич Давыдов, очутившись в своём имении, и вовсе постарался превзойти художества друга. В одном из писем тридцатых годов он (видимо, с сатанинской усмешкой) дразнил московского гурмана и его желудок: «Я здесь как сыр в масле <...>. Другого завтрака нет, другого жаркова нет, как дупеля, облитые жиром и до того, что я их уж и мариную, и сушу, и чёрт знает, что с ними делаю! Потом свежие осетры и стерляди, потом ужасные величиной и жиром перепёлки, которых сам травлю ястребами до двадцати в один час на каждого ястреба»<sup>[623]</sup>.

Читая такие лирические строки, Американец мог и застонать от зависти.

Стартовав с устриц, ими же и завершим.

Отвечая князю П. А. Вяземскому, наш герой писал 7 июня 1830 года из сельца Глебова в Петербург: «Тебя устрицы забрали за живое, мой любезной. Ты выражаешься на их счёт с восторгом, живописно, — это меня радует. Я уверен, я постигаю, что ты их кушаешь не прозаиком, ты, верно, и тут наслаждаешься умственно, — ты роскошествуешь. Это всё похоже на счастье, это нас молодит. У нас же нет устриц ни в самой Москве, — в окрестностях и не бывало»<sup>[624]</sup>.

В отсутствие свежих устриц граф Фёдор Иванович, деревенский «неуч русак»<sup>[625]</sup>, явно хандрил и чувствовал приближение старости.

### ***Пиршества и «пьяноление»***

Раблезианские обеды в доме Американца сопровождались, как мы уже знаем, нешуточными возлияниями. Этому аспекту жизни нашего героя, с гордостью именовавшего себя «старым пьяницей»<sup>[626]</sup>, тоже должно уделить

сугубое внимание.

Скажем с порога: собрания у графа Фёдора опрометчиво относить к заурядным попойкам. Тут не привечались и не задерживались люди, главной и единственной целью которых было побыстрее и поосновательнее напиться.

Касательно сей материи весьма точно выразился участник толстовских кутежей, «душа весёлых бесед»<sup>[627]</sup>, князь П. А. Вяземский в стихотворении «Устав столовой (Подражание Панару)» (1817):

Мне жалок пьяница-хвастун,  
Который пьёт не для забавы:  
Какой он чести ждёт, шалун?  
Одно бесславье пить из славы.  
На ум и взоры ляжет тьма,  
Когда напьёшься без оглядки, —  
Вино пусть нам придаст ума,  
А не мутит его остатки.

«Отец мой был человек замечательного ума, имел дар слова, особенно после бутылки выпитого вина», — свидетельствовала П. Ф. Перфильева в хронике «Несколько глав из жизни графини Инны»<sup>[628]</sup>. В данной фразе Прасковья Фёдоровна ненароком зафиксировала именно ту — подчеркнём, довольно продолжительную — стадию пира, которая и отличала толстовские фирменные посиделки от обыкновенных трактирных сцен, офицерских или помещичьих вакханалий.

В «Уставе столовой» сей фазис гульбы в доме Американца представлен П. А. Вяземским в виде интеллектуальной демокритической игры, ведущейся присутствующими со смехом, однако по незыблемым правилам. А неусыпный контроль над соблюдением таковых правил («устава») осуществлял хозяин, граф Фёдор Иванович Толстой — распорядитель обеда и «верховный жрец» почтенного бога пиршеств:

Порядок есть душа всего!  
Бог пиршеств по уставу правит;  
Толстой, верховный жрец его,  
На путь нас истинный наставит:

Гостеприимство — без чинов.

Разнообразность — в разговорах,  
В рассказах — бережливость слов,  
Холоднокровье — в жарких спорах.  
Без умничанья — простота,  
Весёлость — дух свободы трезвой,  
Без едкой желчи — острота,  
Без шутовства — соль шуток резвой<sup>[629]</sup>.

Годом ранее князя П. А. Вяземского те же темы развивал в послании к Американцу В. Л. Пушкин, который заодно поведал, что в арбатском доме упражнялись в любомудрии и бесновались самые известные московские литераторы разных возрастов:

Почтенный Лафонтен, наш образец, учитель<sup>[630]</sup>,  
Любезный Вяземский, достойный Феба сын,  
И Пушкин, балагур, стихов моих хулитель<sup>[631]</sup> —  
Которому Вольтер лишь нравится один,  
И пола женского усердный почитатель,  
Приятный и в стихах и в прозе наш писатель,  
Князь Шаликов, с тобой все будут пировать:  
Как мне не горевать?  
Вы будете, друзья, и пить и забавляться,  
И спорить и смеяться...<sup>[632]</sup>

Как спорили и над чем хохотали гости и Американец («щастливые смертные»<sup>[633]</sup>), мы, увы, не знаем. Тут приходится сожалеть, что не оказалось среди именитых толстовских гостей И. П. Липранди: уж он бы описал эти карнавалы во всех мельчайших подробностях. Однако Иван Петрович, некогда поверивший слухам о кончине графа Фёдора, поневоле стал забывать старого боевого товарища. «В 1822 году, будучи довольно долго в Москве, — сокрушался впоследствии И. П. Липранди, — <я> не вздумал и спросить о нём от многих сослуживцев москвичей»<sup>[634]</sup>.

За глубокомысленными дискуссиями, шутками, рассказами, стихами и песнями действующие лица, исправно возглашавшие тосты и сдвигавшие полные стаканы («стакан, да неполной» наш герой фактически

приравнивал к оскорблению<sup>[635]</sup>), постепенно хмелели. Или напивались, по образному выражению П. А. Вяземского, «до сердца»<sup>[636]</sup>.

А между тем в залу доставлялись с кухни новые образчики кулинарного эпоса, звучали следующие замысловатые здравицы, дырявили потолок очередные пробки...

И на умы и взоры пирующих ложилась тьма, неумолимо сгущавшаяся.

Затем начинались молодецкие выходки и откровенные безобразия, порождения (снова цитируем Ф. И. Толстого) «патриархального духа Русского человека», который имеет, как и прочие «предметы нравственного и физического мира, свою красивую и дурную сторону»<sup>[637]</sup>. (Об этом древнем духе «Устав столовой», разумеется, умалчивает.)

Одни гости держались геройски, а другие, менее стойкие, в положенный им час роняли головы, пускали пузыри и выходили из игры. (Так, чувствительный В. А. Жуковский, по воспоминаниям графа Фёдора, почему-то отличался «поспешностью» и «к жареному бывал всегда готов»<sup>[638]</sup>.) По классификации князя П. А. Вяземского, человека с «похабно-заливным хохотом»<sup>[639]</sup>, сие означало — «напиться до муд»<sup>[640]</sup>. Сам же Американец, кажется, наиболее крепкий «пробочник», обычно прибегал к иному термину — «переложить»; в его словаре имелась также лексема «жестокий угар», от которого угоревший пребывал «еле жив»<sup>[641]</sup>.

Тела сопящих умников и балагуров наторелые слуги бережно развозили по домам или раскладывали по диванам тут же, в хоромах «в пол-упитого» (XIV, 37) Американца.

Нередко случалось и так, что утром, восстав ото сна и излечившись от хворости, гости сызнава пускались во все тяжкие.

Обязательный граф Фёдор Иванович периодически отдавал визиты: схожие ассамблеи устраивались и в обителях других «пробочников». Там, на «мужских обедах», посетители опять-таки могли в застолье «петь с Фигаро из оперы Россини: *Cito, cito, piano, piano* (то есть *сыто, сыто, пьяно, пьяно*)», и Американец, естественно, был первым «запевальщиком».

Князь П. А. Вяземский рассказывал об одном из выездов графа в свет: «В конце обеда подают какую-то закуску или прикуску. Толстой отказывается. Хозяин настаивает, чтобы он попробовал предлагаемое, и говорит: „Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо; тотчас отобьёт весь хмель“. — „Ах, Боже мой! — воскликнул тот, перекрестясь, — да за что же я два часа трудился? Нет, слуга покорный, хочу оставаться при своём“»<sup>[642]</sup>.

Другой обед и его последствия описал Александр Булгаков в послании брату Константину от 21 февраля 1825 года: «Вчера был я на обеде у кн<язя> Николая Гр<игорьевича> Щербатова, мужском. Много ели, ещё более пили, и ещё более кричали. Были тут 2 Вьелегорские, 2 Волковы (Сергей и Николай Аполлоновичи), 5 Давыдовых (Александр, Пётр и Василий Львовичи, Денис и Лев), Вяземский, комендант, Рахманов Гр<игорий> Ник<олаевич>, Американец Толстой, Скарятин, Бобринский и пр<очие>, человек до 30. Слышал я, что Вяземский очень занемог; видно, со вчерашнего обеда»<sup>[643]</sup>.

А посещение с князем Петром Андреевичем жилища отставного полковника С. Д. Киселёва в декабре 1828 года (или в январе 1829-го) произвело на Американца двойственное впечатление. Он услышал «любопытным ухом» (разумеется, после знатного во всех отношениях обеда) «Полтаву» в первом исполнении самого автора, Александра Пушкина, и испытал от этого изрядное удовольствие. Но, возможно, граф Фёдор оценил бы поэму ещё выше, если бы во время чтения одного «нарезавшегося» офицера не стошнило прямо на него<sup>[644]</sup>.

Пирушки П. А. Вяземского с Ф. И. Толстым «возбудили неудовольствие в тургеневском и карамзинском кружке»<sup>[645]</sup>. Князь Пётр Андреевич был возмущён этим «вакхохульством» (определение нашего героя)<sup>[646]</sup>, не прислушался к увещаниям и ещё долго бражничал с другом. Эти попойки Американец не забывал. «Когда мы с тобой, вспомя старину или, лутче сказать, молодость, напьёмся? — вопрошал он князя Петра в письме от 7 июня 1830 года. — Да как напьёмся! <...> Когда... Когда... А между тем время летит и мы стареемся. Как ето грустно»<sup>[647]</sup>.

У арбатских и прочих пиршеств отставного полковника графа Фёдора Толстого имелся, однако, один существенный и неискоренимый изъян: они не могли идти непрерывно, день за днём. И Американцу — как в городе, так и в подмосковной — волей-неволей приходилось заполнять паузы между интеллектуальными обедами, протекавшими с «сердечным и живым удовольствием», будничным, без многоглаголения, употреблением всяческих напитков.

Наш герой придумал для подобного монотонного времяпрепровождения словечко «пьяноление»<sup>[648]</sup>.

Предаваясь ему, Фёдор Толстой сетовал, что это настоящая «нравственная мастюрбация, которая истинно убивает способности ума и сушит сердце»<sup>[649]</sup>. Но, пока позволяло здоровье, граф крепился и

опорожнял бутылки в одиночку едва ли не каждодневно (за вычетом особых, рассмотренных ниже случаев).

В переписке с друзьями Американец касался этой темы без всякого смущения и даже пускался в поэтические исповеди:

Благоговею духом я  
Пред важным мужем Кондильяком...  
Скажу: морочить не любя —  
Я более знаком с коньяком, —

отвечал он П. А. Вяземскому 23 ноября 1818 года, ознакомившись со стихотворным посланием князя («Американец и цыган...») <sup>[650]</sup>.

Прозаические фрагменты, посвящённые последовательному самоубийственному «пьянолению», вкраплены во многие письма нашего героя.

«Я живу в совершенной скуке, грусти и пьянстве. <...> Пьётся, но не пишется», — доверительно сообщалось князю В. Ф. Гагарину 12 февраля 1827 года <sup>[651]</sup>.

Поблагодарив 7 июня 1830 года П. А. Вяземского за помощь («Вот тебе, мой любезной Вяземской, за всю дружескую твою заботливость, самое сердечное, самое пьяное: спасибо»), граф тут же откровенно поведал: «Можешь спрашивать, жив ли я, — но никогда не спрашивай, пью ли я. Пью, — да ещё как! — воровски от жены <...>. Поутру надо поправиться, и у меня почти всегда выходит утро вечера естли не мудренее, то пьянее» <sup>[652]</sup>.

Есть и такие строки: «Я за здоровье твоё от сердца помолюсь, от души выпью», — обещал Американец князю Петру Андреевичу в другом письме <sup>[653]</sup>.

Или: «Без зелена вина не зелена для меня и природа майская», — вычитываем из адресованной П. А. Вяземскому эпистолы, которая сложена графом в сельце Глебова <sup>[654]</sup>.

Те же письма Фёдора Ивановича позволяют нам составить приблизительное представление о напитках, которые были у него всегда в чести.

В графскую карту следует внести пунш («превосходный из напитков» <sup>[655]</sup>), водку <sup>[656]</sup>, «матушку наливку» <sup>[657]</sup> и «бордовское красное

вино»<sup>[658]</sup>. Но особенно Американец почитал шампанское, за которое, даже находясь в «стеснённом положении», мог отдать последний лепт. «Насчёт же шампанского готов продать и свои не только канделябры, но даже и подсвечники, — каялся он перед князем В. Ф. Гагариным, находившимся во Франции, — буду сидеть впотьмах и — буду пить. Дай только знать, куда переслать деньги и сколько за 2-а ящика первейшего сорта»<sup>[659]</sup>. Увы, с шампанским — дивным сопровождением вожделенных устриц — Американца частенько «ссорили обстоятельства»<sup>[660]</sup>, то бишь совершенное безденежье.

Оплошает тот, кто вздумает трактовать толстовское хроническое «пьяноление» в медицинских категориях и потом поставит графу Фёдору прискорбный диагноз. Нет, погружаясь на протяжении десятилетий в хмельной омут, Толстой-Американец не спился с круга, не опустил и до гроба сохранил достоинство, благородный облик и светлую голову. *Болезненной* зависимостью от вина он, по всей видимости, не страдал, что неоднократно и убедительно доказывал своими продолжительными «безвинными» периодами.

Один из антрактов нашего волевого героя подробно описан в «Старой записной книжке» князя П. А. Вяземского:

«Он <...>, не знаю по каким причинам, наложил на себя эпитимию и месяцев шесть не брал в рот ничего хмельного. В самое то время совершались в Москве проводы приятеля, который отъезжал надолго. Проводы эти продолжались недели две. Что день, то прощальный обед или прощальный ужин. Все эти прощания оставались, разумеется, не сухими. Толстой на них присутствовал, но не нарушал обета, несмотря на все приманки и увещания приятелей, несмотря, вероятно, и на собственное желание. Наконец назначены окончательные проводы в гостинице, помнится, в селе Всесвятском. Дружно выпит прощальный кубок, уже дорожная повозка у крыльца. Отъезжающий приятель сел в кибитку и пустился в путь. Гости отправились обратно в город. Толстой сел в сани с Денисом Давыдовым, который (заметим мимоходом) не давал обета в трезвости. Ночь морозная и светлая. Глубокое молчание. Толстой вдруг кричит кучеру: „Стой!“ Сани остановились. Он обращается к попутчику и говорит: „Голубчик Денис,дохни на меня!“

Воля ваша, а в этом дохни много поэзии. Это целая элегия! Оно может служить содержанием и картине; был бы только живописец, который бы постиг всю истину и прелесть этой сцены и умел выразить типические личности Дениса Давыдова и Американца Толстого»<sup>[661]</sup>.

Эпизод, увековеченный князем Петром Андреевичем, не датирован. Зато сохранившиеся письма отставного полковника и иные достоверные источники сообщают биографу точные сроки отдельных толстовских «эпитимий».

«Совсем не пил» граф Фёдор поздней осенью 1818 года<sup>[662]</sup>.

Скорее всего, воздерживался он от пьянства и в марте-апреле 1819 года<sup>[663]</sup>.

О том, что Толстой «отвыкнул от вина», обмолвился в апреле 1821 года кем-то проинформированный Александр Пушкин (II, 169); от поэта об этом чуде узнали и читатели «Сына Отечества» (1821, № 35).

«Протрезвился» граф (причём «к нещастию») в 1830 году<sup>[664]</sup>.

«Погибал в несносной трезвости» в мае, «не графинствовал» в сентябре 1831 года<sup>[665]</sup>.

Раздружился с Бахусом Американец и весною 1832 года<sup>[666]</sup>.

Впрочем, его «важные перемены» начала тридцатых годов могли быть связаны и с развившейся тогда болезнью.

«Пьянолением» граф Фёдор Иванович тешился почти до шестидесяти лет. Страсть к вину он обоснованно считал «добродетелью»<sup>[667]</sup>. Если становилось у Толстого «хмельно на сердце»<sup>[668]</sup> — следом и мир вокруг внезапно расцветал, и люди добрели, и в душе октябрь сменялся маем, и сам он, моложавый татуированный Американец, здравствовал, дышал полной грудью, а глаза блитали.

Казалось, граф, «раскаявшийся грешник»<sup>[669]</sup>, был готов в ту упоительную минуту сызнава пересечь на корвете экватор, разгромить бонапартов шатёр или взлететь под небеса на воздушном шаре.

Подобно древле Ганимеду,  
Возьмёмся дружно за одно.  
И наливай сосед соседу:  
Сосед ведь любит пить вино!

А никуда не летавшая графиня Толстая возносила молитвы мученику Вонифатию и изо всех своих цыганских сил боролась с «пьянолением» Фёдора Ивановича, прятала от него вино и водку<sup>[670]</sup>.

Граф, знамо дело, распалялся, метал громы и молнии.

Но Авдотью Максимовну тоже надобно понять: она заботилась о

здоровье супруга и по-своему была, конечно, права.

### **«Человек ума необыкновенного»**

«Человеком ума необыкновенного» окрестил Американца князь П. А. Вяземский в заметке «Поправка (О графе Ф. И. Толстом)», помещённой в «Русском архиве»<sup>[671]</sup>. В стихотворном послании к графу Фёдору (1818) поэт также отдал должное его уму («холодному эгоисту») и «возвышенному духу».

И это — не очередные вариации на тему крыловской басни «Кукушка и петух», а взвешенная, объективная оценка соответствующих талантов нашего героя. С мнением князя Петра Андреевича были вполне согласны многие современники — и те, кто общался с Американцем постоянно, и те, кто мог похвастать разве что шапочным знакомством с ним.

Они, люди разных занятий, интеллектов и возрастов, что называется, пели тут в унисон и не утруждали себя поисками синонимов.

«Умён он был, как демон, <...> и с ним трудно было спорить», — утверждал Фаддей Булгарин<sup>[672]</sup>.

«Человеком с большим умом» запомнил графа актёр М. С. Щепкин<sup>[673]</sup>.

Денис Давыдов вёл речь о «необыкновенном уме» Американца<sup>[674]</sup>, а Ф. Ф. Вигель — о толстовской «умной речи»<sup>[675]</sup>.

«Умным» счёл графа Фёдора также П. А. Катенин<sup>[676]</sup>.

Про «весьма умную голову» двоюродного брата однажды обмолвился Ф. П. Толстой<sup>[677]</sup>.

О «замечательном уме» отца писала позднее и его младшая дочь Прасковья<sup>[678]</sup>.

Не благоволивший к Американцу граф П. Х. Граббе тоже не отрицал его «редких способностей»<sup>[679]</sup>.

И даже Пушкин, оскорблённый и необъективный Александр Пушкин, признал (в письме Н. И. Гречу от 21 сентября 1821 года), что Толстой «вовсе не глупец» (XIII, 32).

Завершая это краткое обозрение единодушных суждений, припомним, что и в «Горе от ума» эпизодический персонаж, «списанный» Александром Грибоедовым с Американца, — «умный человек»; более того, о нём сказаны (пусть и устами восторженными) знаменательные слова:

Но голова у нас, какой в России нету...

К сожалению, представления потомков о том, *какая* именно голова была на плечах у графа Фёдора, в чём собственно заключались сила и обаяние толстовского ума, очень расплывчаты. Если современники наслаждались высказанными им вслух мыслями, софизмами и парадоксами, то мы едва удостоены указанного удовольствия. Поток *того* сознания давно пересох, испарился. Вдохновенные импровизации, застольные и клубные речи и сентенции нашего героя никем, даже конспективно, не были записаны, а собственноручных *текстов* Фёдора Ивановича — несомненно, текстов весьма «умных», представляющих литературный интерес, — сохранилось крайне мало. «Разделиться между чернильницей и стаканом, между чернилами и пуншем»<sup>[680]</sup>, регулярно писать, править и перебеливать черновики он, хмельной философ, принципиально не желал — точнее, попросту ленился. «Мне только что в меру посвятить час в сутки на думу, — и то без пера», — уверял Американец князя П. А. Вяземского 7 июня 1830 года<sup>[681]</sup>.

Однако коли остроумие действительно является (хотя бы даже и с оговорками) *функцией* незаурядного, «совершенного» ума, то в нашем случае всё не так уж и безнадёжно. Ведь о неистощимом остроумии Американца, аттической соли его шуток и выходок можно (*grand merci* в первую очередь П. А. Вяземскому) рассказывать долго.

На предыдущих страницах книги подобные истории, помнится, мелькали, — а тут будет уместно вновь заглянуть в копилку. Вот ещё пара подходящих анекдотов о смеховой культуре графа Фёдора.

«Однажды в Английском клубе сидел пред ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением; но, видя, что во всё продолжение обеда барин пьёт одну чистую воду, Толстой вознегодовал и говорит: „Да это самозванец! Как смеет он носить на лице своём признаки им незаслуженные?“»<sup>[682]</sup>.

Второй анекдот — о нетерпимом отношении к человеческой глупости (которое, может быть, и предосудительно, но людям, причём, как правило, *умным*, присуще). «Какой-то родственник его, ума ограниченного и скучный, всё добивался, чтобы он познакомил его с Денисом Давыдовым. Толстой под разными предлогами всё откладывал представление. Наконец, однажды, чтобы разом отделаться от скуки, предлагает он ему подвести его к Давыдову. „Нет, — отвечает тот, — сегодня неловко: я лишнее выпил, у

меня немножко в голове“. — „Тем лучше, — говорит Толстой, — тут-то и представляться к Давыдову“. Берёт его за руку и подводит к Денису, говоря: „Представляю тебе моего племянника, у которого немного в голове“»<sup>[683]</sup>.

Иногда современники подразумевали под «умом» заодно и толстовскую просвещённость, широту «сферы понятий» и редкостную эрудицию.

Повторим, что сообщено касательно образованности Американца в формулярном списке далёкого 1811 года: «По-русски, по-французски <обучен> читать и писать. Часть математики, истории и географии знает»<sup>[684]</sup>. *Baste!*

Однако миновали годы, и «в зрелых летах дополнил он, — утверждал князь П. А. Вяземский, — образование своё и просветил свой ум прилежным и многогородным чтением»<sup>[685]</sup>.

Вторил князю Петру Андреевичу Ф. В. Булгарин, который, видимо, даже перестарался и приписал Толстому лишнее: «Он был прекрасно образован, говорил на нескольких языках, любил музыку, литературу, много читал...»<sup>[686]</sup>

О том, что граф «замечательно образован», вещал и некий «известный шулер двадцатых годов»<sup>[687]</sup>.

Американец же временами пытался отрицать наличие у себя таких благоприобретённых доблестей, настаивал, что он-де лицо «без образования»<sup>[688]</sup>, сирый «неуч»<sup>[689]</sup>, который не читает газет («ведомостей»), «человек, до 50-ти лет безграмотной»<sup>[690]</sup>.

Но подобные жеманные (или самоироничные, свойственные опять-таки умницам?) декларации граф регулярно опровергал — собственным словом и делом.

За несколько лет отставной полковник собрал довольно солидную универсальную библиотеку. (Там среди раритетов имелся, в частности, «Апостол» 1525 года, доставшийся Толстому от П. Я. Чаадаева<sup>[691]</sup>.)

Из переписки нашего героя и из прочих источников известно, что он следил за книжными и журнальными новинками, не брезговал и бесцензурной литературой. Толстой-Американец знал творчество отечественных сочинителей: Ломоносова, Хемницера, Радищева, Жуковского, Крылова, князя Шаховского, Батюшкова, двух Пушкиных (дядюшки и племянника), барона Дельвига и иных «писателей-

наблюдателей»<sup>[692]</sup>.

Важно заметить: граф не превратился в начётника, он тонко «чувствовал цену изящным произведениям ума человеческого»<sup>[693]</sup>. Кое-кого (допустим, Карамзина, Вяземского или Дениса Давыдова) Фёдор Иванович котировал очень высоко, проглатывал их прозу и стихи «с восторгом», а других (например, Булгарина или Загоскина) просто меланхолично перелистывал — «с полным негодованием оскорблённого разума и вкуса»<sup>[694]</sup>.

В тогдашних ожесточённых литературных драках Толстой никак не участвовал, однако похоже на то, что стильные «карамзинисты» были ему всё-таки ближе «архаистов».

Разбирался Американец и в европейской науке и словесности, штудировал (часто в подлинниках<sup>[695]</sup>) письма Анахарсиса, творения Геродота, Руссо («высокомерного Ивана Яковлевича»<sup>[696]</sup>), Гиббона, Вольтера, Кондильяка («важного мужа»<sup>[697]</sup>), *etc.* Граф Фёдор искренно сочувствовал «всем россиянам, которые могли только читать на одном отечественном языке книги»<sup>[698]</sup>.

Сверх того, он неустанно руководил «нравственным образованием» подрастающей дочери, и поэтому в доме Толстых плодились волюмы Вальтера Скотта, Байрона, Шиллера, Гёте, Новалиса, Уланда и прочих авторов<sup>[699]</sup>. Американец покупал эти книги не только для ребёнка — он и сам с усердием читал и перечитывал их.

Словом, уже в двадцатые годы граф Фёдор Толстой был «учёным малым» (VI, 7) и по части знаний едва ли уступал большинству именитых знакомцев.

### Прятели и друзья

Одни люди избегали общества Американца («Проклят я, думаю, многими давно»<sup>[700]</sup>); другие же, напротив, искали встречи с ним<sup>[701]</sup>.

Прятелей у Фёдора Ивановича Толстого было страсть сколько. Куда бы ни забрасывала его судьбина, куда бы ни носил чёрт — повсюду граф заводил всевозможные знакомства. Наш герой легко сходилась и поддерживал отношения с офицерами и врачами, картёжниками и бретёрами, помещиками разных губерний, чиновниками, книготорговцами, членами Английского клуба и прочими встречными и поперечными.

Особую касту товарищей графа Фёдора составили разнокалиберные литераторы.

Внимание модных писателей, несомненно, льстило ему, а приятное общение с ними — в застолье или в атмосфере спартанской — давало столь желанную пищу уму и сердцу. В окружении Американца заметно преобладали московские корифеи пера и чернильницы, однако довольно коротко знался он и с некоторыми петербуржцами — в частности с бароном А. А. Дельвигом. «В полной цене, с душевной признательностью и таковым же удовольствием принимаю воспоминание обо мне барона Дельвига, смею его уверить в искренней взаимности чувств, — писал граф Фёдор П. А. Вяземскому 7 июня 1830 года. — При прочих его достоинствах и наружная его холодность уже надёжная порука в прочности его приязни, — а за меня прошу тебя поручиться»<sup>[702]</sup>.

Помимо просто знакомцев и приятелей «от делать нечего» (VI, 37), перечислять имена коих слишком долго, наличествовали у Американца и приятели *близкие*, без каких бы то ни было скидок «добрые». В таковые биографу надлежит возвести А. И. Тургенева<sup>[703]</sup>, князя А. А. Шаховского (верного преображенца), библиофила и эпиграмматиста С. А. Соболевского, П. В. Нащокина, В. Л. Пушкина, С. Д. Киселёва, «многочтимого» В. А. Жуковского (который «добротой своей смягчает мизантропию наблюдательной опытности»<sup>[704]</sup>), П. Я. Чаадаева<sup>[705]</sup> и ещё двух-трёх сынов земли.

А вот совсем «любезных», закадычных *друзей* граф Фёдор имел лишь горстку, «малое число»<sup>[706]</sup>. И он особенно дорожил единичными наперсниками — Денисом Давыдовым, князем В. Ф. Гагариным («le prince à moustache»<sup>[707]</sup>), Петром Александровичем Нащокиным, отставным гвардейцем. (О последнем московская полиция отзывалась кратко: «Игрок и буян. Всеизвестный по делам, об нём производившимся»<sup>[708]</sup>.)

Настоящим Орестом являлся для Американца-Пилада князь П. А. Вяземский.

Нам трудно понять сына Петра Андреевича, князя Павла Петровича, который утверждал, будто эта «дружба <...> поддерживалась обедами и пирушками», а в переписке внимание Фёдора Толстого и Петра Вяземского было в основном сосредоточено «на попойках и ещё более на поварах»<sup>[709]</sup>. За лесом бутылок и горой деликатесов П. П. Вяземский, к сожалению, не разглядел самого главного: душевного и культурного родства аристократов. На многое в мире они, граф и князь, смотрели одними «духовными

глазами» (VI, 183), держались единой бытовой философии, чтили в окружающих примерно одно и то же и даже шутили зачастую схоже — изящно, зло, умно<sup>[710]</sup>.

Сблизившись с графом Фёдором во второй половине десятых годов, князь П. А. Вяземский вскоре посвятил ему послание «Американец и цыган...». (Отставной полковник Толстой, прочитав стихи, отвечал: «Послание истинно прекрасно, как всё, что родилось от пера твоего, т<о>е<сть>: куча ума, едрионные мысли, которые всегда служат отличительной чертой твоего таланта. Я крепко тебя благодарю...»<sup>[711]</sup>)

А 25 апреля 1821 года князь Пётр, обретаясь в Москве, известил А. И. Тургенева, что «более всех видит и ценит по многим отношениям (! — М. Ф.) Толстого, который человек любопытный и интересный»<sup>[712]</sup>.

Вяземский как никто другой понимал Американца, прислушивался к оригинальным толстовским суждениям, восхищался его образными речами, эпистолярной стилистикой и даже уговаривал друга заняться литературным ремеслом, смастерить на досуге роман<sup>[713]</sup>. Используя свои обширные петербургские связи, он оказал нашему герою и множество житейских услуг.

За «дружескую внимательность», «утончённую заботливость» и «точность» граф Фёдор Иванович платил Петру Вяземскому той же монетой, «истощал все средства», дабы «сделать угодное» князю. Без Вяземского, без его «известной всей публике улыбки»<sup>[714]</sup> наш герой откровенно тосковал. «Есть ли будешь в наших пределах московских и не дашь на себя взглянуть, каким бы то образом ни было, ты ли ко мне, я ли к тебе, то сердечно оскорбишь сердечно тебя любящего Толстова», — предупреждал он Асмодея 7 июня 1830 года<sup>[715]</sup>. «Да сохранит тебя святая Троица: Вакх, Аполлон и Венера, под покровом своим», — читаем в другом толстовском письме<sup>[716]</sup>.

Проще говоря, Американец души не чаял в «милом и любезном Вяземском».

Они переписывались почти тридцать лет. Когда подоспело время, графиня Авдотья Максимовна Толстая поведала князю Петру Андреевичу в письме от 3 февраля 1847 года: «Я одна знала, как Толстой любил князя Вяземского. Истинно любил, как друга. Часто он со мной говаривал: „Вот, Дунюшка, из моих друзей один остался мне другом — князь Пётр!“»<sup>[717]</sup>.

С «душевным почитанием» относился граф Фёдор Толстой и к Вере

Фёдоровне Вяземской, «благодетельной фее»<sup>[718]</sup>, жене князя Петра Андреевича и сестре В. Ф. Гагарина.

Американец «для друга готов был на всё, — свидетельствовал Ф. В. Булгарин, — охотно помогал приятелям»<sup>[719]</sup>. Раз он пришёл на выручку доктору А. Н. Клепалову, «российскому столбовому дворянину», «чудаку, достойному замечанья и уваженья»<sup>[720]</sup>. Ради спасения от банкротства братьев Гагариных Фёдор Толстой рискнул имением и вверг собственное семейство в бедственное положение<sup>[721]</sup>. («Дружбы моей не нужно ни будить, ни разогреть; ибо она относительно к тебе никогда не дремала, не простывала», — уверял впоследствии Американец князя Василия Фёдоровича Гагарина<sup>[722]</sup>.)

А для князя П. А. Вяземского он и вовсе мог разбиться — и порою разбивался — в лепёшку.

(И на эту тему подыскивается пригожий анекдот. Однажды, 27 марта 1820 года, находившийся в Варшаве князь Пётр Андреевич ударил челом А. И. Тургеневу: «Купи мне хорошего турецкого табаку и вышли из Петербурга; спроси у Толстого-Американца. Смотри, не забудь!»<sup>[723]</sup> Ехавший в Белокаменную Тургенев насчёт просьбы не запомнил, зато граф Фёдор Иванович начудил, оказал князю медвежью услугу. Спустя месяц, вернувшись из Москвы в Северную столицу, Александр Иванович оповестил страждущего Вяземского: «Американцу о табаке сказывал, но он, кажется, собирался писать о нём в Тульчин к Киселёву»<sup>[724]</sup>. Наш герой рассудил, что нигде ближе Малороссии нет табачного зелья, которое пришлось бы по вкусу его другу, его «красному солнышку»<sup>[725]</sup>.)

С кем-то граф Толстой водил хлеб-соль бессрочно, до «невозвратной потери», с кем-то жизнь незаметно, без взаимных обид и упрёков, развела его ранее.

Прервалось на дружеской ноте и уже не возобновилось, например, общение Американца с отбывшим в чужие земли Александром Грибоедовым, который в «Горе от ума» и обессмертил, и ославил графа Фёдора Ивановича:

Но голова у нас, какой в России нету,  
Не надо называть, узнаешь по портрету:  
Ночной разбойник, дуэлист,  
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,  
И крепко на руку нечист;

Да умный человек не может быть не плутом.  
Когда ж об честности высокой говорит,  
Каким-то демоном внушаем:  
Глаза в крови, лицо горит,  
Сам плачет, и мы все рыдаем.

Случалось и по-иному.

В мае 1839 года Американец похвально отозвался о помогшем ему графе Алексее Фёдоровиче Орлове, крупном сановнике, confidente императора; «Сей достойный царедворец сохранил всю теплоту прекрасной души своей, которая некогда, в молодом офицере, делала его столь любезным для его товарищей». Толстовская апология благодетельному генерал-адъютанту завершилась красноречивыми словами: «Пример прекрасный для царедворцев! Но все ли ему следуют?»<sup>[726]</sup> Представляется, что грустный вопрос адресовался по преимуществу тем персонам, которые в молодости дружили с нашим героем, «добрым малым», а потом, делая карьеру, добывая чины и ордена, сочли за благо отдалиться от частного и сомнительного человека.

Граф с юных лет усвоил, что «розы без шипов не растут»<sup>[727]</sup>, что измена пришла в мир задолго до него, — однако такие раны у Американца никак не затягивались.

Мы начали эту главу с первого поэта, — а заключаем её рассказом о ямщике, который имел собственное понятие о литературе.

«Он ехал на почтовых по одной из внутренних губерний, — вспоминал о приключении друг князь П. А. Вяземский. — Однажды послышалось ему, что ямщик, подстёгивая кнутом коней своих, приговаривает: „Ой вы, Вольтеры мои!“ Толстому показалось, что он обслушался; но ямщик ещё два проговорил те же слова. Наконец Толстой спросил его: „Да почём ты знаешь Вольтера?“ — „Я не знаю его“, — отвечал ямщик. „Как же мог ты затвердить это имя?“ — „Помилуйте, барин: мы часто ездим с большими господами, так вот кое-чего и по-наслушались от них“»<sup>[728]</sup>.

С комментариями к портрету Американца, который был создан Пушкиным, наконец-то покончено.

Последуем теперь за подвернувшимися Вольтерами — и на следующей странице попадём в двадцатые годы.

## Глава 7. В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

*Он продолжал жить большею частью в Москве, часть года — в деревне, бывал в Петербурге и других местностях России — по делам или у приятелей, побывал и за границей...*

*С. Л. Толстой*

В эпоху брожения умов, войн, революций и бунтов, завершения одного царствования и начала другого граф Фёдор Иванович Толстой хладнокровно, не размениваясь на политические пустяки, жил по месящеслову собственного сочинения.

В «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу...», который составил в 1827 году правитель дел Следственной комиссии А. Д. Боровков, Американец не попал.

Правда, на распрю России с Персией наш герой всё же отреагировал — очередным ядовитым афоризмом: «Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него» (VIII, 445).

В общем и целом он был в двадцатые годы таким, каким предстал перед публикой в предыдущей главе.

Американец постоянно кутил, и лишнее тому подтверждение — письмо чиновника по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Александра Яковлевича Булгакова, адресованное в Петербург брату, Константину Яковлевичу. Данная эпистола была написана 15 декабря 1821 года: «Вчера в полдень выехал Закревский. <...> Я не поехал провожать, боясь, чтобы эта экспедиция не продолжалась дня три, а поехали многие, иные до первой станции, а иные и до Клину»<sup>[729]</sup>. Далее А. Я. Булгаков уточнил, что среди тех, кто никак не мог расстаться с генерал-лейтенантом и его супругой Аграфеной Фёдоровной (урождённой графиней Толстой), были Денис Давыдов и «Американец Толстой»<sup>[730]</sup>. Неразлучные друзья сопровождали отъезжающую чету до последней возможности, до истощения сил.

Наш герой неустанно картёжничал, что по инерции отмечено в другом, уже возмущённом (и далёком от истины), письме А. Я. Булгакова брату, от

13 апреля 1827 года: «Недавно обыграли молодого Полторацкого, что женат на Киндяковой, на 700 т<ысяч> р<ублей>; тут потрудились Американец Толстой и Исленьев <...>. Как накажут путём одного из сих мерзавцев, то перестанут играть»<sup>[731]</sup>.

О вездесущем графе Фёдоре люди всечасно сочиняли новые небылицы. Так, князь П. А. Вяземский, оповещая А. И. Тургенева 17 марта 1825 года об одном из московских инцидентов, добавил следующее: «Вообрази, что здешние бабы обоего пола впутали в эту историю <...> Толстого, который <...> был в Могилёве»<sup>[732]</sup>.

Однако в двадцатые годы в жизни Американца всё-таки происходили и неординарные события. Подобные происшествия (иногда имевшие предысторию и последствия, и тогда становившиеся более или менее долговременными процессами) будили его, нарушали или даже корректировали размеренное толстовское бытие.

Одно из происшествий датируется весной 1829 года. (А само дело, вызвавшее апрельское событие, началось, вероятно, гораздо раньше.) Бумаги, с ним связанные, отложились в архиве Канцелярии московского генерал-губернатора. В конце XX столетия эти документы обнаружил и ввёл в научный оборот столичный архивист С. В. Шумихин.

Благодаря названному исследователю мы теперь знаем, что 29 апреля 1829 года начальник III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и шеф Корпуса жандармов А. Х. Бенкендорф (неделю назад произведённый в генералы от кавалерии, ставший «высокопревосходительством») отправил московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну такое отношение:

«Получив от проживающего в Москве отставного полковника графа Толстого письмо, коего содержание довольно дерзко, я счёл долгом представить оное в подлиннике на благоуважение Вашего Сиятельства, тем более, что и самое дело, о котором в письме оном идёт речь, по Высочайшему соизволению предоставлено рассмотрению Вашему.

С истинным и совершенным почтением имею честь быть В<ашего> С<иятельства> покорнейший слуга А. Бенкендорф»<sup>[733]</sup>.

Существо толстовского дела Александр Христофорович, по обыкновению, напрочь забыл<sup>[734]</sup>. Об этом свидетельствует его карандашная помета на полях приложенного к отношению послания Американца: «Что за дело, не помню, а пишит <sic> довольно дерзко»<sup>[735]</sup>. К

сожалению, и в обширном письме графа Фёдора игнорируется субстанция, собственно юридическая сторона коллизии. Однако содержание послания Ф. И. Толстого к А. Х. Бенкендорфу, которое помечено 5 апреля 1829 года, всё же крайне любопытно.

В послании «служивший прежде капитаном в Л<ейб>-Г<вардии> Преображенском полку, а ныне отставной полковник» Фёдор Иванович Толстой, «совершавший пятидесятый год жизни»<sup>[736]</sup>, напомнил (разумеется, «с истинным высокопочитанием») правительству о собственном существовании и воззвал к беспристрастности начальства («Препоручая себя и участь мою в справедливое покровительство вашего превосходительства...»).

Сверх того, граф Фёдор вздумал, пользуясь оказией, слегка поучить петербургских администраторов уму-разуму.

Свою апологию (полную грамматических ошибок) Американец начал так:

«Ваше превосходительство, милостивый государь!

Злодейский донос отставного подпоручика Ермолаева быть может напомнит вашему превосходительству существование человека, который некогда имел честь быть вам не без известен. Справедливость есть, конечно, отличительная черта свойств вашего превосходительства, — я в том убеждён. Но впечатление, зделанное бурной молодостью моей на воображение общества, могло и вас оставить в предубеждении на счёт и настоящей моей жизни. Правда, не редко бывал я увлечён пылкостью страстей моих, впадая в проступки, в благоустроенном гражданстве нетерпимые, — я понёс и тяжкие наказания. Но и тут, да позволится мне сказать с извинительной гордостью, что быв виновен, никогда низкое и чёрное дело не входило в разряд ошибок моих.

<...> Я буду просить ваше превосходительство и приму как знак отличной милости, ежели препоручить особе доверенной разведать об образе жизни моей и вам о том со всей правдой донести. Хотя в мои лета и с некоторым самолюбием, свойственным благородному человеку, подобные средства к оправданию несколько и оскорбительны, — но таков мой жребий!»

Из письма нашего героя проясняется, что в недалёком прошлом он попал «под уголовное следствие»: некий подпоручик Ермолаев обвинил графа — ни много ни мало — в «грабеже и отраве». Иск подпоручика был подкреплён распоряжением Пензенского уездного суда, которое чиновники состряпали, судя по всему, за взятку («вопреки всех постановлений и коренных законов Государства Российского»).

В послании к А. Х. Бенкендорфу Толстой-Американец с негодованием отверг все выдвинутые против него обвинения, назвав ермолаевский извет не только «злодейским», но и «нелепым». Он с удовлетворением воспринял известие о «монаршем соизволении переследовать дело».

Тут же граф Фёдор Иванович выразил надежду, что новое судебное разбирательство, которое доверено людям, «известным по правилам и образованности», однозначно докажет «решительную невозможность подобного произшествия», полностью «очистит» его и (что не менее важно) позволит «предать клеветника всей строгости законов».

«Самая же неуклонная строгость, на законах токмо основанная, — декларировал отставной полковник Толстой, — мне не страшна».

Безбоязненно рассуждал Американец в письме и на темы общие, государственные — об изъянах отечественного судопроизводства, «ужасных беззакониях присутственных наших мест». Видимо, эти-то философствования некомпетентного графа и были оценены А. Х. Бенкендорфом как «дерзкие». Приведём фрагмент, который, похоже, вызвал у Александра Христофоровича разлитие желчи:

«Оне (беззакония. — М. Ф.) не прекратятся, пока полная уверенность в безнаказанности будет поддерживать преступную надежду судей. Выговоры же Сената, распубликация в ведомостях для людей, знающих честь по одной только принятой форме оканчивать письма, есть преграда слабая, — налагаемая пени при торге за неправильное решение берутся с просителя в перёд, — и дневной разбой не может ровняться с действием присутственных наших мест»<sup>[737]</sup>.

Иными словами, граф Фёдор фактически заявил: правительство и лично генерал и сенатор А. Х. Бенкендорф (для коего «польза общественная есть, конечно, первой предмет попечений») могли бы искоренять сребролюбие служителей Фемиды куда более решительно и действенно, нежели они, наделённые огромной властью бюрократы, делали сие ранее.

Обличительные толстовские строки о творящихся в судах «беззакониях» («дерзновенную истину») начальник III Отделения подчеркнул и сопроводил карандашной заметкой — то ли недоуменной, то ли возмущённой: «Есть ли у нас что-нибудь похожее?»<sup>[738]</sup> Остаётся только гадать, кому именно была адресована реплика начальника тайной полиции.

Чем завершилось вновь назначенное расследование, проходившее под надзором князя Д. В. Голицына, мы не ведаем.

С. В. Шумихин, опубликовавший письмо Американца А. Х.

Бенкендорфу, попытался разузнать что-либо конкретное о тяжбе графа Фёдора с подпоручиком Ермолаевым, однако его разыскания (в Москве и Пензе) не увенчались успехом. Тогда архивист предположил, что «дело это последствий для Толстого не имело»<sup>[739]</sup>. Он отчасти прав: в судебном порядке граф Фёдор, кажется, наказан не был.

Однако от ермолаевского доноса наш герой в любом случае пострадал — и пострадал жестоко. Ведь жена Толстого, графиня Авдотья Максимовна, услышав о том, что сам император Николай Павлович повелел внести ясность в эту запутанную историю, до смерти перепугалась — и выкинула.

Так что весной 1829 года Толстые проводили на Ваганьковское кладбище своего четвёртого мальчика — а в общей сложности уже восьмого ребёнка.

Седьмого же младенца они погребли в зиму с 1827 на 1828 год. «Жена третий или уже три месяца не оставляет болезненное ложе своё, родив мне третьего мёртвого сына, — сообщал Американец князю В. Ф. Гагарину 12 февраля 1828 года, — следовательно, надежда жить в наследнике похоронена с последним новорожденным. Скорбь тебе неизвестная, но верь, любезной друг, что весьма чувствительная!»<sup>[740]</sup>

В то время графиня «имела частые свидания» с известным московским врачом П. А. Скюдери, который, однако, пришёл к заключению, что «опасности нет»<sup>[741]</sup>.

Точные даты ещё двух неудачных родов графини Авдотьи Толстой пока неизвестны. Зато удалось установить, когда появилась на свет чудом выжившая дочь Американца — Полинька (уже знакомая нам Прасковья Фёдоровна, по мужу Перфильева). Это случилось в конце лета 1826 года<sup>[742]</sup>.

По уверению Марии Каменской, граф Фёдор Иванович прозвал дочку «курчавым цыганёночком»<sup>[743]</sup>.

В автобиографической хронике «Несколько глав из жизни графини Инны» сказано, что девочка родилась «семимесячная и больная». А далее П. Ф. Перфильева сообщила читателям «Русского вестника» совершенно неожиданное:

«Моему рождению отец был не рад: он желал сына <...>. Досада его была так велика, что меня отдали к бабушке, с матерней стороны; у неё я прожила два или три года, не помню: впоследствии от меня это скрывали.

Мать, говорят, меня навещала, и некоторые друзья отца, пленясь моею детскою красотой, уговорили графа взять меня назад, без чего, может быть, долго ещё пришлось бы мне жить у бабушки»<sup>[744]</sup>.

О каких-то серьёзных неладах в семействе Толстых в двадцатые годы найдено и другое свидетельство — архиепископа Тверского Саввы (Тихомирова; 1819–1896). В середине века, будучи синодальным ризничим, тот познакомился с графиней Авдотьей Максимовной, тесно общался с ней, попутно разузнал кое-что про вдову и на стороне. А позднее, в мемуарах, владыка Савва помянул оригинальную цыганку и среди прочего поведал нам о её молодости:

«Графиня Толстая, Евдокия Максимовна, происходя из цыганского племени, в юности своей отличалась красотой и, по всей вероятности, искусством в пении. Этими качествами она так пленила молодого графа Толстого, Фёдора Ивановича, известного в обществе под именем Американца, что он на ней женился. Но так как недостатки её образования и воспитания были слишком для всех очевидны, то он отправил её года на три в деревню и здесь приставил к ней гувернанток; однако ж и после этой меры цыганская её натура сквозила во всех её словах и действиях. Особенно её пылкий характер обнаруживался в отношении к её прислуге»<sup>[745]</sup>.

Домашней прислугой графиня Авдотья Максимовна — что правда, то правда — всегда была чрезмерно недовольна, к дворне год от году относилась всё хуже и хуже, и о деспотизме «горячей и мелочно-злопамятной»<sup>[746]</sup> барыни нам, опираясь на *факты*, к сожалению, ещё придётся рассказывать. А вот её ссылка в деревню, не афишируемый «разъезд» супругов — история хоть и подлинная, но совершенно тёмная, без малейших документальных подробностей.

Тут биографу опять приходится рисковать и строить догадки.

Дуняша могла быть отправлена рассерженным благоверным в Кологривский уезд Костромской губернии, в имение матери Американца.

Там трудновоспитуемая цыганка томила, как нам представляется, в 1822–1824 годах. Сведений о её пребывании в Первопрестольной в означенное время, кажется, нет, зато известно, что граф Фёдор Иванович тогда навещался в Костромскую губернию. (Высланный в конце 1822 года из Петербурга П. А. Катенин жительствовавший как раз в указанных местах, в Шаёве. 23 января 1823 года он сообщил Н. И. Бахтину «о приезде в здешние края умного графа Толстого», с которым «провёл приятную неделю»<sup>[747]</sup>.) Малолетняя Сарра, по-видимому, была отлучена от

родительницы и оставалась в Москве, с отцом. (Автор «Биографии Сарры» туманно намекнул: «с минуты рождения» дочери граф Фёдор Толстой «по болезненному состоянию матери заменил её у Сарры всеми нежными попечениями, всею горячностью»<sup>[748]</sup>.)

Однако когда старшие Толстые бранились — они только жестоко, дико тешились.

«Характер его был крут, бешен до крайности, непостоянен и самолюбив; но всё это смягчалось самым горячим и мягким сердцем», — писала об Американце П. Ф. Перфильева<sup>[749]</sup>. И через страницу дочь добавляла: «Графиня <...> имела на него большое влияние»<sup>[750]</sup>.

В толстовской семье выработалась закономерность: за неистовыми, грозившими окончательным разрывом ссорами супругов, любящих друг друга *до ненависти*, рано или поздно следовало их столь же полное и исступлённое примирение.

Так произошло и в первой половине двадцатых годов.

Однажды граф Фёдор смиростивился и распорядился вернуть свою сударушку в Москву, на Арбат. Возможно, он даже сам отправился за Дуняшей в Кологривский уезд. И, воссоединясь, нимало не изменившиеся за время разлуки Толстые снова стали жить-поживать в относительном мире и согласии, исподволь готовясь к очередной баталии.

Сколько было в их жизни трогательных перемирий — столько и дней объявления новой войны.

Спасение от затяжных, изматывающих душу пикировок с женой Американец то и дело искал и находил в обществе растущей Сарры. «Одна Сарра как будто золотит моё несносное существование», — признавался наш герой князю В. Ф. Гагарину в феврале 1828 года<sup>[751]</sup>.

Внешность старшей дочери Американца описана в её биографическом очерке: «Наружность Сарры была приятная: роста была она малого; черты лица имела правильные; цвет волос самый тёмно-русый, почти чёрный; глаза тёмно-карие, прекрасные; чёрные брови, довольно красивые; нос маленький; губы и рот приятные»<sup>[752]</sup>.

В девочке — здоровой, живой и замечательно ловкой — очень рано обнаружились разнообразные таланты, и Американец всячески способствовал их развитию. С начального этапа обучения он стремился сделать из Сарры по-европейски образованную девицу. Например, граф Фёдор просил В. Ф. Гагарина, находившегося во Франции: «Узнай, любезной друг, что будут стоять различные азбуки для самого первого

детства, на хорошей бумаге, с гравюрами. Под азбукой разумею азбуку историческую, мифологическую и тому подобные. Хорошо, есть ли бы было в виде карт. Цена тебя не должна удерживать; предварительно уведомив меня, тотчас получишь деньги»<sup>[753]</sup>.

Уже в шесть лет Сарра, получившая «самое суровое телесное воспитание»<sup>[754]</sup>, изрядно говорила по-французски и по-немецки, занималась и английским языком, знала иностранную грамматику. Одну зиму маленькая графиня посвятила русскому языку. Она сызмальства увлеклась живописью и музыкой, играла на фортепиано, её тянуло к познанию наук — географии, истории, арифметики. Для Сарры подыскивали весьма достойных учителей.

В эти годы девочка, отличавшаяся набожностью, стихов «ещё не писала, но уже была поэт»<sup>[755]</sup>.

Мы не будем перелагать здесь её «Биографию»: в конце книги читатель найдёт подробнейшую повесть о бесконечной любви графа Фёдора к дочери и ответных чувствах графини Сарры Толстой<sup>[756]</sup>.

Видимо, ради ненаглядной Сарры, которая обожала «темноту дикого леса, природу свободную, дикую»<sup>[757]</sup>, Американец и обзавёлся подмосковной.

Он приобрёл поместье в Рузском уезде, поблизости от Новоиерусалимского Воскресенского монастыря, — сельцо Глебово с деревнями Горки и Высокое<sup>[758]</sup>. Площадь имения, стоявшего на тракте из Воскресенска в Иосифо-Волоцкий монастырь, составляла 903 десятины. «Предместником» графа Фёдора Ивановича Толстого, то есть прежним владельцем сельца и деревень, был генерал-майор князь Иван Александрович Лобанов-Ростовский (1789–1869), впоследствии сенатор<sup>[759]</sup>.

В писцовых книгах Глебово фигурирует со второй половины XVI века. К началу тридцатых годов XIX столетия за сельцом числилось 43 дворовых и 81 крестьянин; а в Горках и Высоком — 115 и 90 крестьян соответственно<sup>[760]</sup>. В «Экономическом камеральном описании 7-ми уездов Московской губернии» (1773) относительно этого владения сказано, в частности, следующее:

«Селцо Глебово и принадлежащая к нему деревня Высокое лежат при речке Малогощи по течению её на левой стороне, а деревня Горки на правой стороне. Та речка против одного сельца и деревень в самых мелких местах в жаркое летнее время глубиною бывает на четверть аршина, шириною на полторы сажени, в ней водится рыба гольцы, пескари и

плотва. <...> Вода в речке для употребления людям и скоту здорова.

<...> Грунт имеет она (земля. — М. Ф.) иловатой, к плодородию посредственна. Из посеянного на ней хлеба лучше родится рожь и овёс, а пшеница и другие семена посредственно. Сенные покосы по речке против других жительство травую посредственны.

Лесу строевого и дровяного довольно. Строевой еловый лес во отрубе в пять вершков, вышиною пять сажен. Дровяной берёзовый, осиновый и ольховый — в нём находятся <...> звери: волки, лисицы, зайцы и белки. Птицы: тетеревы, рябцы, куропатки, дикие голуби, горлицы, кокушки, снегири, зяблицы, овсянки, синицы, щеглы, чижи, дрозды, скворцы, соловьи, коршуны, ястребы. В полях жаворонки и перепёлки»<sup>[761]</sup>.

Ближайший к поместью храм — во имя Рождества Христова — находился в соседнем селе Филатове<sup>[762]</sup>.

В хронике «Несколько глав из жизни графини Инны» П. Ф. Перфильевой сельцо Глебово обозначено как «знаменитое Кудрино»<sup>[763]</sup>.

Сперва Американец посещал живописные берега Маглуши (Мологощи) от случая к случаю, наездами. Так, 6 сентября 1828 года он сообщал князю В. Ф. Гагарину: «Покамест же истинно в предмете экономии и по причине совершенной бедности скучаю в своей подмосковной, где не с кем ни слова молвить, ни бутылки раскупорить»<sup>[764]</sup>.

Ф. В. Булгарину запомнилось, что Толстой «летом проживал в своей подмосковной деревне»<sup>[765]</sup>.

Но уже через несколько лет сельцо Глебово стало постоянным местом жительства графа Фёдора и его «табора»<sup>[766]</sup>.

Сарра «страстно» полюбила эти места — по её словам, «тут лишь она вполне наслаждалась прелестями природы!»<sup>[767]</sup>.

В нескольких верстах от Глебова стояли деревеньки Хмолино и Железниково. В каждой из них было менее ста дворовых и крепостных. Они принадлежали малолетней Анне Сергеевне Волчковой и её братьям Николаю и Семёну<sup>[768]</sup>. Анета, талантливая рисовальщица, «цветок, в тени сельского уединения взлелеянный»<sup>[769]</sup>, вскоре стала «верным, единственным другом» графини Сарры Толстой<sup>[770]</sup>.

Состояние нашего героя было безнадежно расстроено. А ближе к концу двадцатых годов над Американцем нависла угроза полного разорения. Выручая «отставного Изюмского полка ротмистра» князя

Василия Гагарина и его брата Фёдора (известного игрока и повесу по прозвищу «Tête de mort», или «Адамова голова»), граф Фёдор Иванович сам очутился в ситуации, когда вполне мог «лишиться последнего верного куска»<sup>[771]</sup>.

Прямое отношение к этой истории имела жена П. А. Вяземского, княгиня Вера Фёдоровна, урождённая Гагарина, родная сестра Василия и Фёдора Гагариных. Вот что пишет касательно данного дела биограф Американца С. Л. Толстой: «У Фёдора Фёдоровича Гагарина ещё оставались какие-то остатки состояния — доля нераздельного имения, принадлежавшего ему, его брату и сестре; но, по-видимому, своим беспорядочным поведением он расстроил как свои денежные дела, так и дела брата и сестры. Толстой по дружбе с семьёй Гагариных заложил за него своё имение, а княгиня В. Ф. Вяземская поручилась за брата. <...> Вследствие этой сделки имущественно заинтересованный в делах Гагариных и по дружбе с ними, Толстой взял на себя поручение наблюдать за делами Василия Фёдоровича»<sup>[772]</sup>.

В 1827–1828 годах Василий Гагарин поправлял пошатнувшееся здоровье в Париже, где ему в итоге сделали какую-то «благополучную» операцию, а потом недолго жил в своих «тамбовских деревнях», в селе Богословском (Нащокино тож). По этим-то адресам Американец и слал князю письма — обильно приправленные шутками<sup>[773]</sup>, но довольно тревожные, а то и просто отчаянные.

Несмотря на все усилия и обращения в различные инстанции («усердное попечение и живое участие»<sup>[774]</sup>), графу Фёдору Ивановичу никак не удавалось погасить «нестерпимые долги» и выправить финансовое положение князя Василия. «Тебе известно, как у нас всё судопроизводство, одним словом, всё, основано на формах. И я трепещу за медленность, которая из сего последовать может. <...> Тяжко, но сказать тебе должен, любезной друг, — писал он князю 13 ноября 1827 года, — сколько здоровье твоё требует твоего отсутствия, столько хозяйственные твои дела требуют, напротив, твоего присутствия в России»<sup>[775]</sup>.

«Твоё возвращение в Россию, не взирая даже на болезнь твою, необходимо», — подчёркивал Американец в другом послании, от 18 февраля 1828 года<sup>[776]</sup>.

«Медленность, с каковой у нас всё делается, по чести убивственна», — горевал наш герой через четыре месяца, 6 июня<sup>[777]</sup>.

А в письме от 6 сентября того же года он прямо заявил, что дела

адресата «весьма плохи»<sup>[778]</sup>.

Когда же до графа Фёдора Ивановича дошли слухи, что неблагодарные Гагарины подозревают его в пассивности, он, уставший «затыкать глотки несносных заимодавцев»<sup>[779]</sup>, не выдержал и ответил другу достаточно резко: «Естьли дом выблядков<sup>[780]</sup> спит, Пospelов<sup>[781]</sup> бродит, к<нязь> Павел Павлыч (Гагарин. — М. Ф.), взявшийся управлять делами твоего брата к<нязя> Фёдора, бог знает что делает, или ничего не делает, — ты нуждаешься, страдаешь от нужды, в том я, по чести и совести, совсем не виноват»<sup>[782]</sup>.

В соседних строчках тех же писем Американец уведомлял князя о собственных делах. Их он порою считал «не так-то хорошими»<sup>[783]</sup>, «скверными»<sup>[784]</sup>, а порою однозначно «плохими»<sup>[785]</sup>. «По многим обстоятельствам я могу, как евреи, назвать сей год: цорным годом, он же на беду высокосной, следовательно, одним днём больше», — сокрушался граф 19 апреля 1828 года<sup>[786]</sup>.

«Я сам на точке разориться и, может быть, разорить твою великодушную сестру Веру — всё это, быть может, за доброе токмо желание наше спасти от беды к<нязя> Фёдора (во всём сказанном нет ни на грош иперболы)», — читаем в другом месте<sup>[787]</sup>.

А в ответ на предложение Василия Гагарина обзавестись модными парижскими канделябрами наш герой писал 6 сентября 1828 года из Глебова: «От канделябр я отказываюсь, по самой той же причине, которая приказывает мне жить против желания в деревне»<sup>[788]</sup>.

Шампанского же и французского вина (см. главу 6) экономивший на всём Американец отвергнуть не смог.

В 1829 году князь Василий Фёдорович Гагарин приказал долго жить. О судьбе заложенного владения Американца сведений нет. Но в письме С. Д. Киселёву, которое написано, вероятно, в тридцатые годы, граф Фёдор Иванович сообщил, что к его «тамбовскому имению» скоро может быть «приставлена опека»<sup>[789]</sup>. Это даёт нам некоторые основания думать, что выручить поместье из заклада Толстой так и не сумел.

Хотя дела графа Фёдора катились под гору, он и не думал падать духом. Надежды Американца на спасение главным образом были связаны с получением богатого наследства. И эти упования казались тогда ему весьма основательными.

Толстые состояли в родстве с Завадовскими, и с некоторых пор

Американец претендовал на часть огромной (в четыре тысячи душ) Августовской экономии, имения в Могилёвской губернии, некогда принадлежавшего екатерининскому фавориту графу Петру Васильевичу Завадовскому (1739–1812). С братом покойного вельможи, генерал-майором Яковом Васильевичем Завадовским, у нашего героя, похоже, намечалась любовная сделка. Неслучайно 28 октября 1823 года граф Фёдор Толстой писал С. Д. Киселёву, своему кредитору: «Каждую минуту я на той точке, чтобы получить значительную сумму, <...> ожидаю поверенного г<осподина> Завадовского со дня на день, и коль скоро он будет, то я неминуемо должен разбогатеть; и тогда с удовольствием и даже большой благодарностью <...> с вами разочтусь»<sup>[790]</sup>.

Однако генерал-майор Я. В. Завадовский вскоре умер, и Американцу пришлось судиться с его вдовой, Елизаветой Павловной. Старухой умело руководил сын, граф Иван Яковлевич, бывший преображенец, действительный статский советник и камергер, кавалер ряда орденов. У И. Я. Завадовского имелись обширные связи во всяческих департаментах, и он, стремясь избавиться от докучливого дальнего родственника, предпринял определённые казуистические шаги.

Дело усложнилось и необычайно затянулось.

Известно, что в двадцатые годы Американец посещал Могилёвскую губернию по меньшей мере дважды, в 1825 и 1828 годах<sup>[791]</sup>. Но на месте, в губернском синедрионе, ему не удалось ускорить разбирательство. Тяжба была перенесена в Петербург и завершилась лишь в следующем десятилетии.

Поездками в Костромскую и Могилёвскую губернии граф Фёдор тогда не ограничился.

Побывал наш герой и в губернии Тамбовской (где для него не нашлось доброго рома).

Кроме того, в январе 1828 года он наведлся в Северную столицу<sup>[792]</sup>.

А до визита в Петербург Американец, в 1826–1827 годах, наслаждался Европой и Парижем<sup>[793]</sup>. По дороге туда, проезжая немецкий курортный город Бад-Эмс, русский путешественник остановился в гостинице «Vier Thurmen»<sup>[794]</sup>.

Там же, в германских землях, Американец с удовольствием подшутил над чиновниками-буквоедами, о чём не преминул потом рассказать князю П. А. Вяземскому. Тот вспоминал о графе: «Где-то в Германии официально

спрашивают его: Ihr Character? — Lustig, — отвечает он, — т<о> е<сть> весёлый»<sup>[795]</sup><sup>[796]</sup>.

Вернувшись домой, в Москву, граф Фёдор вновь не упускал случая повеселиться. И когда в конце декабря 1828 года (или в первые дни января 1829-го) подгулявшие приятели запиской<sup>[797]</sup> кликнули Американца присоединиться к ним, Фёдор Иванович ответил цидулькой следующего содержания: «О пресвятая и животворящая троица, явлюсь к вам, но уже в пол упитой.

Т<олстой>. Не вином, а наливкой, кою приимите, яко предтечу Толстова» (XIV, 37).

Конец лета и осень 1829 года наш герой провёл уже в солнечной Италии, в частности во Флоренции<sup>[798]</sup>.

«Я вовсе поглупел»<sup>[799]</sup>. «Много я переменялся, состарелся, остыл»<sup>[800]</sup>. Так писал о себе Американец в конце двадцатых годов. Однако *стареть понемногу* графу Фёдору Ивановичу решительно не хотелось, и он, игнорируя возраст, бодрился, «беверленился», оставался — буквально во всём, «литера в литеру»<sup>[801]</sup>, — стародавним Американцем, путешествующим

Из рая в ад, из ада в рай!

Скоро нашему герою должно было стукнуть пятьдесят.

Толстой, верно, предчувствовал, что близится «холерный век»<sup>[802]</sup>, что вот-вот наступит печальное время, когда о «мятежных склонностях» ему придётся забыть.

И отставной полковник напоследок нещадно «шпорил» себя, торопился пожить всласть.

По утверждению Т. Новосильцевой, Пётр Нащокин как-то сказал об Американце некоей молодой особе: «Если б он вас полюбил и вам бы захотелось вставить в браслет звезду с неба, он бы её достал. Для него не было невозможного, и всё ему покорялось. Клянусь вам, что в его присутствии вы не испугались бы появления льва»<sup>[803]</sup>.

Укрощать хищников сидящему графу не довелось, но зато однажды он едва не вышел к барьеру.

Правда, никакая дама в эту историю замешана не была.

## Глава 8. ДУЭЛЬ БЕЗ ДУЭЛИ

*Толпа <...> в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе.*

А. С. Пушкин

В жизни Александра Пушкина есть ряд важных эпизодов, которые — в оптике традиционного «пушкиноцентризма» — до сих пор, полагаем, не получили сколько-нибудь удовлетворительного объяснения.

К таковым следует отнести и историю острейшего и долгого конфликта поэта с графом Фёдором Ивановичем Толстым. Интерпретация этой распри — интереснейшей страницы эпохи, яростного столкновения незаурядных характеров — по-прежнему выглядит как незатейливая, бедная сюжетом сказка со счастливым концом.

Сказка, где *правда* (воплощённая, естественно, в Пушкине), помыкавшись, победила-таки наглое, безудержное зло (сиречь нашего героя).

Вот краткое изложение *официальной*, испокон веку бытующей в пушкинистике версии конфликта.

Молодой, недавно вышедший из Лицея Пушкин познакомился с графом Фёдором Толстым где-то в октябре — ноябре 1819 года в Петербурге. На «чердаке» у приятеля Американца, драматурга князя А. А. Шаховского (на Малой Морской), они сели за карты, и поэт мигом понял, что противник «передёргивает». Пушкин высказался по этому поводу. «Да я сам это знаю, — ответил Фёдор Иванович, — но не люблю, чтобы мне это замечали»<sup>[804]</sup>.

Вскоре после этого инцидента Толстой уехал домой, в Первопрестольную, и оттуда, вознамерившись проучить самоуверенного партнёра, черкнул А. А. Шаховскому, что Пушкин-де однажды был высечен в секретной канцелярии Министерства внутренних дел<sup>[805]</sup>. А князь А. А. Шаховской повёл себя «нескромно» и поспособствовал распространению сплетни среди «светской черни»<sup>[806]</sup>.

До поэта оскорбительные слухи дошли в январе 1820 года, и он, «опозоренный в общественном мнении» и отчаявшийся, подумывавший о самоубийстве, даже дрался с кем-то на дуэли.

Весною 1820 года коллежского секретаря Александра Пушкина, слывшего за смутьяна и бунтовщика, власти отправили «перевоспитываться» на юг России, и уже находясь там, в Кишинёве, он доподлинно узнал (вероятно, от П. А. Катенина<sup>[807]</sup>), кто затеял запятнавшую его интригу.

Отныне страстной мечтой поэта было — и в полуденном краю, и позже, в сельце Михайловском, — «отплатить за тайные обиды», «совершенно очиститься» (XIII, 43), то есть вырваться в Москву и призвать Фёдора Толстого к барьеру. (Об этом имеется сообщение в кишинёвском дневнике прапорщика Ф. Н. Лугинина<sup>[808]</sup>. Да и Алексей Вульф позднее рассказывал, что его приятель Пушкин, «готовясь к <...> дуэли с известным американцем гр<афом> Толстым», практиковался в стрельбе. Упражняясь же, поэт приговаривал: «Этот меня не убьёт, а убьёт белокурый, так колдунья пророчила»<sup>[809]</sup>.)

Лепажевыми экзерсисами дело вовсе не ограничилось.

Пушкин в письме князю П. А. Вяземскому от 1 сентября 1822 года признался, что он «в бессилии своего бешенства закидал издали Толстого журнальной грязью» (XIII, 43) и эпиграммами.

Так, во второй половине 1820 года (предположительно в августе-декабре<sup>[810]</sup>) им были сочинены хулительные строки — «бешеная эпиграмма» (Н. О. Лернер):

В жизни мрачной и презренной  
Был он долго погружён,  
Долго все концы вселенной  
Осквернял развратом он.  
Но, исправясь по не многу,  
Он загладил свой позор,  
И теперь он — слава богу  
Только что картёжный вор (II, 142).

А в послании «Чедаеву», которое напечатали в «Сыне Отечества» (1821, № 35), читатели увидели стихи про

Глупца философа, который в прежни лета  
Развратом изумил четыре части света,  
Но просветив себя, загладил свой позор:  
Отвыкнул от вина и стал картёжный вор... (II, 612)<sup>[811]</sup>.

Спустя несколько лет Пушкин (в письме брату Льву, написанном в двадцатых числах апреля 1825 года) признался, что это — натуральная «пощёчина» (XIII, 163). Правда, готовя к печати свой первый поэтический сборник, «Стихотворения Александра Пушкина», он исключил из упомянутого послания стихи про графа Толстого-Американца. «Из послания к Чедаеву вымарал я стихи, которые тебе не понравились, — писал поэт П. А. Вяземскому в конце марта — начале апреля 1825 года, — [но] единственно для тебя, из уважения к тебе — а не потому, что они другим не по нутру» (XIII, 160).

Брату же Пушкин пояснил: «О посл<ании> к Ч<еда-еву> скажу тебе, что пощёчины повторять не нужно» (XIII, 163; выделено Пушкиным).

Была и другая пушкинская «брань»; были иные, не менее хлёсткие, «явные нападения» — черновые и беловые тексты и строки, язвившие Американца.

Есть они, например, в черновиках послания князю П. А. Вяземскому («Язвительный поэт, остряк замысловатый...»), которое писалось в апреле — мае 1821 года (II, 624, 626–627). «Одно двустиишие совершенно нецензурно. <...> Вероятно, и всё послание Вяземскому имело целью осмеяние Толстого, но по своему характеру оно к печати не предназначалось», — предположил видный пушкинист Б. В. Томашевский<sup>[812]</sup>.

В науке с недавних пор бытует довольно аргументированное мнение, будто графу Фёдору адресована также пушкинская эпиграмма 1822 года «Певец Давид был ростом мал...»:

Певец Давид был ростом мал  
Но повалил же Голиафа  
Кот<орый> б<егал> и крич<ал>  
И поклянись не гро<мче> Гр<афа><sup>[813]</sup>.

В беловом автографе «Кавказского пленника», отосланном Пушкиным

в конце апреля 1822 года в Петербург Н. И. Гнедичу, имелся эпитаф из послания П. А. Вяземского Американцу: «<Под бурей рока — твёрдый камень / В волненьях страсти — лёгкий лист>» (IV, 365; XIII, 70). Однако из печати (в августе того же года) поэма вышла уже без этих строк князя. «К стати об эпитафах — знаешь ли эпитаф К<авказского> Пле<нника>? <...> Понимаешь, почему не оставил его, — писал Пушкин князю Петру 14 октября 1823 года из Одессы. — Но за твои 4 стиха я бы отдал 3 четверти своей поэмы» (XIII, 70)<sup>[814]</sup>.

Фигурировали «толстовские» строки П. А. Вяземского и в качестве рукописного эпитафа к поэме «Цыганы» (IV, 453), которая в основном была написана в 1824 году. Однако и в данном случае они не удержались в тексте.

На рубеже 1824–1825 годов толстовская тема, видимо, нашла отражение в четвёртой главе «Евгения Онегина»<sup>[815]</sup>. Там, в черновике строфы XIX, были следующие строки:

...А только в скобках замечая  
Что нет презренной клеветы  
Картёжной сволочью рождённой  
Вниманьем черни ободрённой  
Что нет нелепицы такой  
Ни эпитагмы площадной —  
Которой бы ваш друг с улыбкой  
В кругу порядочных людей  
Без всякой злобы <и> затей  
Не повторял сто крат ошибкой... (VI, 352).

В окончательном варианте «картёжная сволочь» исчезла; зато появились абстрактный «враль» и «чердак» — намёк на петербургское жилище князя А. А. Шаховского:

Я только в скобках замечая,  
Что нет презренной клеветы,  
На чердаке вралём рождённой  
И светской чернью ободрённой...

(VI, 80–81; выделено Пушкиным).

Напомним заодно и о выразительном пушкинском портрете графа Фёдора Толстого в Первой масонской тетради (ПД 834), в черновиках второй главы романа в стихах. Этот портрет датируется концом октября — началом ноября 1823 года <sup>[816]</sup>.

А граф Фёдор Толстой, прознав про пушкинский демарш в «Сыне Отечества», тоже не терял времени даром — и выдал ответную эпиграмму, причём александрийскими стихами.

Потом наступил 1826 год.

В сентябре поэт был спешно доставлен из Псковской губернии в Москву и прощён только что короновавшимся императором Николаем Павловичем. Едва завершилась высочайшая аудиенция в Кремле, как Пушкин, даже не скинув запylённого «дорожного платья», начал действовать. Он поручил своему другу, С. А. Соболевскому, «на завтрашнее утро съездить к известному американцу графу Толстому с вызовом на поединок».

Сергей Александрович вернулся ни с чем.

Редактор-издатель «Русского архива» П. И. Бартенев поведал о дальнейшем: «К счастью, дело уладилось: графа Толстого не случилось в Москве, а впоследствии противников помирили» <sup>[817]</sup>.

Тут, как говорится, и сказке конец.

Выходит, Пушкин, в высшей степени щепетильный в вопросах чести, на сей раз изменил себе, забыл о выходке Американца, похерил мечты о мести и великодушно простил виновника своего неслыханного позора?

Выходит, так — малость запнувшись, отвечают пушкинисты и добавляют следующее или примерно следующее: «...Шесть (! — М. Ф.) лет столь большой срок для того, чтобы былые обиды отошли на второй план, что не представляется особенно удивительным факт их (Пушкина и Толстого. — М. Ф.) примирения посредством общих друзей в 1826 г<оду>» <sup>[818]</sup>.

А некоторые авторы, жирно подчёркивая всепобеждающую правоту Александра Пушкина, ещё и повторяют вслед за аристократом Владимиром Набоковым: «Не иначе как Толстой в сентябре 1826 года заработал прощение ценою каких-то невероятных усилий» <sup>[819]</sup>.

Берём на себя смелость утверждать, что между этими вполне «интеллигентскими» суждениями и подлинным содержанием раздора лежит, как говаривал небезызвестный москвич, «дистанция огромного размера».

И второе: описать данное противостояние в надлежащем

приближении, то есть без ходульных персонажей и немотивированных поступков, можно лишь при одном условии — отказе от пресловутого «пушкиноцентризма».

Смена «пушкиноцентрической» парадигмы на иную (обозначим её условно как «многополярную») даёт нам основания счесть, что непримиримые противники легко (и для стороннего наблюдателя чудно) примирились только потому, что у них *наличествовали все предпосылки для примирения*.

Точнее, не предпосылки, а одна-единственная, всё решившая предпосылка.

Дело в том, что дуэль Александра Пушкина и графа Фёдора Толстого фактически *уже состоялась*. Само собой разумеется, что речь идёт не о размене выстрелами у барьера, а о поединке принципиально иного качества.

Если угодно, *о дуэли без дуэли*.

Выше изложена расхожая версия, которая господствует уже более столетия. Позволим себе изложить вкратце и другую.

Вначале приведём упомянутую ответную эпigramму графа Фёдора Толстого на Пушкина. Она была создана, вероятно, осенью 1821 года<sup>[820]</sup> и сохранилась в виде списка в одном из альбомов 1820-х годов.

«Непостижимо, — удивлялся В. В. Набоков, — как мог Пушкин, мстительный Пушкин, с его обострённым чувством чести и атом-грорге<sup>[821]</sup>, простить такую грубость»<sup>[822]</sup>. Однако утверждать, что поэт знал толстовскую эпigramму, у нас нет оснований. Американец, видимо, попытался опубликовать её в «Сыне Отечества», но редакция (возглавляемая Н. И. Гречем) не осмелилась напечатать толстовскую отповедь<sup>[823]</sup>. Известно, что в апреле 1825 года Пушкин ещё не ведал содержания «пасквиля» и просил брата «непременно» взять творение графа Толстого у П. А. Вяземского, прислать в Михайловское (XIII, 163).

Вот какие стихи вышли в сентябре — октябре 1821 года из-под пера нашего героя:

Сатиры нравственной язвительное жало  
С пасквильной клеветой не сходствует ни мало, —  
В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл!  
Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил.  
Примером ты рази, а не стихом пороки

И вспомни, милый друг, что у тебя есть щёки<sup>[824]</sup>.

Толстовский текст публикуется крайне редко. (Не привёл эпиграмму, заметим, и В. В. Набоков в своём огромном трактате. Он ограничился указанием, что «Чушкин» — отсылка к «чуши» и «чушке»<sup>[825]</sup>.) Однако эти шесть строк Американца и служат, как представляется, ключом к адекватному пониманию сути интересующей нас ссоры.

Итак, поздней осенью 1819 года Пушкин, едва познакомившись с графом Фёдором Толстым, публично попенял тому за нечестную игру. Как сказано выше (см. главу 6), действия графа за зелёным сукном могли кому-то не нравиться, но они не противоречили тогдашним правилам. Так что именно Александр Пушкин дал повод для размолвки.

С его реплики (или реплик) всё и началось.

Тридцатисемилетнего Американца, именитого человека, владимирского и георгиевского кавалера, издавна привыкшего диктовать окружающим свою волю, естественно, возмутили сентенции вертлявого юнца. Толстой парировал пушкинское замечание завуалированной цитатой из «Записок» герцога де Сен-Симона<sup>[826]</sup>. Граф Фёдор Иванович ограничился назиданием и не помышлял о поединке: ведь не нюхавший пороха шалун приходился племянником любезному Василию Львовичу Пушкину и являлся другом ещё более близкого ему человека — князя П. А. Вяземского. Да и драться с задиристым шалопаем, годившимся в сыновья, Американцу было как-то неловко.

Однако задетый граф всё же положил прописать ижицу «ничтожному» наглецу. И по возвращении из Петербурга в Москву он, нимало не церемонясь, привёл в исполнение коварный план.

Распущенная им (в декабре 1819-го или в январе 1820 года) сплетня носила предельно неправдоподобный характер — и напоминала небылицы Американца о собственных приключениях на море и на суше. Причём граф Фёдор Толстой не вложил в сплетню о Пушкине никакого «конспирологического» подтекста: тут издевательски обыгрывался не «террор» правительства, а всего-навсего нежный, провоцирующий старших и сильнейших именно на *порку*, возраст шкоды.

Такой (а не «либералистский») акцент, по-видимому, ещё сильнее ранил гордого поэта. Позднее Пушкин всё-таки попытался придать этому делу политический оттенок. Например, в черновом письме императору Александру I, написанном по-французски (1825), он утверждал:

«Необдуманнные речи, сатирические стихи [обратили на меня внимание в обществе], распространились сплетни, будто я был отвезён в тайную канцелярию и высечен» (XIII, 227, 548).

Сомневаться не приходится: Американец, тщась изничтожить молодого человека, поступил подло.

Правда тогда была всецело на стороне Александра Пушкина. Но поэт вместе со своей правдой находился за тысячи вёрст от Фёдора Толстого, «под эгидою ссылки», и не мог получить надлежащего удовлетворения. Ему оставалось только скрепиться и ждать — или же безотлагательно пустить в ход «подручные» средства.

Стихотворец Пушкин, «почитая мщение одной из первых христианских добродетелей» (XIII, 43), решительно выбрал второе, то есть объявил беспощадную (вовсе не «остроумную литературную») войну Американцу.

На рвущегося в бой приятеля попытался повлиять П. А. Вяземский — и толком ничего не добился. «Уголовное обвинение, по твоим словам, выходит из пределов поэзии; я не согласен. Куда не достягает меч законов, туда достаёт бич сатиры. Горацианская сатира, тонкая, лёгкая и весёлая, — возражал Пушкин 1 сентября 1822 года из Кишинёва князю Петру Андреевичу, — не устоит против угрюмой злости тяжёлого пасквиля. Сам Вольтер это чувствовал. Ты упрекаешь меня в том, что из Кишенёва, под эгидою ссылки, печатаю ругательства на человека, живущего в Москве. Но тогда я не сомневался в своём возвращении. <...> Я бы мог оправдаться перед тобой сильнее и яснее, но уважаю твои связи с человеком, который так мало на тебя походит» (XIII, 43–44).

И поэт изначально отказался от «сатиры нравственной», «горацианской» — в пользу «стихов», которые «никуда не годятся» (XIII, 43), предпочёл «ругательства».

А если называть вещи своими именами — отказался Пушкин в пользу встречной *клеветы*, стал (см. эпиграф к этой главе) «мал и мерзок».

На оскорбительную толстовскую сплетню Александр Пушкин ответил «резкой обидой» (XIII, 43), «резкими и необдуманнными суждениями»<sup>[827]</sup>, пространной и ужасной «грязью», частично размноженной посредством типографического снаряда. Он, что называется, отвёл душу, однако многого при этом и лишился.

И что самое главное, неисправимое: поэт изменил *правде*, он поставил себя на одну доску с графом Фёдором Толстым, растерял все свои изначальные этические преимущества.

В итоге же противники сравнялись.

С одной стороны барьера раздалось:

В жизни мрачной и презренной...

А в ответ эхом, «в тон Пушкину» (Б. В. Томашевский), прозвучало:

Презренным чту тебя...

Обменявшись такими и подобными им прицельными вербальными выстрелами, Александр Пушкин и Фёдор Толстой выхолостили, практически исчерпали конфликт.

Враги были квиты.

Парадоксально: разлучённые поэт и Американец всё-таки сошлись «на благородное расстояние» и «совершенно очистились» через вылитую друг на друга «грязь».

Их жизненная встреча после возвращения Пушкина из сельца Михайловского теоретически ещё могла завершиться взаправдашним кровавым поединком, — но поединком уже *post factum*, глуповатым и, так сказать, натужным.

Зато у С. А. Соболевского и прочих вовлечённых в эту историю лиц теперь, после свершившейся *дуэли без дуэли*, где не было ни победителя, ни — тем паче — пресмыкающегося побеждённого, появились шансы примирить недругов.

Примирителям по-своему споспешествовало и снисходительное время: ведь оно сняло с повестки дня уже несущественный для второй половины двадцатых годов вопрос о *casus belli*, о зачинателе конфликта. (Да и застрельщиками-то, если разобраться, выступили оба, Пушкин и Толстой, каждый по-своему.)

В российской дуэльной летописи XVIII–XIX веков сохранилось немало рассказов о том, как противники, по команде секундантов подойдя к барьеру и прицелясь в ляжку, висок или кстати проплывающее облако, выпускали заряды, а затем, когда рассеивался дым, бросались навстречу друг другу, обнимались и становились короткими приятелями.

Нечто подобное, но в чрезвычайно оригинальной редакции, случилось и у Александра Пушкина с Фёдором Толстым.

Некогда Американец нечаянно повстречался с «ничтожным» недорослем, и тот имел наглость прилюдно поучать его. Потом рифмоплёт

подросток, однако продолжал заноситься, петушиться, то бишь оставаться Пушкиным, и не заслуживал ничего, кроме презрения графа. Но годы и обстоятельства сделали-таки своё дело — и теперь ему, Толстому-Американцу, противостоял не просто знаменитый поэт Александр Пушкин, но и — что доказано и что поважнее поэтических лавров — возмужавший боец, равновеликий ему «твёрдый камень».

Таких врагов он, граф Фёдор Иванович Толстой, куда как уважал; таких врагов он с удовольствием переkreщивал в друзей.

А что, собственно, мог, отринув природное упрямство, возразить против примирения Пушкин? Две пули и десять шагов между нахохлившимися клеветниками — сюжет, безусловно, занимательный, редкостный, просящийся в повесть; но без зловещего антуража пушкинское честолюбие выигрывало несравненно больше.

Ещё бы: отвечая квазилитературными ударами на толстовский удар исподтишка, он буквально изрешетил графа («Я своё дело сделал»; XIII, 44). Публично, «громко» заслав к неприятелю секунданта, Пушкин сохранил лицо, соблюл формальности, принятые «правила игры». Более того, сам Американец, «в дуэлях классик и педант» (VI, 128), бестрепетно отправивший к праотцам (по слухам) чуть ли не дюжину бедолаг, пошёл с ним на мировую и, следовательно, возвёл Александра Пушкина в равные себе.

О более высоком, *исчерпывающем* «очищении» поэт был в силах разве что грезить.

Мнится, что «байбаку» С. А. Соболевскому и его присным довелось всего-навсего *свести* выдохшихся, утративших злобу супостатов. А остальное те легко, без витиеватой «челночной» дипломатии, сотворили сами.

Когда же Пушкин помирился с Американцем? Обычно утверждается, что недруги пошли на мировую уже в 1826 году, — однако это не так. Письма графа свидетельствуют: он вернулся из европейского путешествия никак не раньше лета 1827 года<sup>[828]</sup>. Дальнейшие итинерарии поэта и нашего героя были таковы, что они могли свидеться в лучшем случае *в начале января 1828 года* (когда Фёдор Толстой приехал в Петербург). Иными словами, после неудачи с поединком осенью 1826 года Пушкин не очень-то и искал встречи со своим обидчиком<sup>[829]</sup>. В сохранившихся источниках мы не находим объяснения этому странному обстоятельству. Возможно, состоявший в переписке с Американцем и общавшийся с Пушкиным С. А. Соболевский с помощью эпистолярных и прочих

манёвров уgomонил противников, сумел постепенно подготовить их к свиданию и переговорам о вечном мире.

В декабре 1828 года (и/или в первых числах января 1829-го) поэт и граф общались в Москве уже вполне дружелюбно.

Несложно посчитать, что их конфликт, едва не завершившийся прискорбно, длился восемь или девять лет.

После примирения имели место свидания и обеды; случались заливчатские пирушки в арбатских переулках и маскарады в Российском Благородном собрании<sup>[830]</sup>; были доверительные (на «ты») и совместные письма (XIV, 45–46, 69–70); выказывалась даже ревность («Пушкин, с страстью к картам и с нежностью к Гончаровой, — для меня погиб»<sup>[831]</sup>).

Именно Фёдор Толстой, знавший семейство Гончаровых ещё до Отечественной войны (см. главу 3), выступал в качестве свата Александра Пушкина в 1829–1830 годах. Брат Натальи Николаевны, С. Н. Гончаров, впоследствии (17 ноября 1864 года) рассказывал П. И. Бартеневу: «Пушкин, влюбившись в Гончарову, просил Американца графа Толстого, старинного знакомого Гончаровых, чтоб он к ним съездил и попросил позволения привести Пушкина»<sup>[832]</sup>. Наш герой, ведущий трудные переговоры с матерью девицы (XIV, 45, 394–395), во многом способствовал успеху матримониального марафона поэта, «милого друга».

Словом, в течение ряда лет было всё то, что исстари именуется почтеннейшим словом — *дружба*.

Её не поколебал и комичный, мелкотравчатый Зарецкий из шестой главы «Евгения Онегина», которая увидела свет в марте 1828 года:

Вперёд, вперёд, моя история!  
Лицо нас новое зовёт.  
В пяти верстах от Красногорья,  
Деревни Ленского, живёт  
И здравствует ещё доньне  
В философической пустыне  
Зарецкий, некогда буйан,  
Картёжной шайки атаман,  
Глава повес, трибун трактирный,  
Теперь же добрый и простой  
Отец семейства холостой,  
Надёжный друг, помещик мирный

И даже честный человек:  
Так исправляется наш век!.. (VI, 118–119).

В «честном человеке» современники разглядели Американца. Так, П. Х. Граббе указал, что «черты из жизни» графа «попали даже в поэму Пушкина „Онегин“»<sup>[833]</sup>. Не мог не заметить отдалённого родства с Зарецким и сам Фёдор Толстой. Другой бы обиделся, а он и бровью не повёл. Хотя Пушкин и создал карикатуру на него, однако поэт не вышел тут (как выходил ранее) за рамки «сатиры нравственной». По части же сатиры наш герой и сам грешил, и другим (вспомним Грибоедова) спускал; позволял очень колко высказываться в свой адрес, «хохотал от души» при этом. По его убеждению, границы жанра были необычайно широки.

(Позднее пушкинисты тоже пришли к выводу, что прототипом секунданта Владимира Ленского являлся Американец<sup>[834]</sup>. Иногда, впрочем, учёные делают оговорку: «Даже если это так, Пушкин подверг черты реального прототипа существенной переработке»<sup>[835]</sup>.)

Последняя встреча Пушкина и Американца произошла в Москве в мае 1836 года. «Видел я свата нашего Толстого», — сообщил поэт жене 4-го числа (XVI, 111). Посетил он графа, жившего в гостинице И. И. Коппа «Север» (в Глинищевском переулке), и 5 мая (XVI, 112). А через несколько дней приятели обедали у Павла Воиновича Нащокина<sup>[836]</sup>.

От судеб нет защиты: Александр Пушкин завершил свои дни таки на дуэли. Надо думать, что Американец, узнав о случившемся, загрустил пуще прежнего<sup>[837]</sup>.

«Пришла беда, отворяй ворота» — это о нём сказано. В тридцатые годы отставной полковник Фёдор Иванович Толстой горевал почти без передышки.

## Глава 9. НЕЩАСТИЯ

*Всё, что теряем мы невозвратно, я называю несчастием...*

*Граф Ф. И. Толстой*

Отставной полковник и действительный философ граф Фёдор Иванович Толстой «к пятидесяти годам ухабистой жизни»<sup>[838]</sup> уже зримо постарел, поседел, начинал слегка горбиться, но ещё хранил толику мужского шарма. Силы Американца покуда не истощились вконец, он в меру следил за собой, да и волосы его по-прежнему кудрявились, а глаза — и это, наверное, самое показательное — подчас загорались молодецким огнём.

Вот как описала облик дядюшки в конце двадцатых годов Мария Каменская: «Тогда в Фёдоре Ивановиче не было уже ничего удивительного, он был человек как человек: пожилой, курчавый, с проседью, лицо красное, с большими умными чёрными глазами, и разговаривал, и шутил за столом, как все люди»<sup>[839]</sup>.

Спустя десятилетие с лишком Александр Герцен увидел несколько иного Американца: «Один взгляд на наружность старика, на его лоб, покрытый седыми кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы»<sup>[840]</sup>.

А у Льва Толстого, двоюродного племянника нашего героя, в памяти с детства отложилось: «Помню его прекрасное лицо: бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы»<sup>[841]</sup>.

Сказать, изучив мартиролог графа Фёдора Толстого, что тридцатые — они же предзакатные — годы были для графа трудными, — значит ничего не сказать. В это десятилетие Американец лишился почти всего того, что жизненно необходимо простому смертному. Он утратил многое — и многих. «Конечно, я подобен человеку в агонии, но не совсем же ещё и умер; следовательно, мне потребны лекарства, а не гроб» — так характеризовал наш герой свой статус в письме князю П. А. Вяземскому<sup>[842]</sup>.

Богато на подлинно эпохальные события было то время. Именно тогда

вспыхнул и захлебнулся в крови польский бунт; дважды бесчинствовала в губерниях холера; издали Полное собрание и Свод законов Российской империи; заключили важные союзные договоры и конвенции; был утверждён государственный гимн державы; в Отечестве открывались университеты, институты и академии; построили железную дорогу от Петербурга до Царского Села; учредили Археографическую комиссию и Училище правоведения; правительство изыскивало средства к улучшению состояния крестьян разных званий; во Франции пали Бурбоны, а у нас вознеслась Александровская колонна и обратился в пепел Зимний дворец...

Всё перечисленное и многое другое, похоже, мало коснулось нашего героя: Американца как будто переместили из николаевского царствования в иное измерение. Он в тридцатые годы просто брёл, спотыкаясь и думая о близкой домовине, по жизни — брёл от января к декабрю, от огорчения к разочарованию, от потери к потере...

А начиналось всё очень даже недурственно — с любимых удовольствий...

В марте 1830 года Москву посетил император Николай Павлович, и верноподданный Американец отметил августейший визит самым добросовестным образом. Так, 16-го числа, когда царь уже покинул Белокаменную, граф с трудом сумел добавить несколько строк к письму А. С. Пушкина, которое было адресовано П. А. Вяземскому, в Петербург:

«При сей верной оказии, не мог я преминовать, что бы и мне не засвидетельствовать вам покорного почтения, мой любезнейший князь Пётр Андреевич. Желал бы писать гораздо и пространнее, но истинно так, так утомлён удовольствиями, которые нам, счастливым москвичам, доставило внезапное прибытие государя императора. Право, князь, ещё не могу отдохнуть и опомниться» (XIV, 70).

В апреле того же года он наконец-то сосватал Александра Пушкина, «огончаровал» поэта, поднял вместительную чашу по случаю «взятия Карса» (то есть Натали Гончаровой) — а потом уехал на заслуженный отдых в сельцо Глебово<sup>[843]</sup>.

«Из деревни своей не выезжаю», — сообщал Американец князю П. А. Вяземскому 7 июня. Далее граф Фёдор признался, что весьма увлёкся сельскими забавами: «Сад я люблю с страстью и им много занимаюсь, но, не имев теоретического образования в садоводстве, — удовольствие сие не полно, — но хорошо коротит день».

В письме наш герой ответил «на все статьи» предыдущего послания

князя. Так, предложение друга сочинить роман — с чем Фёдор Толстой наверняка справился бы не хуже всяких Загоскиных — граф решительно отверг: «Нет, любезной Вяземской, пиши-ка ты, — а мы будем читать и восхищаться. И есть-ли я займу страницы две, три в одной из глав твоего романа, то будет с меня и этого». Правда, тут же Фёдор Иванович скромно заметил, что «на старости лет» он, видимо, смог бы создать мемуары, или «исповедь», в духе прославленного одноимённого творения Ж. Ж. Руссо, — «с одинаковой откровенностью, но с большей, гораздо с большей нравственной целию».

(Возможно, Американец уже кропал тогда свои записки.)

В июньской эпистоле соседствовали московские новости, просьбы, шутки, приветы невражеским приятелям. «Передай мою душевную благодарность Жуковскому, — писал, уже в постскриптуме, Американец. — Ах, как бы я с ним напился! Но он, верно, при всей доброте своей, уже более не напьётся. <...> Всё изменилось, время всё губит» <sup>[844]</sup>.

Начавшуюся летом в империи эпидемию *cholera morbus* рассеянный граф Фёдор, кажется, и не заметил, не принял всерьёз.

А потом Американец внезапно и тяжело заболел. Из переписки Фёдора Толстого известно, что с ним тогда случились «два припадка» <sup>[845]</sup>.

Первый пароксизм произошёл осенью 1830 года, и друзья графа очень опасались за его жизнь. Но всё обошлось: недуг, вдоволь поизмывавшись над Американцем, отступил. И 6 октября наш герой отправил «его превосходительству Александру Яковлевичу Булгакову» такое уведомление:

«Толстой сердечно благодарит К<нязя> Вяземского за дружеское воспоминание и принимаемое участие в здоровье его. Толстой теперь вне всякой опасности, но в крайнем изнеможении, что довольно доказывает почерк записки.

Толстой также просит принять искреннюю благодарность и Александра Яковлевича за несколько весьма милых строк, относящихся к нему, Толстому» <sup>[846]</sup>.

Весь следующий год Американец был «чуть жив» <sup>[847]</sup>, он почти не покидал дома <sup>[848]</sup>, покорился докторам, напрочь забыл о вине. О происходивших в мире событиях наш герой узнавал по большей части из писем П. А. Вяземского <sup>[849]</sup>. «Я не графствую, не графинствую, плохо здравствую; смотрю протекшим пасмурным августом, а на душе, а на душе — грядущий октябрь, — сообщал Толстой князю Петру Андреевичу 6

сентября 1831 года из деревни. — Говорю так, надеясь, что он честь свою поддержит и, по пословице, не ударив в грязь лицом, ударит грязью в лицо. Но грусть молчалива, и потому не посетуй на краткость моего писания»<sup>[850]</sup>.

27 ноября 1831 года на московской сцене, в Малом театре, впервые представлялись все четыре действия «Горя от ума». В ролях были заняты лучшие актёры: М. С. Щепкин, М. Д. Львова-Синецкая, П. С. Мочалов, П. В. Орлов...<sup>[851]</sup> Возможно, Американец присутствовал на премьере этого спектакля, имевшего к нему определённое отношение<sup>[852]</sup>.

Иногда хворь как будто трубила отбой, — а затем опять набрасывалась на отставного полковника Толстого.

Нечто похожее когда-то происходило на его бородинской батарее.

Зимою, в веселящемся городе, графу Фёдору Ивановичу вновь стало лихо. 11 декабря он отобедал у Вяземских (с А. С. Пушкиным, Д. В. Давыдовым, А. И. Тургеневым и другими<sup>[853]</sup>) — и слёг.

«Граф Американец живёт в Москве», — только и смог сообщить Павел Муханов А. А. Муханову 6 января 1832 года<sup>[854]</sup>.

Полегчало же Толстому («на несколько дён поотдало»<sup>[855]</sup>) лишь в начале весны. Никак не отпраздновавший своё пятидесятилетие Американец даже рискнул принимать посетителей и прогуливаться по пробуждающемуся бульвару. В пиршествах он если и участвовал, то теперь, увы, в качестве совершенно трезвого зрителя. «На днях я смотрел, как у меня обедали, и любовался, как пили», — докладывал граф Толстой П. А. Вяземскому 26 апреля 1832 года.

В той же эпистоле наш герой констатировал: «Здоровье моё утрачено без возврата. Дважды молод не будешь. Особливо продолжительные и несносные страдания от моей болезни, конечно, десятью годами подвинули меня ко гробу»<sup>[856]</sup>.

Однако он и в критической ситуации, при полнейшей «расстройке телесного здоровья»<sup>[857]</sup>, пытался шутить. Например, когда князь Пётр Вяземский посоветовал Американцу навсегда раздружиться с Бахусом и подумать о водолечении, о поездке «к водам», тот, сущая развалина, ответил: «Толстому ли ты предлагаешь исцеление водою? Не оскорбляй его безвинно! Вода исцелить его не может. Сам Спаситель не в силах бы был сотворить чудо сие»<sup>[858]</sup>.

Летом 1832 года, в Глебове, Американец был, пожалуй, как никогда ранее близок к могиле, но толстовская природа и тут превозмогла «тяжкую

болезнь»<sup>[859]</sup>. «Вот 13-ой день, как я, получив надежду ещё просуществовать, — не знаю, сколько мне определено, — но без спазм; умереть не от спазм, — читаем в письме Фёдора Толстого П. А. Вяземскому от 29 августа. — Лето же (которого, впрочем, у нас не было) я провёл в самых жестоких страданиях. Исцелил меня, и доканчивает исцеление, простой крестьянин. Если исцеление сие не есть чудесное, ибо чудес, полагаю, в природе нет (выделено мною. — М. Ф.); то, по крайней мере, его надо назвать удивительным исцелением. Мне остаётся ещё 27-ь дён до окончания полного курса лечения»<sup>[860]</sup>.

(Обратим внимание читателей на выделенную фразу. В начале тридцатых годов граф однажды, и неспроста, назвал себя «новым христианином»<sup>[861]</sup>. Толстому тогда, действительно, приоткрылось нечто ранее недоступное. Однако, постепенно изживая укоренившийся скептицизм, он позволял себе в доверительных письмах и высказывания про «чудеса» или типа: «Сарра, благодаря кого-то, здорова»<sup>[862]</sup>. Хотя священник отец Михаил и бывал «крайне доволен» своим духовным сыном Фёдором Толстым, «без малейшего затруднения» разрешал тому «приобщиться святых таин»<sup>[863]</sup>, искреннюю и глубокую веру Американцу ещё предстояло обрести.)

По-видимому, к концу 1832 года Толстой сумел прийти в себя и в какой-то мере восстановить пошатнувшееся здоровье. Прежним богатырём, «восьмым чудом света»<sup>[864]</sup> граф Фёдор Иванович, разумеется, уже не стал, — но получил возможность быть мало-мальски *деятельным*. Более того, со временем наш дряхлеющий герой «пуншевого века»<sup>[865]</sup> реабилитировал и кнастер, и «пьяноление» — в умеренных, посильных старику, формах.

«Бурной жизни его я уже не застала», — констатировала впоследствии в автобиографической хронике П. Ф. Перфильева<sup>[866]</sup>.

А тремя десятилетиями ранее Полинья Толстая, будущая хроникёрша, ещё только начинала знакомиться с окружающим миром.

Жила тогда маленькая графиня Прасковья то у цыганской бабушки, то в пансионе, то в отцовском доме. Внешностью девочка очень походила на мать из табора, а рано проявившимся нравом — на обоих родителей. «Про наружность свою я умолчу и скажу одно, что типичность нации, к которой принадлежала мать, сильно сохранилась и во мне, — признавалась П. Ф. Перфильева, — характер я имела упрямый и твёрдый: никому и ничему не любила поддаваться, но любовью и ласкою можно было со мной всё

сделать»<sup>[867]</sup>.

Прасковья Фёдоровна уверяла подписчиков «Русского вестника», что в детстве она (или графиня Инна) — в отличие от сестры Сарры — не удостоилась любви отца. Видимо, этот ревнивый упрёк отчасти справедлив; однако заметим, что в письмах Американца тридцатых годов всё же есть тёплые слова и о Полиньке (иногда граф Фёдор называл дочь и Полькой<sup>[868]</sup>). Шутливое прозвище, которым её (по утверждению М. Ф. Каменской) наградил Фёдор Иванович, — «курчавый цыганёночек», — также кое о чём говорит. Да и себя граф величал «чадолюбивым отцом»<sup>[869]</sup>; и воспитывалась младшая дочь по той же методе и с тем же тщанием, что и старшая.

Но любимицей нашего героя была, действительно, Сарра.

И захворала несравненная Сарранька почти одновременно со стареющим отцом.

Об этой болезни словоохотливый граф Фёдор Иванович Толстой вне дома предпочитал помалкивать. Только в одном, кажется, письме князю П. А. Вяземскому он, не удержавшись, обронил: «Плохое здоровье Сарры дополняет мои прискорбия»<sup>[870]</sup>.

Тогда Американец ещё не догадывался, что ожидает его дочь впереди.

«С исхода десятого года уже признаки ужасной болезни тяготели над ней, — повествует кручинный автор „Биографии Сарры“. — Страсть к наукам не угасла, но занятия прерываемы были ужасными головными болями и болями в груди»<sup>[871]</sup>.

Девочка стоически переносила страдания, по стихам В. А. Жуковского старательно «училась стопосложению»<sup>[872]</sup>, однако писать не могла. Она становилась всё более меланхоличной, «искала уединённых мест, тёмных комнат»<sup>[873]</sup>; у неё быстро развилась болезненная, уродливая полнота.

Потом к болям добавились периодические «вскрикивания», а те перешли в «продолжительные, непрерывные вопли». У Сарры начались обмороки. Врачи и корзины лекарств уже не помогали ей: «Всё, всё было истощено; облегчения ни малейшего!»<sup>[874]</sup>

Три года промучилась Сарра — и три года не находили себе места её родители. Когда же бедняжка достигла тринадцатилетнего возраста, случилось вот что: «Необыкновенный случай вверг её в магнетическое состояние»<sup>[875]</sup>.

Пояснила это туманное сообщение автора «Биографии Сарры» П. Ф.

Перфильева в своей хронике: «Лечение сестры начал сосед наш барон Штеренберг; он прежде не знал за собой магнетической силы, но как-то, шутя, начал магнетизировать сестру, и дело пошло на лад»<sup>[876]</sup>.

Магнетические сеансы доморощенного, «без всяких сведений», врачавателя обнадёжили семейство Толстых: около полутора лет Сарра чувствовала себя довольно сносно.

В эту пору она много читала, занималась музыкой, пела; начала сочинять (никому не показывая) стихи, преимущественно на английском и немецком языках<sup>[877]</sup>. «Общий характер этих сочинений, — размышлял позднее переводчик творений графини М. Н. Лихонин, — есть какая-то исполненная грусти мечтательность, которая, создавая себе в фантазии всевозможные неудачи обманутого сердца, обращает полный слезами взор свой к безмятежным небесам и, разочарованная на земле, ищет отрады и успокоения в мире надзвёздном»<sup>[878]</sup>.

Тогда же, в ходе одной из бесчисленных бесед с отцом, страдальца, внезапно обретшая способности к ясновидению, «предсказала смерть свою, определив срок трёх, и самый дальний — четырёх лет»<sup>[879]</sup>.

С того дня старики Толстые жили в ожидании объявленного прорицательницей несчастья...

Но смерть распорядилась по-иному, и уход другого близкого человека опередил поджидаемый. 4 июня 1834 года преставилась мать Американца, семидесятитрёхлетняя Анна Фёдоровна Толстая, урождённая Майкова. Её похоронили на Ваганьковском кладбище<sup>[880]</sup>. (Известно, что на погребении графини присутствовал князь П. А. Вяземский.)

Потом, после обманчивой паузы, болезнь к Сарре воротилась: возобновились боли и обмороки, появилось «трепетание сердца ужасное».

Ставка на гомеопатическое лечение не оправдала себя. Вскоре недуг принял угрожающий характер. Мало чем мог помочь графине и вновь нанятый гипнотизёр, уже профессиональный, даже «знаменитый» (П. Ф. Перфильева). «Вихрем вертелась она на одном месте, и никакая сила не могла остановить её, кроме воли магнетизёра; переламяваясь, закидывала голову назад к самым бёдрам, с демонским хохотом, как бы изъясняя утешение тому ужасу, который на всех наводила. При малейшей оплошности магнетизёра убегала и пряталась; на пути всех била, драла платье»<sup>[881]</sup>.

Случалось, что Сарранька, находившаяся во власти мрачных экстазов и галлюцинаций, была готова наложить на себя руки, и посему домашняя

прислуга, разделённая Американцем на две смены, наблюдала за сомнамбулической больной круглосуточно. Толстовский дом превратился в «истинной лазарет»<sup>[882]</sup>. «Один отец не сменялся!» — восклицал автор «Биографии Сарры»<sup>[883]</sup>.

Такого «ада» граф Фёдор Иванович не пожелал бы и злейшему врагу. Множила его страдания, увы, графиня Авдотья Максимовна, некогда Дуняша, большая любительница семейных сцен, церковных служб, глумления над прислугой, а заодно стерлядей и соболей<sup>[884]</sup>.

В то время наш герой, сам перебогавшийся, был близок к умопомрачению.

А в столицах о нём начали забывать<sup>[885]</sup> — разве что Пётр Вяземский или Денис Давыдов иногда баловали горемычного глебовского помещика Толстого-Американца весточкой<sup>[886]</sup>.

Весною 1836 года отчаявшиеся супруги Толстые, покинув сельцо, повезли Сарру «лечиться за границу»<sup>[887]</sup>.

Задержавшись ненадолго в Москве, Американец повидался с Александром Пушкиным. О встрече с путешествующим «сватом» поэт написал 4 мая жене: «Дочь у него так-же почти сумасшедшая, живёт в мечтательном мире, окружённая видениями, переводит с греческого Анакреона, и лечится омеопатически» (XVI, 111).

Пользовали Сарру Толстую гомеопатическими снадобьями и в Европе. Тем не менее в Дрездене она впала в «чёрную тоску», и у неё вновь «проявилось расположение к самоубийству»<sup>[888]</sup>. Чахнувшая графиня продолжала жаловаться на боли в сердце, боку и груди. Потерявший терпение магнетизёр («господин О.»), «искусный медик, высокой, чистой нравственности»<sup>[889]</sup>, покинул чокнутых Толстых и уехал в Кёльн.

Только в апреле 1837 года в гористой Богемии, среди дикой природы, Сарраньке стало малость лучше, — «но таковая жизнь была на один только месяц»<sup>[890]</sup>.

В июне семейство отставного полковника Фёдора Ивановича Толстого находилось уже в Петербурге и Царском Селе, у родни графа.

Прогостив там несколько дней, Американец возвратился со своим «табором» в подмосковную — без иллюзий и без гроша в кармане.

На какие деньги граф и графиня Толстые, хватавшиеся за всякую соломинку, пустились странствовать по чужим землям — не совсем

понятно. Скорее всего, на заёмные: с собственными деньжонками у Фёдора Ивановича было весьма туго.

Дошло даже до того, что в конце 1832 года Американец, очень «горюя», продал столь памятный ему (и подозрительный для многих обывателей) дом на Арбате. «Я здесь на минуту, — сообщал наш герой князю П. А. Вяземскому 13 ноября, — приехал продавать свой домик, — хоть за бесценок»<sup>[891]</sup>. Новой (и, очевидно, довольной) владелицей особнячка на углу Калошина переулка и Сивцева Вражка стала действительная статская советница Екатерина Петровна Яковлева<sup>[892]</sup>.

«Сию минуту отпускаю одну из гувернанток, не быв в состоянии ей платить. К рязанскому имению приставлена опека, подмосковное и тамбовское имения скоро подвергнутся таковой же участи», — оповещал в ту пору граф Фёдор Толстой старинного и «любезнейшего» приятеля С. Д. Киселёва<sup>[893]</sup>.

Князю же П. А. Вяземскому Американец жаловался на пустую казну и «все скорби жизни» едва ли не в каждом «длинном и чахоточном»<sup>[894]</sup> послании.

С сиятельным наперсником болезненно самолюбивый граф Фёдор Иванович был прямодушен и обходился без горделивых экивоков. Вот лишь некоторые толстовские эпистолярные откровения тридцатых годов, словно из долговой ямы доносящиеся.

«Остаётся только провалиться сквозь землю — авось там будет лутче!»

«Тебе могу сказать, что оно (положение с финансами. — М. Ф.) ужасно. Я мог с довольным равнодушием отказать себе шампанское; но если вынужденным найдусь отказать себе в воспитании детей, — я буду истинно несчастлив».

«Я ехать не могу и об водах даже и думать не должен. Ни с деньгами, ни с духом, как ты говоришь, собраться я не в состоянии».

«С семейством <...> и бедность есть крушительная болезнь».

«Душевные обстоятельства мало утешительны. Если б мог быть обеспечен в благополучии детей, то расстаться с сей жизнью большим горем назвать нельзя».

«Надежда так же женщина, как и фортуна, — не смею ей верить! Столько в жизни моей я ею был обманут!»

«Мне угрожает совершенное разорение»<sup>[895]</sup>.

*Et cetera, et cetera.*

В какой-то момент Американец, озабоченный «благополучием детишек», стал вдруг уповать на «важнейшие перемены насчёт платежа процентов в Опекунский совет»<sup>[896]</sup> и составил наивный план спасительной операции. Однако реализовать задуманную программу ему не удалось: слухи о залоговой реформе (якобы «тайне государственной») так и остались слухами.

Не сулила нашему герою прибыли (несмотря на «благодетельства» В. А. Жуковского и особенно П. А. Вяземского, который закинул за Фёдора Толстого словечко «министру справедливости»<sup>[897]</sup> — министру юстиции Д. В. Дашкову) и тяжба с Завадовскими.

Дело степенно блуждало по инстанциям, сильные противники Американца составили собственную «партию», не скупившись на подношения стряпчим и противодействовали любым принимаемым Толстым мерам. В письме князю П. А. Вяземскому от 7 июня 1830 года граф дал образную характеристику данного судебного разбирательства:

«Естьли б я имел дарование Крылова, или Хемницера, то, конечно, моё дело, моя просьба послужила бы прекрасной канвой, по которой вышел бы я басню под названием: Лев, волк и баран. Баран просит на волков в жестоких обидах, ему нанесённых, и Лев препоручает волку-прокурору разобрать дело между товарищами его волками и бедным бараном. И, что ещё всего забавнее, советуя барану паки обратиться к тем самым волкам, в переделе коих он уже был и именно просил Льва-министра избавить от их волчьей пасти. Но во всём этом самое грустное, мой любезной Вяземской, что баран уже устарел, живёт совершенно овцой, ищет одного покоя, а его так теребят поганые волки»<sup>[898]</sup>.

(«Львом» тут именован, естественно, Дмитрий Васильевич Дашков.)

Сцепившись с алчными «волками», Американец то походил на «твёрдый камень» и готовился праздновать победу («дело моё выиграно, как дело по чести и разуму справедливое»<sup>[899]</sup>), то впадал в уныние, на все лады проклинал «злодейку судьбу, злодея Завадовского, злодея Сената»<sup>[900]</sup> и уже ни на что не надеялся. «Я не знаю, когда кончится мой процесс и как он кончится, говорить же об нём стошнит, как от яузской воды», — чертыхался граф<sup>[901]</sup>.

Однако долговременные усилия и партикулярные письма князя П. А. Вяземского (не «остудившегося» и свершившего, по словам Фёдора Толстого, «дружеской подвиг»<sup>[902]</sup>) всё же были, вероятно, не напрасны. Да и внезапные происшествия приблизили финал изнурительного состязания.

В 1832 году отошла в мир иной престарелая графиня Елизавета Павловна Завадовская, а через несколько месяцев вслед за нею отправился и её сын, Иван Яковлевич, «человек ещё молодой, которому <...> досталось после матери миллион денег чистых, кроме душ». Как сообщил 7 марта 1833 года душеприказчик покойного К. Я. Булгаков своему брату А. Я. Булгакову, граф И. Я. Завадовский умер, «оставив одному своему приятелю 200 000 руб<лей>, кроме прежде данных 200 т<ысяч>, многим другим лицам деньги...»<sup>[903]</sup>.

Сорокасемилетнего недруга Американца, кавалера ордена Святого Иоанна Иерусалимского похоронили в Петербурге, в Духовской церкви Александро-Невской лавры<sup>[904]</sup>. После выполнения юридических формальностей (в том числе судебных, сенатских) какая-то доля громадного наследства — очевидно, крохи — перешла в руки графа Фёдора Ивановича Толстого.

Из воспоминаний Ф. В. Булгарина следует, что в 1836 году наш герой (по пути в Европу) побывал в Могилёвской губернии<sup>[905]</sup>. Предполагаем, что он с семейством заезжал в отвоёванное с таким трудом имение.

Завершился Успенский пост. 20 августа 1837 года Американец, отмечая семнадцатилетие Сарраньки, устроил в сельце Глебова «шумный сельский праздник». А затем, в ноябре, «для развлечения» страдавшей дочери, Толстые отправились в Северную столицу.

Тут, в городе на Неве, и разыгрался заключительный акт трагедии.

«Боль в груди, боку и самом сердце возобновилась с новой жестокостью; частые обмороки их сопровождали, — читаем в скорбном листе, то есть в „Биографии Сарры“. — Громко отзывался таинственный глас предопределения: „Сарра, ты не здешняя... Пора!“»<sup>[906]</sup>.

Граф Фёдор Иванович Толстой спешно обратился за консультацией к домашнему врачу великой княгини Елены Павловны немцу М. Мандту (уже знаменитому, а вскоре ставшему лейб-медиком). В течение десяти недель тот пользовал девицу и, кажется, сумел облегчить её мучения.

Потом, когда в Петербург пришла весна, Сарра Толстая окончательно слегла.

В середине апреля 1838 года, после Пасхи, она, втайне от родителей, приказала своей горничной девушке «читать и петь отходные молитвы»<sup>[907]</sup>.

Пронеслась декада, минул Юрьев день — и «в три часа ночи Толстой был разбужен воем целой стаи собак, собравшейся под окном его спальни.

Ужас им овладел; он обезумел; вскоре за сим приходит женщина сказать, что Сарре Фёдоровне что-то очень не хорошо; поскакали за докторами...»<sup>[908]</sup>.

Псы не спутались: 24 апреля 1838 года, в восемь часов пополудни, графиня Сарра Толстая отмаялась, испустила дух.

Американец, будучи не в состоянии находиться возле милого бездыханного тела, тотчас бросился в Царское Село, к Прасковье Васильевне Толстой. На следующий день, уже основательно напившись, он отправил оттуда записку князю П. А. Вяземскому:

«Ты был на похоронах моей матери — не хочешь ли быть на погребенье моей дочери Сарры? Лыщусь, что ты имеешь полное право на таковое приглашение. Меня не будет, — я бежал в Царское Село. Толстой. 25-го апреля»<sup>[909]</sup>.

Князь Пётр Андреевич ответил графу Фёдору Толстому краткой запиской с трогательными утешениями.

Спустя ещё двое суток, 27-го числа, ненаглядную Сарраньку погребли на Волковском православном кладбище.

В те скорбные дни безутешный отец получил письмо и от В. А. Жуковского, «самое милое». К письму поэт приложил «весьма чувствительные стихи»<sup>[910]</sup> на смерть юной графини:

Плачь о себе: твоё мы счастье схоронили;  
Её ж на родину из чужи проводили.  
Не для земли она назначена была...<sup>[911]</sup>

Занемогла тогда потрясённая двенадцатилетняя Полинька. Графиня Авдотья Максимовна сотрясалась от рыданий. Американец же, почти не плакавший, продолжал пить беспробудно в Царском Селе. В самом конце апреля он послал князю П. А. Вяземскому очередную записку:

«Вчера я к тебе что-то писал, — клянусь, не помню, не знаю, — но писал ещё натошак. Горе, доброй хмель, мы с тобой его попили, мой милой! мой брат по горю»<sup>[912]</sup>.

Сегодня, право, не знаю, в которой раз перечитал я твою записку; записка в пять строк, но какая это записка. Точно, я бедной! И в этом простом слове вылилась вся богатая нежностью душа твоя. Всё глубоко<ко>е знание твоё сердца человеческого. Но дорого ты его купил, любезной друг.

<...> Когда еду и даже куда еду, — право, не знаю. К тому же мне

тяжко будет оставить скоро мой благотворной приют.

Навести меня. Я тебе не буду докучать моей тоской. Но мне так хорошо с тобой пробыть час, хоть молча. <...> Прости, обнимаю тебя. Т<олстой>»<sup>[913]</sup>.

Прошло ещё несколько дней, и граф Фёдор Иванович сумел взять себя в руки, постепенно стал трезветь, собираться в обратный путь. Князю Петру Андреевичу он сообщил:

«Полиньке лутче, — благодарю за участие твоё; зная твою душу, знаю, как оно искренне. Об себе истинно лутче ничего не говорить. Я так покоен, так покоен, — что кажется, никогда моей Сарры не любил. Желаю тебя видеть от всего больного моего сердца. Т<олстой>»<sup>[914]</sup>.

С верным П. А. Вяземским, уезжавшим в заграничное путешествие, Американец, конечно, свиделся и крепко обнялся перед долгой разлукой.

Накануне отъезда в Москву Фёдору Ивановичу Толстому удалось встретиться и с товарищем гвардейской молодости, графом Алексеем Фёдоровичем Орловым. Наш герой страстно хотел, чтобы Сарра почивала «ближе к милому пределу» (III, 195), в московской земле, — и генерал-адъютант пообещал Американцу испросить на то высочайшее соизволение.

Благодаря представительству графа А. Ф. Орлова гроб с телом графини Сарры Фёдоровны Толстой через два с половиной месяца был доставлен из Петербурга в Первопрестольную. И 12 июля 1838 года *девятое* чадо Американца обрело покой на Ваганьковском кладбище, «под одним камнем» с прочими Толстыми.

Но дорого обошлось нашему герою исполнение его желания: ведь в день погребения Фёдор Иванович фактически пережил смерть обожаемой дочери вторично.

А вскоре, на исходе летнего месяца, полковник Фёдор Толстой оставил усадьбу и на перекладных отправился в Тамбовскую губернию. В письме от 31 июля А. И. Остен-Сакен оповестила Т. А. Ергольскую (дальнюю родственницу графа, воспитательницу Л. Н. Толстого): «Вчера, то есть 30-го, граф Фёдор покинул Москву; он отправляется в Воронеж на почтовых лошадях. <...> Он всё ещё очень печален. Кажется, будто время не приносит никакого облегчения его горю»<sup>[915]</sup>.

Американец ехал не в Воронеж, а чуть ближе, в терпящее бедствие имение, которого мог лишиться в любую минуту. Он жаждал хоть что-то предпринять, дабы сохранить для семьи этот кусок хлеба.

Перезахоронение праха дочери и поездка Толстого в Тамбовскую губернию были звеньями единого замысла. После всех случившихся

«нещастий» граф Фёдор Иванович, преодолев «порок лень в самой высокой степени»<sup>[916]</sup>, постановил привести дела в порядок.

Вероятно, для себя глебовский мудрец тогда уже определил, кого могильщики зароят на Ваганькове в следующий раз.

## Глава 10. ПОСЛЕДНЯЯ ТУЧА РАССЕЯННОЙ БУРИ

*Концы с концами должно свести.*

*Князь П. А. Вяземский*

Поездкой на почтовых в Тамбовскую губернию в 1838 году Американец открыл заключительный этап своей жизни. Долгий период его относительного затворничества, вызванного болезнью Сарры и собственной хворью, остался в прошлом. Граф Фёдор Иванович Толстой, «седой как лунь старик»<sup>[917]</sup>, на несколько лет вновь превратился в человека *поступка*, публичного и не всегда однозначного.

Вернувшийся из ссылки отставной подполковник и заядлый картёжник А. А. Алябьев надумал жениться. Его избранницей была Екатерина Александровна Офросимова, тридцатисемилетняя вдова. Венчание композитора происходило 20 августа 1840 года в селе Рязанцы Богородского уезда, в тамошней церкви Святой Троицы. Сохранилась соответствующая запись в церковной метрической книге, благодаря чему нам теперь известно, что поручителями со стороны жениха выступили корнет Н. И. Иохимсен и... «полковник граф Фёдор Иванович Толстой»<sup>[918]</sup>. Американец оказался в сельском храме отнюдь не случайно: он издавна водил игрецкое знакомство с автором знаменитого «Соловья». К тому же наш герой был, что называется, «должником» Алябьева: ведь шедший под венец Александр Александрович однажды сочинил душевный романс «Роза» на стихи графини Сарры Толстой.

После смерти дочери граф вообще зачастил в храмы. Горюя, он ещё ближе подошёл «к убеждению в христианстве»<sup>[919]</sup>. При этом он, как многие даровитые люди, искал Божество преимущественно умом, интеллектуальным усилием — и поверял религиозные спонтанные порывы философическим скепсисом, *мудрованием*.

Характерные тому подтверждения имеются, в частности, в дневнике В. А. Жуковского за 1841 год. Так, 30 января пребывавший в Москве поэт записал: «У меня почти всё утро Толстой <...>. Замечательное слово Толстова: я понимаю, как можно любить своих врагов, но не понимаю, как можно любить Бога»<sup>[920]</sup>. А 23 февраля, после визита к Американцу, В. А.

Жуковский зафиксировал следующую тираду пытливого хозяина: «Его изъяснения грехопадения: Адам уже до падения пал. Зрелище коров прельстило его»<sup>[921]</sup>.

От современников не укрылось воцерковление нашего героя. О том, что Толстой-Американец обернулся в преклонные лета «христианином», писал, в частности, А. А. Стахович<sup>[922]</sup>.

Мемуаристка М. Ф. Каменская настаивала: «Фёдор Иванович сделался мало того что богомолен, а просто ханжой»<sup>[923]</sup>.

А Лев Толстой в разговорах с близкими и вовсе утверждал, что его дядюшка «к старости так молился, что колени и руки себе ободрал»<sup>[924]</sup>.

Он обитал преимущественно в деревне, в не надоедавшем ему Глебове, но регулярно навещался в древнюю столицу и подолгу оставался в городе. (Жительствовал тогда граф в Басманной части, неподалёку от церкви Трёх Святителей, в собственном доме<sup>[925]</sup>.)

В Москве отставной полковник посещал не только родню<sup>[926]</sup>, театры и Английский клуб, но и жилище полуопального П. Я. Чаадаева на Старой Басманной. Граф высоко ценил общество С. А. Соболевского, П. В. Нащокина, А. П. Елагиной, Ф. Н. Глинки и М. С. Щепкина; общался с «представителями славянских теорий»<sup>[927]</sup>, то есть со славянофилами; не единожды выступал в различных аудиториях с позиций ревностного апологета «русской партии». Именно с этих позиций наш герой в послании от 23 августа 1844 года мягко упрекнул друга, князя П. А. Вяземского, за эпистолярную бестактность: «Ты уличил народ русской в его несовершенстве, недостатках: мне было больно»<sup>[928]</sup>.

На людях он вещал, как встарь, умно, смело и ярко — и зачастую юношески увлекался, высказывал спорные, а то и крайние суждения. Например, С. Т. Аксаков вспоминал: «Я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он „враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь“»<sup>[929]</sup>.

Свидетельницей другого выступления Американца (отчасти поддержанного Ф. И. Тютчевым) против автора «Мёртвых душ» оказалась Александра Осиповна Смирнова-Россет. 3 ноября 1844 года она оповестила писателя: «У Ростопчиной при Вяземском, Самарине и Толстом разговорились о духе, в котором написаны ваши „Мёртвые души“, и Толстой сделал замечание, что вы всех русских представили в

отвратительном виде, тогда как всем малороссиянам дали вы что-то вселяющее участие, несмотря на смешные стороны их; что даже и смешные стороны имеют что-то наивно-приятное; что у вас нет ни одного хохла такого подлого, как Ноздрёв; что Коробочка не гадка именно потому, что она хохлачка. Он, Толстой, видит даже невольно вырвавшееся небратство в том, что когда разговаривают два мужика и вы говорите: „два русских мужика“; Толстой и после него Тютчев, весьма умный человек, тоже заметили, что москвич уже никак бы не сказал „два русских мужика“. Оба говорили, что ваша вся душа хохлацкая вылилась в „Тарасе Бульбе“, где с такой любовью вы выставили Тараса, Андрия и Остапа»<sup>[930]</sup>.

В филиппиках Американца наличествовала, по всей видимости, и глубоко запрятанная, «нутряная» неприязнь аристократа к худородному, неопрятному и чванливому бумагомарателю. Вышло, похоже, так, что невесть откуда взявшийся и вошедший в моду Николай Яновский-Гоголь стал для графа Толстого одним из одушевлённых символов наступивших пасмурных времён — века торжествующего хамства, хихиканья над святым и книг с базара; века, не шедшего ни в какое сравнение с благородной и ясной эпохой толстовской молодости. Расслышав единственно гоголевский смех над **русскостью**, Американец возмутился до глубины **живой души**, — и гнев ослепил Толстого. Обычно проницательный граф оставил без внимания и намёк хохла на «незримые, неведомые миру слёзы», и даже его «бойкую необгонимую тройку».

(На всякий случай скажем, что граф Фёдор Иванович был далеко не единственным хулителем «Мёртвых душ» и прочих произведений Н. В. Гоголя. Против малороссиянина в те годы возвысили голос, прибегая к различной аргументации, и Н. И. Надеждин, и иные авторитетные персоны.)

Патриотические настроения нашего героя, однако, не мешали ему бесперечь — и особенно в переписке — клеймить отечественные пороки и безалаберщину.

К сороковым годам покинули земную юдоль многие друзья Фёдора Ивановича Толстого. Вино и карты тогда тоже почти исчезли из его жизни. Тем не менее последние страницы биографии отставного полковника — четвёртый возраст человека, пора сведения концов с концами — были, как нам представляется, столь же содержательными и динамичными, как и начальные.

По сообщению Ф. В. Булгарина, в 1840 году граф с семейством долго пребывал в Петербурге<sup>[931]</sup>. Другими источниками данное мемуарное

свидетельство пока не подтверждено.

Зато доподлинно известно, что в сороковые годы граф усердно работал над воспоминаниями, где описывал свою жизнь и события, свидетелем и участником коих ему довелось быть.

«В Американце <...> важное движение человека; кажется, он воскрес или воскресает», — писал 20 января 1841 года В. А. Жуковский в дневнике. И уже на следующий день поэт собирался за что-то «искренно критиковать» друга <sup>[932]</sup>.

Осенью 1838 года, возвратившись из инспекционной поездки в Тамбовскую губернию, граф Фёдор Иванович стал подумывать о публикации сочинений Сарраньки и с этой целью приступил к разбору бумаг дочери.

Воспользовавшись рекомендациями знакомцев, он пригласил в сподручные молодого учителя московской Земледельческой школы Михаила Николаевича Лихонина. В столичных литературных кругах тот был известен как поэт и переводчик; его вирши, критические статьи и переводы время от времени печатались в «Московском телеграфе», «Сыне Отечества», «Московском вестнике» и других периодических изданиях. Особо ценили таланты Лихонина в редакции «Московского наблюдателя»; для этого славянофильского журнала Михаил Николаевич исправно переводил, по его собственному признанию, «все статьи с английского и некоторые с немецкого» <sup>[933]</sup>.

Именно такой, владеющий языками и не чуждый поэзии помощник и требовался записавшемуся в издатели Американцу.

Граф Фёдор Иванович жёстко настаивал на том, чтобы немецкие и английские стихи графини Сарры Толстой переводились на русский язык не как-нибудь, а *буквально*, то есть слово в слово, с сохранением всех «стихотворных вольностей» <sup>[934]</sup>, — и М. Н. Лихонин, для приличия подискутировав, уступил отцу поэтессы.

Действовали достигшие взаимопонимания соревнователи довольно быстро и слаженно, — и уже весной 1839 года, вскоре после Пасхи, кропотливая работа по подготовке издания была ими завершена.

Исследование архива покойной дочери явилось для Американца занятием отрадным и печальным одновременно. Минувшее, страница за страницей, проходило перед ним — и там, в опозитизированном минувшем, его милая чернобровая Сарра была как будто *живой*. Её чувства и мысли, ранее таимые, теперь обнаружились, стали чувствами и мыслями самого

графа Фёдора Ивановича. Проникаясь ими, наш герой, нимало не стыдясь сотрудника, рыдал — и тут же, не успев скомкать и убрать мокрый платок, умилялся и светился от счастья.

Тихая беседа с Сарранькой порою приводила и к «открытиям чудным». Можно себе представить, как забилося сердце Американца, когда среди прочих произведений графини вдруг нашлось стихотворение на английском языке, посвящённое ему, графу Фёдору Толстому:

Ты часто плакал, родитель мой, и огорчения убелили твои  
волосы.  
Нередко глубокое страдание терзало грудь твою;  
нередко надрывалось твоё благородное сердце.  
Я сама, твоё родное, нежно любимое дитя, стоила тебе многих  
слёз,  
нанесла твоему сердцу много ран, я, которая милее тебе,  
нежели кровь, обращающаяся в твоём сердце...

Это очень походило на обращение с того света — ужель пришло время и родной голос звал его туда?

Стихи и прозаические опыты Сарры Американец аккуратно распределил по двум томам (или частям). В первом поместились переводы завершённых произведений дочери, а в другом — её незаконченные стихи и проза, письма и черновые наброски. Фактически к передаче в типографию было подготовлено *полное* собрание сочинений графини.

М. Н. Лихонин написал для двухтомника небольшое «Предисловие переводчика», где подверг основательному, весьма профессиональному разбору творчество Сарры Фёдоровны Толстой. Его критика заключалась таким абзацем:

«Но, в оправдание замеченных нами недостатков в сочинениях нашей писательницы, вспомним, что она была русская, но писала на языках иностранных, которые изучила более из книг, нежели из самого быта и образа жизни тех народов, звуками коих выражала свои впечатления и чувства, взлелеянные на милой сердцу родине... Притом ей, ещё столь юной, никогда и не приходило в мысль, что поэтические цветы души её будут благоухать над безвременною её могилой!» <sup>[935]</sup>

Цензурные разрешения на печатание томов «Сочинений» были даны московским цензором И. М. Снегирёвым 26 мая и 6 июня 1839 года. На шмуцтитулах обеих частей книги издатель расположил стихи В. А.

Жуковского, адресованные ему, отцу почившей поэтессы. Первый том открывался «Биографией Сарры», которую составил, по всей вероятности, тоже граф Фёдор Толстой. В конце пронзительного жизнеописания автор пометил: «17-го мая 1839 года»<sup>[936]</sup>. Полагаем, что это всего-навсего дата завершения работы над очерком, не более того.

Американцу исполнилось тогда пятьдесят восемь лет.

«Сочинения в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой» были быстро и изящно отпечатаны в московской типографии С. Селивановского. Первый том избалованная столичная публика встретила в целом благосклонно. Читательский интерес подогревался и внелитературными факторами: трагической судьбой автора книги и конечно же тем обстоятельством, что отцом несчастной мечтательницы был всем хорошо известный человек — аморальный «ночной разбойник».

Второй же том, отпечатанный совсем мизерным тиражом, достался только «избранному кругу родных и друзей гр<афа> Ф. И. Толстого»<sup>[937]</sup>.

И тут произошло неожиданное: к Американцу стали обращаться лица, заимевшие первую часть «Сочинений» и желавшие ознакомиться с незавершёнными произведениями юной поэтессы. Так поступил, скажем, Александр Фомич Вельтман (1800—1870), помощник директора Оружейной палаты и уже весьма известный писатель (автор «Странника», «Кошечья бессмертного» и других романов). На его комплиментарное письмо граф Фёдор Иванович, «проливая сладкие слёзы», ответил 6 ноября 1839 года:

«Хотя 2-ой том произведений моей дочери печатался единственно для меня, — истинно для меня одного и, может быть, для нескольких человек ближайших родственников, её горячо любивших, но ваш отзыв, столь лестный, красноречивый выражениями и чувством, изъясненной мне в письме вашем на счёт меланхолических мечтаний моей Сарры: даёт мне право, — позволяет, приказывает мне сообщить и сей 2-ой том. В нём нет ничего замечательного в отношении литературном. Нет ничего полного, конченного. Этот весь том в отрывках, — это как бы эмблема кратковременной пролётной её жизни, несовершенной, не полной. Смерть унылым факелом своим осветила это произведение.

Но вы кой-где, в неполной фразе, встретите мысль, полную глубокой тоски, встретите вздох сетующей души — он <...> отдаётся в поэтической душе вашей. Одним словом: простите ослеплению несчастного отца, — тут нет, однако ж, родительской гордости, — нет; я был страстен к моей дочери, но, кажется, без ослепления.

Мне кажется, я вам доставлю удовольствие, сообщив сей 2-ой том.

Если же бы в этом и ошибся, то примите его как знак особенного моего сердечного к вам уважения, — примите его как вызов на личное знакомство, которого пламенно желает, милостивый государь, ваш покорный слуга Ф. И. Толстой»<sup>[938]</sup>.

Позднее Американец свёл-таки знакомство с расположившим его к себе А. Ф. Вельтманом — и общался с писателем в сороковые годы.

Изданный графом Фёдором Ивановичем двухтомник получил высокую литературную оценку сотрудников петербургских «Отечественных записок». И. И. Панаев вспоминал, что от своеобразных произведений Сарры Толстой «был тогда в восторге весь кружок»<sup>[939]</sup>. Сам В. Г. Белинский назвал графиню «особенно замечательной» среди женщин-писательниц и думал написать рецензию на московское издание, однако так и не осуществил этого намерения. Зато в 1840 году журнал поместил (в № 10) пространную статью М. Н. Каткова «Сочинения в стихах и прозе графини С. Ф. Толстой». Здесь автор очерка, размышляя (среди прочего) о мужском и женском началах суетного мира, пришёл к заключению, что стихи безвременно ушедшей девицы надобно принять за образец (!) сугубо женского поэтического творчества, определяющей сущностью коего является свободное излияние души.

Американцу, которого неотступно преследовала «грусть по Сарре»<sup>[940]</sup>, читать подобное было приятно. Он не уберёг дочери, но сделал всё от него зависящее, чтобы обессмертить хотя бы её имя.

Тоскуя по Сарре, Фёдор Иванович в какой-то момент потянулся к той, с кем дочь некогда сроднилась душой, — к её деревенской подруге Анне Волчковой, жившей по соседству. «Под влиянием горя, — вспоминала П. Ф. Перфильева, — он увидел в ней вторую Римму (то есть Сарру. — М. Ф.) и полюбил её так сильно, что о моём существовании почти забыл. Он осыпал Тоню (сиречь Анету. — М. Ф.) ласками, деньгами; даже хотел отдать ей имение, и не знаю, как удержался от этой несправедливости. Мне кажется, что этому воспрепятствовала графиня...»<sup>[941]</sup>

Да, графиня, любимая и ненавистная Дуняша, денно и нощно заступала нашему герою дорогу...

Смерть Сарры лишь на короткое время умирила супругов. Потом, по истечении траурного периода, столкновения Американца с женой возобновились. И возведение чужачки Анеты в фаворитки, разумеется, добавило масла в огонь.

А вскоре подыскался новый повод, и граф Фёдор Иванович с графиней

Авдотьей Максимовной в тысячный раз повздорили, — да так, как не ссорились никогда ранее.

Сладить с Авдотьей Максимовной, образумить жёнку главе семейства не удавалось. К каким бы мерам воздействия граф Фёдор Толстой ни прибегал, «предавшаяся ханжеству» цыганка жила по собственному разумению. «Утро проходило у неё в посещении высших духовных лиц, а с рядовыми монахами она обращалась свысока и знакомства с ними не водила, — писала П. Ф. Перфильева, — остальная часть дня проходила в разъездах по магазинам, где покупались редкие и дорогие вещи, совершенно не нужные»<sup>[942]</sup>.

При этом вещи у графини всегда котировались много выше, нежели люди, домашняя прислуга.

Издевательство Авдотьи Максимовны над хамами и привело к невиданному прежде скандалу.

О нём сообщила П. Ф. Перфильева в хронике «Несколько глав из жизни графини Инны». Есть основания думать, что дочь Американца, не стесняясь, рассказала тут о происшествиях, на самом деле потрясших толстовский дом. А для вящей убедительности она поместила в хронике (в главе «Мои отец и мать») подлинные (или, скорее, близкие к подлинным) письма своих родителей.

Известно, что Лев Толстой, прочитав автобиографическую рукопись Прасковьи Фёдоровны, «не спал всю ночь»<sup>[943]</sup>. Побавивалась печатать «вещь трудную» и сама хроникёрша. Правда о семейной жизни Американца была, что уж там говорить, слишком удручающая.

Однажды обнаружилось, что графиня систематически бьёт дворовых девушек «хлыстиком». Графу Камскому донесли об этом, равно как и о том, что под горячую руку матери иногда подвёртывалась и Инна, которая пыталась заступиться за крепостных. Оказался у Камского и пресловутый «хлыстик». А далее, по словам Инны, случилось следующее:

«Он, взбешенный, схватил хлыстик и ножик, который всегда лежал у него на столе, и вышел; с минуту я стояла в каком-то оцепенении, но, услышав крик, побежала за ним... Мне стало страшно! Мать стояла в дверях своей спальни, перекинувшись совершенно назад, и защищалась от ножа. Я бросилась между ними, оттолкнула графиню, которая упала на пол, а ножик попал мне в левый бок и ранил меня. Отец, увидав меня, опомнился, посадил меня на стул и пошёл в свою комнату. Я держалась за бок и была в каком-то тумане, ничего не понимая. Мать подняли и отнесли на постель, а Анна, наша *demoiselle de compagnie*<sup>[944]</sup>, которую я любила,

как сестру, отвела меня в кабинет, где сидел отец, закрыв лицо руками, и горько плакал. Когда я его увидела, у меня невольно вырвался крик: „Господи, когда же будет конец!“, и с этим словом совершенно потеряла сознание. Вы поймёте, что происходило в доме в это время. В передней люди сидели как мёртвые; девушки суетились, перебегая от одной больной к другой...»<sup>[945]</sup>

После этой позорной истории рассерженная графиня вознамерилась уехать «туда, откуда он меня взял», но в итоге переселилась из дома во флигель: «Она жила там месяц и в это время переписывалась со мною и отцом, но не хотела меня видеть». Затем Камская-старшая вернулась в дом, выделила себе отдельные покои и стала жить отшельницей. Её переписка с графом продолжалась; вот одна из эпистол графини — с весьма недвусмысленным намёком:

«Последний раз пишу к тебе и не смею назвать тебя мужем и другом. Ты меня видеть не можешь. Бог с тобою; на том свете увидимся. Вот уже три года, как я с тобою разлучена: не тело моё тебя любило, а душа, божественная и боготворящая тебя. Я подумала, что уже нет ли у тебя чего новенького.

Камская».

Из своего угла граф Камский слал ответные послания затворнице. Приведём образчик:

«Последнее твоё письмо убеждает меня в намерении более с тобою никогда не видаться. Оно мне доказывает, что ты решительно меня не понимаешь и понять не можешь. К тому же в этом письме есть гадости, от которых я, старый человек, краснею, и письмо твоё кинул в огонь. Разлучил нас с тобою твой адский нрав; может быть, я сам же виноват, но за то понёс сильное наказание и потому не упрекаю тебя, но вместе жить с тобою недостаёт сил. Несчастные на каторге имеют часы отдохновения, но я, вот уже около года, не имею ни одной минуты сладкого покоя. Если я по сей день не околел, то это надо приписать необыкновенному моему здоровью, а может быть, и Богу ещё угодно оставить меня на некоторое время для несчастной моей дочери.

Не трудись за меня молиться, молись за себя, но молись с сокрушённым и умилённым сердцем и смиренною душою. Тогда только молитвы приятны Богу. Молиться и питать злобу в сердце, хотя бы то было и к рабу своему, есть великое оскорбление вечной любви. Спаситель на кресте молился за злодеев.

От всей души желаю тебе успокоения.

Граф Камский»<sup>[946]</sup>.

«Нет возможности быть нам вместе», — уверял граф свою супругу в другом письме. Однако дальше деклараций Камский не шёл: расстаться с графиней у него тоже не было возможности. И спустя ещё какое-то время Камские-Толстые опять помирились. Никто из них так и не выкинул белого флага. Граница между двумя половинами дома, двумя ратоборцами сызнаова исчезла. «У них пошло всё по-старому, у меня тоже, то есть очень скверно», — подытожила свой рассказ о драме П. Ф. Перфильева<sup>[947]</sup>. (Льву же Толстому она написала в январе 1864 года: «Прочитавши „Графиню Инну“, я думала, что ты не удивишься, что у меня нервы и здоровье плохи, а голова работает как-то болезненно»<sup>[948]</sup>.)

А князю П. А. Вяземскому Американец едва ли не в каждом письме сороковых годов твердил во множественном числе: «Мои тебе весьма кланяются»; «Благодарим за дружескую твою точность». Или: «Жена и Поля <...> сердечно кланяются и благодарят тебя за твоё об них воспоминание»<sup>[949]</sup>.

О беспросветных семейных буднях, о всяческих «хлыстиках» и «ножиках» в переписке нашего героя нет ни единого намёка, ни упоминания.

Потеряв друг друга из виду после Бородинского сражения и памятной бутылки мадеры, И. П. Липранди и граф Ф. И. Толстой вновь — через три с лишним десятилетия! — сошлись весною 1844 года.

«Бывши опять в Москве и навестив А. Ф. Вельтмана, — рассказывал о нечаянном свидании Иван Петрович, — я встретил у него незнакомого старика, совершенно с седыми и густыми волосами. Хотя физиономия его казалась мне не чуждой, но я далёк был от мысли угадать, кто он. Разговор был общий. Наконец почтенный хозяин отрекомендовал нас одного другому. Почти в один голос мы спросили друг друга: не вы ли, не вы ли? и потом последовало, что в таком случае бывает. <...> Граф заметил мне, что шпензер князя<sup>[950]</sup> до сих пор у него, что видеть его часто вошло у него в привычку. На другой день взял он с меня слово у него обедать; он пригласил ещё почтенного ветерана нашей эпохи, Ф. Н. Глинку. На другой день мы с Вельтманом заехали по дороге к Фёдору Николаевичу и вместе отправились к графу. Я его нашёл тем же: он разливал для всех суп. Разговор наш заключался в воспоминаниях о князе, о его смерти...»<sup>[951]</sup>

Повстречаться и воскресить в памяти минувшее, посудачить о

безносой седым бойцам выпало за толстовским никогда не остывающим супом, в том доме, где хранилась их общая святыня — долгоруковский ратный сюртук с характерными бурыми пятнами. Сама судьба, изощрённая сочинительница романа жизни и устроительница его композиции, верно, решила побаловать довершающего свой век отставного полковника этим свиданием, светлым и грустным, во многом итоговым.

Когда же трогательная сходка инвалидов в символическом антураже состоялась, ещё один жизненный сюжет закруглился — и, как следствие, того сугубо земного, что *удерживало здесь Американца*, заметно поубавилось.

«Старею, болен, глуп и сам себе несносен», — признавался граф Фёдор Иванович Толстой<sup>[952]</sup>. Это, однако, не помешало Американцу совершить в ту пору ряд молодецких подвигов и даже очутиться «под уголовным судом»<sup>[953]</sup>. Причём судебное разбирательство по делу отставного полковника власти, возможно, так и не довели до какого бы то ни было формального окончания.

Начнём с достаточно заурадной «толстовской дикости».

В июне 1844 года граф отправился с семейством на модные тогда Ревельские воды. Там компанию Толстым составили графиня Е. П. Ростопчина и чета Вяземских<sup>[954]</sup>. Вера Фёдоровна и Пётр Андреевич отбыли с курорта раньше графа, в начале августа, и, как выразился позже Американец, с собою «увезли всю радость ревельской жизни». Граф Фёдор Иванович, проводив друзей, стал избегать общества отдыхающих, обходил стороной «Залон» (местный клуб), погрузился «в грустное какое-то одурение», с которым вдобавок «переплелась тоска по отчизне»<sup>[955]</sup>.

Развлёк себя Фёдор Толстой единственно тем, что однажды заехал в рожу не угодившему ему «пруссаку буфетчику Андерсену». В письме князю П. А. Вяземскому от 23 августа 1844 года наш герой отчитался о свершённой им казни басурмана в изысканных выражениях:

«Залон так мне опостылел, что и сам буфет потерял свою привлекательность; хотя верхняя небритая губа буфетчика имела свою прелесть. Наблюдатель может и по сей день видеть на оной глубоко уязвлённой губе резкой отпечаток патриархального духа Русского человека»<sup>[956]</sup>.

Выходка Американца не имела для него никаких последствий, чего нельзя сказать об ином эпизоде с его столь же активным участием.

Та, другая история началась задолго до «губы буфетчика» и продолжилась после ревельского инцидента — словом, она растянулась на годы.

Первая стадия толстовского уголовного дела совпала с приездом в Москву В. А. Жуковского, который 10 февраля 1841 года зафиксировал в дневнике: «У меня утром граф Толстой. Его новая история. Вероятно, опять попался. Как ни казни рука Провидения, а всё натуры не переделаешь. Того и гляди, что воротится на старое»<sup>[957]</sup>.

В распоряжении биографа ныне есть три версии случившегося — это рассказы А. И. Герцена в «Былом и думах» (часть вторая, глава XIV), актёра А. А. Стаховича в «Клочках воспоминаний» и самого графа Фёдора Ивановича.

По Искандеру, лично знавшему Фёдора Толстого, «проделка» Американца, которая «чуть было снова не свела его в Сибирь», заключалась в следующем: «Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Мещанин подал просьбу».

Некоторые детали диковинного происшествия попробовал уточнить А. А. Стахович: «После смерти страстно им любимой дочери, умной, образованной, полной талантов девушки, Т~~о~~лстой> в её память начал строить у себя в имении больницу, или богадельню, для крестьян. Подрядчик выстроил очень дурно. Вулкан забушевал, Американец по своему распорядился с мошенником подрядчиком, он приказал вырвать у него все зубы...»<sup>[958]</sup>

Отметим, что служитель Мельпомены не стал (в отличие от А. И. Герцена) делать из пострадавшего непорочного агнца. Стоит также подчеркнуть: ладно бы мещанин обманул графа в мелочах, — нет, он осквернил память графини Сарры Толстой. В понимании её родителя более тяжкого преступления быть просто не могло.

Из поданной Ф. И. Толстым в мае 1845 года записки на имя начальника III Отделения графа А. Ф. Орлова (она известна нам в копии<sup>[959]</sup>) выясняется, что помянутого московского мещанина звали Петром Ивановичем Игнатьевым. По мнению нашего героя, этого типа следовало публично наказать на городской площади. О том, какой карой он, Толстой, своевольно (действуя по принципу: «государство — это я») заменил законную торговую казнь, Американец в документе благоразумно умолчал. Хочется всё-таки надеяться, что неистовый граф удовлетворился удалением одного мещанского зуба<sup>[960]</sup>.

Щербатый Игнатъев ответил, чем мог: он подал прошение на высочайшее имя, в котором обвинил «отставного Полковника Графа Толстого в истязании, увечье, неплатеже следуемого ему жалованья, даже в грабеже его имущества, в вещах и деньгах состоящего».

И 3 февраля 1841 года из Петербурга в Москву было послано повеление «произвести строжайшее следствие».

В записке, адресованной А. Ф. Орлову, Американец дал своеобразную оценку принятому в Северной столице решению: «Государь, увлекшись чувством известной строгой Его справедливости, поставил в уровень Полковника Графа Толстого, который некогда служил не без чести Царю и отечеству, проливал за них кровь свою, с мещанином, который по делам своим должен бы был давно пролить свою кровь на торговой площади»<sup>[961]</sup>.

Повеление императора Николая Павловича доставили в Первопрестольную, с грозной бумагой ознакомили Американца, а тот в свою очередь рассказал о нависшей над ним беде близкому ко Двору В. А. Жуковскому. Их беседа состоялась, как видно из приведённой выше дневниковой записи поэта, утром 10 февраля 1841 года. Очевидно, пребывавший в «тревоге»<sup>[962]</sup> Фёдор Иванович обратился к нему с просьбой о заступничестве, и добрейший Василий Андреевич, вволю пожуриив старинного приятеля за очередное рукоприкладство, пообещал оказать графу посильную помощь.

Пообещав, В. А. Жуковский тут же исполнил сулёное. Спустя три дня, 13 февраля, он нанёс визит московскому гражданскому губернатору Ивану Григорьевичу Сенявину и по-свойски обсудил с ним толстовские коллизии. Губернатор не держал зла на графа Фёдора Ивановича и «дал добрую надежду» поэту. Тот, окрылённый, поспешил «с доброю вестью» к Толстому и с порога обрадовал старого шалуна. «День удачный», — отметил В. А. Жуковский в дневнике<sup>[963]</sup>.

«Толстой задарил полицейских, задарил суд, и мещанина посадили в острог за ложный извет». Так, одной фразой, охарактеризовал А. И. Герцен следующую стадию толстовского дела. В чём-то Искандер был отдалённо прав: действительно, Американец, как мы теперь знаем, заручился поддержкой влиятельных лиц. Однако автор «Былого и дум» весьма существенно исказил ход расследования.

Оказывается, Петра Игнатъева упекли «в острог» отнюдь не в 1841 году и вовсе не за «извет» на графа Фёдора Толстого, как уверял читателей А. И. Герцен. И по срокам, и по части процедуры всё обстояло иначе.

В 1841 году мещанин «от следствия уклонился»; попросту говоря, он,

почувяв недоброе, пустился в бег. В отсутствие истца разбирательство, которому российский император дал «законное направление», приостановилось. А уже готовый (при поддержке сильных заступников) оправдаться Американец оказался в двойственном положении: выдвинутые против него обвинения не были ни доказаны, ни опровергнуты.

Около четырёх лет об оскорблённом мешанине не было ни слуху ни духу. «В течение сего времени и не оставляя своего промысла, — сообщил граф Ф. И. Толстой А. Ф. Орлову в мае 1845 года, — Игнатъев оплутал какого-то помещика Тверской губернии, откуда и препровождён по пересылке в Московскую тюрьму. Заточение Игнатъева наконец дало возможность начать следствие. Оно восприняло деятельный ход: с Графа Толстого взяты были письменные ответные пункты; он только требовал очной ставки, которая бы вполне доказала лживость доноса»<sup>[964]</sup>.

Тут и вмешался в расследование Николай Филиппович Павлов (1803–1864), человек сомнительного происхождения<sup>[965]</sup>, однако полномочный чиновник и писатель с именем.

Он с 1842 года служил в канцелярии московского генерал-губернатора и осуществлял «надзор за ходом арестантских дел»<sup>[966]</sup>. Периодически объезжая переполненные столичные каталажки, коллежский секретарь Н. Ф. Павлов, как сказано в солидной энциклопедии, «хлопотал об освобождении безвинно пострадавших»<sup>[967]</sup>. Озабочился Николай Филиппович и судьбой Петра Игнатъева, стал покровительствовать угнетённой невинности, — а потом поделился с А. И. Герценом своими соображениями.

В «Былом и думах» устная повесть чиновника преобразилась в такой текст:

«В это время один русский литератор, Н. Ф. Павлов, служил в тюремном комитете. Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку: дело клонилось явным образом к его осуждению. Но русский бог велик! Граф Орлов написал князю Щербатову<sup>[968]</sup> секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтобы не дать такого *прямого торжества низшему сословию над высшим*. Н. Ф. Павлова граф Орлов советовал удалить от такого места... Это почти невероятнее вырванного зуба. Я был тогда в Москве и очень хорошо знал неосторожного чиновника»<sup>[969]</sup>.

Версия А. А. Стаховича в данном пункте короче; в то же время она почти дословно совпадает с искандеровской: «Граф Закревский затушил

это дело»<sup>[970]</sup>.

И здесь демократические изобличители Американца и высшей администрации империи поведали публике, мягко говоря, не всю правду.

Они, в частности, утаили от читателей, что «филантроп и аристократ 12-го класса» (так охарактеризовал наш герой Н. Ф. Павлова) весной 1845 года не ограничился изучением дела мещанина: он настоял на освобождении Петра Игнатьева. А мещанин, покинув узилище, поступил привычным для него макар — «тотчас убежал».

Полиция же если и принялась искать беглеца, то весьма лениво, более для видимости.

«Следствие опять остановилось, и граф Толстой поднесь тяготится под бременем оною, не предвидя его окончания; семейство его скорбит, свобода его стеснена; он не может даже оставить Москвы, что было бы необходимо для тяжело больной его дочери, — писал Американец графу А. Ф. Орлову. — Неужели это неприменимый плод той справедливости, которая столь любезна сердцу правдивого нашего Царя! Но Толстой не ропщет, он только просит Начальство обратить внимание на столь вопиющее дело, благоговей пред волю и благими намерениями Государя»<sup>[971]</sup>.

(Как и в случае 1829 года с подпоручиком Ермолаевым<sup>[972]</sup>, наш герой позволил себе завуалированную, приправленную тонкой иронией критику тех, кого критиковать негоже.)

К сожалению, А. И. Герцен, а за ним и А. А. Стахович умолчали не только о повторном бегстве приткого мещанина, но заодно и о том, что у толстовского дела было занятное, в корне меняющее ситуацию, продолжение.

Цитированную выше записку, адресованную А. Ф. Орлову, Американец сочинил 22 мая 1845 года. События следующего за тем дня вынудили графа Фёдора Ивановича сделать очень существенное прибавление к документу. Можно предположить, что наш герой дополнил записку в двадцатых числах того же месяца.

Вот это дополнение — одна из вершин эпистолярного творчества Фёдора Ивановича Толстого:

«Записка сия составлена 22 Мая и теперь принимает некоторое изменение. Не в укор Московской полиции, начисто объявившей невозможность отыскать бежавшего мещанина Игнатьева, Граф Толстой сам 23-го Мая среди белого дня поймал его в Московских улицах и отдал под стражу в будку, откуда и доставлен он к Московскому Обер-Полицмейстеру.

Граф Толстой покорнейше просит Высшее Начальство, как великую милость, — положить предел нежной филантропии Г<осподина> Кол<лежского> Секретаря Павлова, предписав Московским властям держать мещанина Игнатьева, может быть, связанного узами кровного родства или сердечной дружбы с помянутым Павловым, — под строгим караулом, дабы кончить почти пятилетнее следствие и тем облегчить участь Графа Толстого и, паче того, исполнить волю Государя Императора»<sup>[973]</sup>.

Полагаем, что высшие чины тайной полиции могли и не сдержаться, прыснуть со смеху, читая такие строки.

Смех смехом, но как и когда удалось полицейским и прочим сановникам «затушить дело» Американца, начатое по повелению царя, — до сего времени не ясно.

Вскоре после отправки записки А. Ф. Орлову, 23 июня 1845 года, наш герой сообщил князю П. А. Вяземскому: «Я получил письмо от Г<осподи>на Дубельта, от имени Графа Орлова: оно весьма для меня удовлетворитель<но>, и я счёл нужным тебя об этом известить. Любезность же Дубельта совершенно замечательна, при случае вырази ему мою чувствительнейшую благодарность, — из оной, конечно, тебе принадлежит добрая половина»<sup>[974]</sup>. (По-видимому, помянутая толстовская записка была доставлена в 111 Отделение при посредничестве вездесущего князя Петра Андреевича.)

Однако и через двенадцать месяцев, в письме от 19 июня 1846 года, граф Фёдор Иванович пенял другу, звавшему его опять в Ревель: «Ты забыл, что свобода моя стеснена, я под уголовным судом...»<sup>[975]</sup>

Шёл уже шестой год с той поры, как граф Фёдор Толстой показал мещанину, где раки зимуют...

В общем, гладко и хлёстко получилось разве что у А. И. Герцена и А. А. Стаховича. Источники же воссоздают иную, более объективную картину: за полгода до смерти Американца дело его, несмотря на закулисные манёвры и «горячее предстательство» партизан, закрыто ещё не было и, соответственно, в середине 1846 года близкого торжества аристократической партии над «низшим сословием» не предвиделось.

«Время горячей жизни <...> невозвратно миновалось», решающая «перемена <...> висит на носу»<sup>[976]</sup>.

Таковым, судя по письмам, было господствующее настроение графа Фёдора Ивановича в 1845–1846 годах. Поимка негодяя Петра Игнатьева — очевидно, последнее масштабное деяние Американца, его лебединая песнь.

Шутка ли сказать: он полонил неуловимого мешанина в шестидесятитрёхлетнем возрасте.

Летом того же 1845 года к нашему доблестному герою наконец-то возвратился от П. А. Вяземского альбом Полиньки Толстой. В девичий журнал князь вписал не традиционный мадригал, а длинное философическое стихотворение. «Дочь была обрадована Альбомом и восхищена твои<ми> стихами», — отвечивал граф Фёдор Иванович автору 5 сентября 1845 года <sup>[977]</sup>.

От альбомной пьесы князя граф Толстой, конечно, пришёл в восторг — да тут же и призадумался:

Жизнь наша — повесть иль роман;  
Он пишется слепой судьбою  
По фельетонному покрою,  
И плана нет, и есть ли план,  
Не спрашивай... Урок назначен,  
Концы с концами должно свести,  
И до конца роман прочесть,  
Будь он хорош иль неудачен.  
Иной роман, иная быль,  
Такой сумбур, такая гиль,  
Что не доищешься в нём смысла.  
Всё пошло, криво, без души —  
Страницы, дни, пустые числа,  
И под итогом нуль пиши... <sup>[978]</sup>

Многое в мастерских рифмах друга Американец вполне мог принять — и, верно, принял — на личный счёт, но только не стих

Всё пошло, криво, без души...

Нет, свою «малоутешительную» жизнь он и прожил, и доживал со вкусом, куда уж прямее и душевнее, словом — без пустот и совсем не пошло. И покидать с нулём мир, где, как постепенно узналось, есть Отечество и его враги, рай и ад, экватор, Английский клуб и камчадалы, безумные дети и умные обезьяны, придуманные величайшими гениями карты, пистолеты и вина; где любовь оборачивается ненавистью, ведро —

бурей, факт — басней и наоборот; где люди высоко взлетают и низко падают, в любых широтах пожирают себе подобных, а роз и шипов было и будет в лучшем случае поровну, — ему явно не хотелось <sup>[979]</sup>.

Выполненный в те месяцы художником Карлом Яковлевичем Рейхелем (рисовавшим, кстати, и князя П. А. Вяземского) портрет графа Фёдора Ивановича Толстого стал впоследствии самым известным, «каноническим» изображением Американца.

Это портрет старого, утомлённого и больного, но отнюдь не апатичного, потерявшего интерес к жизни человека.

Граф Толстой запечатлён на полотне почти в той же позе, что и на портрете 1803 года работы неизвестного художника <sup>[980]</sup>. (Тогда, как мы помним, молодой Преображенский офицер только вступил в жизнь, получил первые чины и штрафы, готовился к кругосветному путешествию.)

Его левая рука (с миниатюрным перстнем на мизинце) так же возложена на спинку кресла, столь же изыскан сюртук и ухожена седая куафюра Толстого. Ещё не потухшие глаза графа широко, как встарь, открыты и неизъяснимо притягательны. Кому-то может показаться, что источником света, озаряющего высокий толстовский лоб и его лицо, исхудалое и умное, являются как раз эти глаза, заодно сверлящие остановившегося у картины зрителя.

Трубка же, крепко зажата в правой руке, и застывшая подле кресла собака <sup>[981]</sup> дают наблюдателю некоторое представление о пристрастиях нашего героя.

Сравнивая портреты, созданные художниками с промежутком в сорок три года, нельзя не заметить и разности между ними. Два отличия рейхелевского творения от изображения графа Фёдора Толстого в молодости особенно существенны и красноречивы.

Прежде всего, на картине 1846 года переиначены декорации: здесь фон картины сумеречный и ровный, покойный, без былых огненных бликов — намёков на грядущие бури.

Метаморфоза произошла и с галстуком графа: в начале века он был белым, а теперь, в 1846-м, заменён на тёмный.

Столь тёмный, что издали его вполне можно принять за чёрный.

Портрет работы К. Я. Рейхеля — предпоследняя страница биографии графа Ф. И. Толстого. Перевернув её, наш герой, не мешкая, двинулся к уготованному каждому финалу...

Спустя несколько месяцев после романтической встречи с Американцем И. П. Липранди опять приехал в Москву. И старинные друзья снова сошлись. «Те же свидания, те же воспоминания; он обещал мне летом, в деревне, показать свои записки, как оказывалось, верные с моим рассказом», — сообщил в мемуарах Иван Петрович <sup>[982]</sup>.

Однако летом 1845 года генерал-майор, обременённый делами важной службы, так и не добрался до Первопрестольной и до сельца Глебова. Позднее И. П. Липранди очень жалел об этом.

Осенью 1845 года у графа Фёдора Ивановича возобновились приступы застарелой болезни, которые быстро довели его «до крайнего изнеможения» <sup>[983]</sup>. Зимой отставной полковник ещё кое-как держался, спорадически хорохорился, даже позировал немцу-художнику, но к весне хворь всё же «сшибла» его с ног.

А дальше события развивались стремительно. Ничего эпического или эпатазирующего публику в них, увы, не было — да и быть не могло.

Американец слёг в постель и целых четыре месяца «почти не оставлял болезненный одр». «По участию, которое ты принимаешь во мне, — писал граф, собрав остаток сил, П. А. Вяземскому 19 июня 1846 года, — уповательно, ты пожелаешь узнать и о свойстве недуга: по уверению моего врача (хотя и первоклассного, но которому я не верю), болезнь моя состоит в *ревматическом поражении пищеварительного органа*» <sup>[984]</sup>.

На лето семейство Толстых перебралось в подмосковную, на свежий лесной воздух. Однако там, в сельце Глебова, Американцу становилось всё хуже и хуже. Руки не слушались его, работа над записками замерла. Вскоре он перестал подниматься, постоянно лежал на балконе, глядел, не отрываясь, в даль. Жена и дочь круглосуточно не отходили от него.

«Граф таял не по дням, а по часам; силы его совершенно оставили» <sup>[985]</sup>.

В конце лета долго сопротивлявшаяся семья уступила настояниям докторов. Графа Фёдора Ивановича перевезли, соблюдая всяческие предосторожности, в столицу. В хронике «Несколько глав из жизни графини Инны» об этом времени написано следующее:

«Графа привезли в Москву в самом жалком положении. Он не мог уже больше сидеть, говорил как-то отрывисто, задыхался от кашля, страшно похудел и совершенно упал духом. <...> Кто видел отца месяц тому назад, уже не узнавал его по приезде в Москву. Это был оловянный человек, в котором жизнь поддерживалась только лихорадочным состоянием. Глаза его неестественно блестели, полуоткрытый рот, с пересохшими губами, просил чего-то так невнятно, что решительно не было возможности понять. Эта гордая голова

спустилась на грудь, не от тяжёлых дум, а от страдания, и величественная осанка сгорбилась. Смотри на него, я приучила себя к мысли, что он должен скоро умереть...»<sup>[986]</sup>

Только толстовские глаза ещё не сдавались...

Тайком от матери Полинья вызвала письмом из Царского Села графиню Прасковью Васильевну Толстую, и та не замедлила приехать к умирающему другу.

Теперь у постели Американца поочерёдно дежурили три самых близких ему человека.

Ночные часы обычно выпадали на долю дочери графа. «Я <...> смотрела, как он спал, только спал он не тем сном, который восстанавливает человека, а тем, который отнимает последние силы, притупляя чувства и разум, — вспоминала Прасковья Фёдоровна. — Грудь его редко поднималась, и это движение сопровождалось каждый раз глухим, болезненным стоном. Боже мой, думала я, как страдания изменили его; где эта бодрость, сила нравственная и физическая? И он поддался болезни!»<sup>[987]</sup>

Если граф не спал, то он усердно и беззвучно молился. «До последней минуты он не переставал молиться», — сообщила Авдотья Максимовна Толстая князю П. А. Вяземскому в письме от 3 февраля 1847 года и добавила: «Имею душевную отраду то, что он умер таким Христианином»<sup>[988]</sup>.

А Пётр Иванович Бартенев пошёл дальше графини и поведал читателям своего журнала анекдот об Американце: тот, мол, «умер, стоя на коленях и молясь Богу»<sup>[989]</sup>. (Возможно, данную легенду сочинил сам редактор-издатель «Русского архива».)

Поздней осенью Американец решил исповедаться и причаститься. В воспоминаниях А. А. Стаховича по этому поводу сказано: «Я слышал, что священник, исповедавший умирающего, говорил, что исповедь продолжалась очень долго и редко он встречал такое раскаяние и такую глубокую веру в милосердие Божие»<sup>[990]</sup>.

Всё было сделано, черта подведена.

До окончания Филипповского поста и до великого праздника шестидесятичетырёхлетний отставной полковник Толстой не дотянул.

В ночь на вторник, 24 декабря, граф Фёдор Иванович стал отходить. «Часам к 10-ти утра, — писала дочь, — отец начал хрипеть и желтеть; глаза его открылись и имели какой-то стеклянный вид, а руки посинели»<sup>[991]</sup>.

И через час татуированного графа, закрывшего вежды, перенесли на

стол<sup>[992]</sup>.

В бумаге Московской духовной консистории констатировалось: граф Фёдор Иванович Толстой «скончался 24 декабря 1846 года, отпевали его в церкви Трёхсвятительской у Красных ворот»<sup>[993]</sup>.

Погребли же нашего героя на Ваганьковском, — как и положено, на третий день, уже после Рождества. «Тот, кому случалось хоронить дорогих ему людей, поймёт то страшное чувство одиночества, пустоту сердца, которое испытываешь при входе в дом, приехав с кладбища; точно ищешь кого-то, всё слышится, будто он вас зовёт. Но потом всё вдруг исчезнет, и, опомнившись, вы поймёте своё горе», — делилась своими воспоминаниями Полинья<sup>[994]</sup>.

Кое-кто в те печальные дни заехал к вдове и дочери «с светским участием», но вообще о толстовской смерти в городе витийствовали мало, да и витийствовали-то по-всякому.

Зато когда весть о кончине Американца дошла до В. А. Жуковского, тот сумел найти подходящие слова и отписал А. Я. Булгакову:

«В нём было много хороших качеств, мне лично были известны одни только эти хорошие качества; всё остальное было ведомо только по преданию; и у меня всегда к нему лежало сердце; и он всегда был добрым приятелем своих приятелей»<sup>[995]</sup>.

Жаль, что строки Василия Андреевича так навеки и остались фрагментом частного, мало кому известного и ни на что не влияющего письма.

Прошли годы, миновались десятилетия. Покинула сей мир вдова графа<sup>[996]</sup>, потом умерла и его дочь<sup>[997]</sup>. Их тела предали земле на том же Ваганьковском кладбище, рядом с прахом нашего героя.

После кончины в 1887 году Прасковьи Фёдоровны Перфильевой родственники воздвигли над семейной могилой памятник с чёрным крестом на вершине. У красноватого каменного надгробия четыре грани, на гранях высечены скупые сведения о почивших супругах, о Сарре и Полинье<sup>[998]</sup>.

Американцу досталась тыльная сторона монумента. Потомки пожаловали его такой эпитафией:

Под сим памятником  
положено тело

графа  
Феодора Ивановича  
ТОЛСТАГО  
скончавшагося 24 декабря 1846 года  
на 63 году в 11 часов утра

Даже здесь, в некрополе, люди умудрились погрешить против истины:  
они взяли и сократили эту удивительную жизнь на два года.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Прошло сто лет — и что ж осталось  
От сильных, гордых сих мужей,  
Столь полных волею страстей?*

*А. С. Пушкин*

***Fugit irreparabile tempus***<sup>[999]</sup>.

Под холмом, на котором до сих пор стоит посреди озёр пригожее Глебово, течёт, как и встарь, речка Маглуша, питаемая студёными родниками. К её прозрачной воде почти вплотную подступает прадедовский хвойный парк, разбитый на пологих склонах холма в незапамятные времена. А в соседнем Филатове (куда полчаса ходу) ютятся развалины церкви Рождества Христова<sup>[1000]</sup>.

Вот, собственно, и всё, что хоть как-то связывает век нынешний с веком минувшим, с теми старосветскими годами, когда здесь, в собственном имении, предавался думам и «пьянолению» татуированный полковник граф Фёдор Иванович Толстой, «одна из замечательнейших русских фигур пушкинской эпохи»<sup>[1001]</sup>, «бесспорно, один из самых умных современников таких гигантов, как Пушкин и Грибоедов»<sup>[1002]</sup>.

Насколько непохоже Глебово наших дней на толстовское сельцо второй четверти XIX столетия — настолько и подлинная биография «Американца и цыгана», реконструированная по документам, отличается от экзотической легенды о нём.

Ради утверждения этой «низкой истины» и трудился пристрастный автор данной книги.

*2008–2010. Москва — Глебово*

## ПРИМЕЧАНИЯ

### Список сокращений.

Архангельская-1 — Архангельская Т. Н. Участник Отечественной войны 1812 года граф Ф. И. Толстой // Бородино и наполеоновские войны: Битвы, поля сражений, мемориалы: Материалы Международной научной конференции, посвящённой 190-летию Бородинского сражения. Бородино, 9–11 сентября 2002 г. М., 2003.

Архангельская-2 — Архангельская Т. Н. Ф. И. Толстой-Американец: Легенды и документы //Л. Н. Толстой и судьбы современной цивилизации: Материалы XXIX Международных Толстовских чтений. Ч. 2. Тула, 2003.

Архангельская-3 — Архангельская Т.Н. Ф. И. Толстой — сват А. С. Пушкина //А. С. Пушкин в Подмосковье и Москве: Материалы VIII Пушкинской конференции 18–19 октября 2003 года в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина. Большие Вязёмы, 2004.

Архангельская-4 — Архангельская Т. Н. Два документа участника Бородинского сражения графа Ф. И. Толстого (Американца) // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XI Всероссийской научной конференции. Бородино, 8–10 сентября 2003 г. Можайск, 2004.

Архангельская-5 — Архангельская Т. Н. Граф Ф. И. Толстой (Американец) — ополченец 1812 года из Калужской губернии // Отечественная война 1812 года и российская провинция: События. Люди. Памятники. Малоярославец, 2004.

Архангельская-6 — Архангельская Т. Н. Новые документы о военной судьбе гр<афа> Ф. И. Толстого в 1812 г.// Яснополянский сборник. 2004: Статьи. Материалы. Публикации. Тула, 2004.

Биография Сарры — < Толстой Ф. И> Биография Сарры // Сочинения в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой. Ч. 1. М., 1839.

Булгарин — Воспоминания Фаддея Булгарина: Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. Ч. 5. СПб., 1848.

ВЕ — Вестник Европы.

Вигель-1, Вигель-2 — Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 кн. М., 2003.

ВПК — Временник Пушкинской комиссии.

Граббе — Из памятных записок графа Павла Христофоровича Граббе. М., 1873.

Д. — дело.  
Ед. хр. — единица хранения.  
Жуковский — Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 14: Дневники; Письма-дневники; Записные книжки. 1834–1847. М., 2004.  
ИВ — Исторический вестник.  
К. — картон.  
Каменская — Каменская М. Воспоминания. М., 1991.  
Крузенштерн — Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». М., 2008.  
Л. — лист.  
Липранди — Липранди И. П. Замечания на Воспоминания Ф. Ф. Вигеля. М., 1873.  
Лисянский — Лисянский Ю. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на корабле «Нева». М., 2008.  
ЛН — Литературное наследство.  
Марин — Марин С. Н. Полное собрание сочинений. М., 1948.  
НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки.  
НЛО — Новое литературное обозрение.  
ОА — Остафьевский архив князей Вяземских.  
ОВ — Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. М., 2004.  
Оп. — опись.  
ПВС-1, ПВС-2 — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974.  
ПД — Пушкинский Дом (Институт русской литературы Российской академии наук).  
ПиС — Пушкин и его современники.  
Поликовский — Поликовский А. Граф Безбрежный: Две жизни графа Фёдора Ивановича Толстого-Американца. М., 2006.  
РА — Русский архив.  
РВ — Русский вестник.  
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства. РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив. РС — Русская старина.  
Св. — связка.  
СЗК — Вяземский П. А. Старая записная книжка. М., 2003.  
С. Л. Толстой — Толстой С. Л. Фёдор Толстой Американец. М., 1990.  
Ф. — фонд.  
Ч. — часть.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### I. ИЗ СТИХОВ К ГРАФУ Ф. И. ТОЛСТОМУ

За пределами публикуемого ниже поэтического корпуса 1800–1830-х годов остались стихотворные произведения разных лиц, в которых имя графа упоминается лишь вскользь, а также сочинения (А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, etc.), где Ф. И. Толстой-Американец фигурирует в облики литературного персонажа.

**С. Н. Марин**

#### *ОТВЕТ НА ПИСЬМО К ГР<АФУ> ТОЛС<ТОМУ>*

Сократа ученик — друг всех Алцибиадов,  
Злодей ефрейторства, гонитель вахт парадов —  
Быв — гвардии офицер, армейской, и матрос,  
Которого теперь рок в гарнизон занёс;  
Где живучи от всех мирских сует свободен,  
Забыв печали все, фельдфебельшей доволен.  
Любя приятелей ты вспомни<л> Марина.  
Скажи однако ж мне какая сатана,  
Шепнула там тебе, что здесь я утешаюсь,  
И что в столице я как в масле сыр катаюсь,  
Что всё лелеет здесь, всё веселит меня,  
И что мне новой день милей прошедша дня.  
Ошибся граф! Когда настроив лирны струны,  
Воспел меня назвав ты баловнем фортуны;  
Или Толстой, кругом объехав белой свет,  
Не знаешь ты ещё что счастья в свете нет.  
Когда же ты его нашёл где за морями,  
То не скрывай сего пред верными друзьями.  
Скажи мне, где и как — и парусы подняв  
Мы пустимся в моря с тобой любезный граф!  
И бури все презрев, презрев дожди, ненастье,  
За тридевять земель — пойдём искать мы щастье.

Но пусть готовится к принятию нас флот;  
А между тем хочу писать к тебе в Нейшлот.  
Сказать тебе что я — всё я — лишь только стал потолще,  
Что горести души прибавилось побольше.  
С тех самых пор как мы расстались с тобой,  
Я занимаюсь здесь службою одной.  
Веселье изредко мои встречают взгляды;  
А видят всякой день лишь в караул наряды.  
Нет писем ласковых — а Сидоров рапорт  
Лишь только что проснись, ко мне тотчас несёт.  
Не вижу в нём увы! я имя дорогова;  
Читая прозвище и имя вестовова.  
Поверь что счастливым себя не назову,  
Коль с ротой в строй иду на место randevу.  
Не слышу арий я, не езжу век на балы,  
Хожу лишь в караул и слушаю сигналы.  
Хотел бы иногда я сбегать на Парнас,  
Но явится Утков и подаёт приказ.  
Не рад хоть, да готов, и при-полку дежурю;  
Стараясь разбить всех должностей сих бурю.  
Я с просьбой к Розену — но что ж? — и тут съел гриб.  
Он занят, у него товарищем Полиб.  
Ответу от него не можно тут добиться;  
Придётся с музами опять мне распростится,  
Забыть все умные отборные слова,  
И помнить лишь равняйся — и от ноги раз-два.  
Вот все занятия — вот как проходит время  
Не вижу право я — любовных дел беремя,  
О коих говоришь в приятельском письме,  
Не без греха подчас бывает на уме.  
Влюблён признаться я — но счастье ль то не знаю;  
Об милой думаю, об милой я вздыхаю,  
И неразлучно быть хотел бы с ней всегда.  
Нельзя исполнить то — вот новая беда.  
Размыкать можно ли толь страшную кручину.  
Тут жалобы пойдут на грозную судьбину.  
Кричу чтоб день прошёл, настала б темна ночь.  
Но ночью легче ли — от глаз бежит сон прочь.  
А естли и усну хоть час от утомленья,

Всё вижу ужасы, мечтаю привиденья.  
Застынет в теле кровь и душит домовой,  
Гераков прозою, стихами Шаховской.  
Такими дух во мне мечтаньями томится,  
Что даже иногда.....приснится.  
Проснусь — и поутру не менее хлопот.  
Бумаге тут беда и перьям перевод;  
Но всё пишу не так и мысли не клеятся.  
Так счастьем может ли такая жизнь назваться.  
Таланту не дано ни в службе ни в любви,  
Так баловнем меня друг милой не зови.  
Когда же счастье то, живу в большом что свете,  
И езжу четвернёй в наёмной я карете,  
Что в комнате моей с фоцетами стекло,  
Ламсерт даёт духи, помада от Дюкло;  
Что сплю за ширмами и пью я из фарфору,  
И равен чином я армейскому майору:  
Что камердинер мой так чёрен как сапог,  
Я счастье в том не чту — и в том свидетель Бог.

**1806**

*(Марин С. Н. Полное собрание сочинений / Критико-биограф. очерк, научн. описание рукописей, ред. и коммент. Н. Арнольд. М., 1948. С. 103–105)*

**Д. В. Давыдов**

**1811-ГО ГОДУ**

Толстой молчит! — неужто пьян?  
Неужто вновь закуралесил?  
Нет, мой любезный грубиян  
Туза бы Дризену отвесил.  
Давно б о Дризене читал:  
И битый исключён из списков —  
Так видно он не получал

Толстого ловких зубочистков.  
Так видно, мой Толстой не пьян...

**1811**

***ДРУГУ-ПОВЕСЕ***

Болтун красноречивый,  
Повеса дорогой!  
Оставим свет шумливый  
С беспутной суетой.  
Пусть радости игривы,  
Амуры шаловливы  
И важных Муз сигклит  
И троица Харит  
Украсят день счастливый!  
Друг милый, вечером  
Хоть на часок покинем  
Вельмож докучный дом  
И к камельку подвинем  
Диваны со столом,  
Плодами и вином  
Роскошно покровенным  
И гордо отягченным  
Страсбургским пирогом.  
К нам созван круг желанный  
Отличных сорванцов,  
И плющем увенчанны,  
Владельцы острых слов,  
Мы Вакховых даров  
Потянем сок избранный!  
Прошу тебя забыть  
Нахальную уловку,  
И крепе, и понтировку,  
И страсть людей губить,  
А лучше пригласить  
Изменницу, плутовку,

Которую любить  
До завтра, может быть,  
Вчера ты обещался.  
Проведавши мой зов,  
На пир ко мне назвался  
Эрот, сей бог богов,  
Весёлых шалунов  
Любимец и любитель,  
Мой грозный повелитель  
До серебряных власов.  
Я место назначаю Почётное ему,  
По сану и уму:  
Прекрасного сажаю  
Близ гостыи молодой  
И тяжкий кубок мой  
Чете препоручаю.  
И пробка полетит  
До потолка стрелою,  
И пена зашумит  
Сребристою струёю  
Под розовой рукою  
Резвейшей из Харит!  
Так время пробежит  
Меж радостей небесных, —  
А чтоб хмельнее быть,  
Давай здоровье пить  
Всех ветрениц известных!

**1815**

*(Давыдов Денис. Полное собрание стихотворений/Ред. и примеч. В. Н. Орлова. Д., 1933. С. 95–97, 143)*

**В. Л. Пушкин**

**ОТВЕТ ИМЯНИННИКА НА ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДРУЗЕЙ**

Стихотворец я смиренный  
И судьбою угнетенный,  
Стар и дряхл я становлюсь  
И, любя, любви боюсь.  
Красота меня пленяет;  
Я молчу — тайком вздыхает  
Сердце, милые друзья!  
Жалкий именинник я.

Вы все молоды, здоровы;  
Всякий час утехи новы  
И веселия для вас:  
Я седею всякий час.  
Праздновать моё рождение  
Для меня не утешенье:  
Стар я, милые друзья!  
Жалкий именинник я.

Граф Толстой, и Князь Гагарин,  
Наш Астафьевский боярин [\[1003\]](#),  
Ржевский, Батюшков-Парни,  
Расцветают ваши дни!  
Вам всё шутки — мне ж всё горе,  
И моя подагра вскоре  
Ушибёт меня, друзья!  
Жалкий именинник я.

Ныне мне весна не в радость:  
Улетели счастье, младость,  
Улетела и любовь!  
Молодым не будешь вновь.  
Жизнь мне тягость, не веселье —  
Скоро быть на новоселье;  
Вам поклон, мои друзья!  
Жалкий именинник я.

Но хоть старость угнетает,  
Сердце Вера утешает,

И печать её со мной!<sup>[1004]</sup>  
Час не страшен роковой  
Никому, кто дышит Верой  
И всё прочее химерой  
Чтит, любезные друзья!  
Славный имянинник я.

1816

*К ГРАФУ Ф. И. ТОЛСТОМУ*

Что делать, милый мой Толстой?  
Обедать у тебя никак мне не возможно:  
Страдать подагрой мне велено судьбой,  
А с нею разъезжать совсем неосторожно!  
Проклятый Эскулап кричит, что быть беде,  
Советов если я его не буду слушать,  
И говорит: извольте кушать  
В Немецкой слободе!  
С больными, пухлыми ногами  
Вам непристойно быть в гостях!  
Смотрите: за плечами  
Стоит курносая с косою на часах —  
Махнёт... прощайтесь с стерлядями,  
С вином шампанским и с стихами!  
Не лучше ль грозную на время удалить,  
И с нами, хоть годок, пожить?  
Суровый вид врача, совет его полезный,  
Подагра более всего  
Велят мне дома быть. Ты не сердись, любезный!  
Я плачу, что лишён обеда твоего.  
Почтенный Лафонтен, наш образец, учитель,  
Любезный Вяземский, достойный Феба сын,  
И Пушкин, балагур, стихов моих хулителъ —  
Которому Вольтер лишь нравится один,  
И пола женского усердный почитатель,  
Приятный и в стихах и в прозе наш писатель,

Князь Шаликов, с тобой все будут пировать:  
Как мне не горевать?  
Вы будете, друзья, и пить и забавляться,  
И спорить и смеяться,  
А я сидеть один, с поникшей головой,  
И к вам лишь мыслями, увы, переноситься!  
Гораций нам твердит: час близок роковой —  
Спешите насладиться!  
Но Августов певец подагры не имел,  
И всем, что в жизни, наслаждался:  
Он Пирру, Хлою пел  
И в сладостных стихах Философом являлся!  
А мне не до того:  
Я мудрости такой и дара не имею;  
Здоровье для утех нужнее нам всего,  
И только я теперь его ценить умею.

**1816**

(Пушкин В. Стихи. Проза. Письма / Сост., вступ. ст. и примеч. Н. И. Михайловой. М., 1989. С. 41–43)

**Князь П. А. Вяземский**

**ТОЛСТОМУ**

Американец и цыган,  
На свете нравственном загадка,  
Которого, как лихорадка,  
Мятежных склонностей дурман  
Или страстей кипящих схватка  
Всегда из края мечет в край,  
Из рая в ад, из ада в рай!  
Которого душа есть пламень,  
А ум — холодный эгоист;  
Под бурей рока — твёрдый камень!  
В волненьи страсти — лёгкий лист!

Куда ж меня нелёгкий тащит  
И мой раздутый стих таращит,  
Как стих того торговца од,  
Который на осьмушку смысла  
Пуд слов с прибавкой выдаёт?  
Здесь муза брода не найдёт:  
Она над бездною повисла.  
Как ей спуститься без хлопот  
И как, не дав толчка рассудку  
И не споткнувшись на пути,  
От нравственных стихов сойти  
Прямой дорогою к желудку?  
Но, впрочем, я слышал не раз,  
Что наш желудок — чувств властитель  
И помышлений всех запас.  
Поэт, политик, победитель,  
Все от него успеха ждут:  
Судьба народов им решится;  
В желудке пища не сварится —  
И не созреет славный труд;  
Министр объелся: сквозь дремоту  
Секретаря прочёл работу —  
И гибель царства подписал.  
Тот натошак бессмертья ищет,  
Но он за драмой в зубы свищет —  
И свет поэта освистал.  
К тому же любопытным ухом  
Умеешь всем речам внимать;  
И если возвышенным духом  
Подчас ты унижаешь знать,  
Зато ты граф природный брюхом  
И всем сиятельным под стать!  
Ты знаешь цену Кондильяку,  
В Вольтере любишь шуток дар  
И платишь сердцем дань Жан-Жаку,  
Но хуже ль лучших наших бар  
Ценить умеешь кулебяку  
И жирной стерляди развар?  
Ну, слава богу! пусть с дороги

Стихомаранья лютый бес  
Кидал меня то в ров, то в лес,  
Но я, хоть поизбивши ноги,  
До цели наконец долез.  
О кухне речь — о знаменитый  
Обжор властитель, друг и бог!  
О, если, сочный и упитый,  
Достойным быть мой стих бы мог  
Твоей щедроты плодovитой!  
Приправь и разогрей мой слог,  
Пусть будет он, тебе угодный,  
Душист, как с трюфлями пирог,  
И вкусен, как каплун дородный!  
Прочь Феб! и двор его голодный!  
Я не прошу себе венка:  
Меня не взманит лов бесплодный!  
Слепого случая рука  
Пусть ставит на показ народный  
Зажиточного дурака —  
Проситься в дураки не буду!  
Я не прошусь закинуть уду  
В колодезь к истине сухой:  
Ложь лучше истины иной!  
Я не прошу у благодати  
Втереть меня к библейской знати  
И по кресту вести к крестам,  
Ни ко двору, ни к небесам.  
Просить себе того-другого  
С поклонами я не спешу:  
Мне нужен повар — от Толстого  
Я только повара прошу!

**19 октября 1818**

*(Вяземский П. А. Сочинения: В 2 т./Сост., подг. текста, вступ. ст. и коммент. М. И. Гиллельсона. Т. 1. М., 1982. С. 88–90)*

<b>А. С. Пушкин</b>
---------------------

**<ЭПИГРАММА>**

В жизни мрачной и презренной  
Был он долго погружён,  
Долго все концы вселенной  
Осквернял развратом он.  
Но, исправясь по не многу,  
Он загладил свой позор,  
И теперь он — слава богу  
Только что картёжный вор.

**1820**

(II, 142)

**<ЭПИГРАММА>**

Певец Давид был ростом мал  
Но повалил же Голиафа  
Кот<орый> б<егал> и крич<ал>  
И поклянусь не гро<мче> Гр<афа>.

**1822**

(Фомичёв С. А. Эпиграмма «Певец Давид был ростом мал...»: Текст, датировка, сатирическая направленность // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 26. СПб., 1995. С. 83)

**Графиня С. Ф. Толстая**

**<ГРАФУ Ф. И. ТОЛСТОМУ>**

Ты часто плакал, родитель мой, и огорчения убелили твои волосы.  
Нередко глубокое страдание терзало грудь твою; нередко надрывалось твоё

благородное сердце.

Я сама, твоё родное, нежно любимое дитя, стоила тебе многих слёз, нанесла твоему сердцу много ран, я, которая милее тебе, нежели кровь, обращающаяся в твоём сердце.

Часто, бывало, завывал холодный ветер, дни бывали мрачные и бурные; но ясен теперь вечер, согретый ясными лучами солнца.

Дорогие твои очи не будут уже проливать иных слёз — кроме радостных: ты пробудишься в радости и заснёшь в упоении!

< 1830-е гг. >

(Сочинения в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой. Ч. 1. М., 1839. С. 206–207; пер. с англ. М. Н. Лихонина)

**В. А. Жуковский**

### **<ИЗ ПИСЬМА К ГРАФУ Ф. И. ТОЛСТОМУ>**

Плач о себе: *твоё* мы счастье схоронили;  
Её ж на родину из чужи проводили.  
Не для земли она назначена была.  
Прямая жизнь *её* теперь лишь началась —  
Она уйти от нас спешила и рвалась  
И здесь в свой краткий век два века прожила.  
Высокая душа так много *вдруг* узнала,  
Так много тайного небес *вдруг* поняла,  
Что для неё земля темницей душной стала  
И смерть ей выкупом *из тяжких уз* была.

**1838**

(Сочинения в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой. Ч. 1, 2. М., 1839. Шмуцтитутлы)

## **II.. ИЗ АНЕКДОТОВ О Ф. И. ТОЛСТОМ-АМЕРИКАНЦЕ**

Полагаем, что читателям книги будет небезынтересно ознакомиться и с небольшой коллекцией *анекдотов* о графе Фёдоре Ивановиче Толстом.

Под анекдотами здесь подразумеваются рассказы его современников, достоверность которых определить уже вряд ли возможно, или же мемуарные сообщения, носящие заведомо легендарный характер.

#### **ИЗ «ЗАПИСОК» Ф. Ф. ВИГЕЛЯ**

Чего про него не рассказывали! Будто бы в отрочестве имел он страсть ловить крыс и лягушек, перочинным ножиком разрезывать их брюхо и по целым часам тешиться их смертельною мукою; будто бы во время мореплавания, когда только начинали чувствовать некоторый недостаток в пище, любезную ему обезьяну женского пола он застрелил, изжарил и съел; одним словом, не было лютого зверя, с коего неустрашимостью и кровожадностью не сравнивали бы его наклонностей.

*(Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 кн. Кн. 1. М., 2003. С. 347)*

#### **ИЗ РАССКАЗОВ Г. В. ГРУДЕВА**

Американец граф Толстой наплевал на полковника Дризена. Была дуэль, и Толстого разжаловали. Тогда он отправился в кругосветное плавание под командой Крузенштерна. Его наклонности скоро обнаружились, и он такую развёл игру и питьё на корабле, что Крузенштерн решился от него отделаться. Сделана была остановка на Алеутских островах; все сошли и разбрелись по берегу. Сигнал к отъезду был подан как-то неожиданно; все собрались и отплыли, как бы не найдя Толстого. При нём была обезьяна; с нею он пошёл гулять, а потом рассказывал для смеха, что первые дни своего одиночества он питался своей обезьяной. Адмирал Рикорд проходил мимо острова, на котором оставлен был граф Толстой, и взял его в Россию.

*(Русский архив. 1898. № 11. С. 437)*

#### **ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКОГО**

Рассказывали, что во время кругосветного плавания командир корабля, на котором находился граф Толстой, приказал бросить в море обезьяну, которую тот держал при себе. Но Толстой протестовал и просил командира позволить ему зажарить её и съесть. Впрочем, Толстой всегда отвергал

правдивость этого рассказа.

(Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 8. СПб., 1883. С. 504–505)

### **ИЗ «БЫЛОГО И ДУМ» А. И. ГЕРЦЕНА**

Он развил одни буйные страсти, одни дурные наклонности, и это не удивительно: всему порочному позволяют у нас развиваться долгое время беспрепятственно, а за страсти человеческие посылают в гарнизон или в Сибирь при первом шаге... Он буйствовал, обыгрывал, дрался, уродовал людей, разорял семейства лет двадцать сряду, пока, наконец, был сослан в Сибирь, откуда «вернулся алеутом», как говорит Грибоедов, т. е. пробрался через Камчатку в Америку и оттуда выпросил дозволение возвратиться в Россию. Александр его простил — и он, на другой день после приезда, продолжал прежнюю жизнь.

(Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 8. М., 1956. С. 243)

### **ИЗ «КЛОЧКОВ ВОСПОМИНАНИЙ» А. А. СТАХОВИЧА**

В моём детстве я видал Американца и слышал впоследствии о нём рассказы и анекдоты и на зелёном поле, и на необитаемом острове, куда будто бы высадил его капитан корабля за попытку взбунтовать экипаж; на острове оказались дикари, которые хотели принести Американца в жертву идолам, но во время жертвоприношения неожиданно приплыло другое племя, и после кровопролитного боя с туземцами, хотевшими полакомиться Т<олсты>м, победители освободили его и по белому цвету кожи возвели его самого в достоинство идола, и тому подобные нелепости. Рассказывали о возвращении Американца с острова с обезьяною, о её трагической смерти, оригинальной трапезе на её тризне; об исповеди (о чижике), и чего-чего только не творил Американец, и чего только о нём не рассказывали! Помню один характерный рассказ, но не ручаюсь за его достоверность.

Т<олстой> был дружен с одним известным поэтом, лихим кутилой и остроумным человеком, но остроты и каламбуры которого подчас бывали чересчур колки и язвительны. Раз, на холостой пирушке, один скромный молодой человек не вынес града насмешек и неожиданно для всех вызвал остряка на дуэль. Озадаченный и отчасти сконфуженный, поэт идёт в другую комнату, где метал банк Т<олстой>, который, взглянув на друга, по

его расстроенному лицу понял, что с ним случилась какая-нибудь неприятность. Т<олстой> перестал метать банк и подошёл к другу, который передал ему о *неожиданном пассаже*. Американец извинился перед партнёрами, передал кому-то метать банк, пошёл в другую комнату, подошёл к вызвавшему на дуэль его друга и, не говоря ни одного слова, дал ему пощёчину! Тут же решено было драться. Т<олстой> настаивал, чтобы дуэль была немедленно, оскорблённый только этого и желает; выбрали секундантов, у подъезда стояли тройки, на которых привезли цыган, поскакали за город — и через час Т<олстой>, убив наповал своего противника, вернулся, шепнул на ухо другу, что ему *стреляться не придётся*, и, извинившись перед играющими в том, что должен был на время уехать, сел и спокойно начал метать банк.

Он ударил ни в чём не повинного человека, потом убил его... И всё это для того, чтобы сохранить репутацию храбреца за своим другом, который, оказывается, не всегда умел быть храбрым.

(Стахович А. А. Клочки воспоминаний. М., 1904. С. 148–150)

#### ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ» М. Ф. КАМЕНСКОЙ

Американец Толстой воспитывался вместе с отцом моим в Морском корпусе. Когда папенька, по невозможности выносить морскую качку, вынужден был отказаться от назначения в кругосветное плавание вместе с Крузенштерном, то на его место в это плавание был назначен двоюродный брат его, гр<аф> Фёдор Иванович Толстой. Но, выехав в море, как человек неуживчивой и бешеной натуры, он скоро начал скучать от бездействия в тесной обстановке корабля. Чтобы развлечь свою скуку, он придумывал всевозможные непозволительные шалости, которые нарушали дисциплину корабля. Сначала Крузенштерн смотрел сквозь пальцы на проказы молодого графа, но скоро шалости его приняли такие размеры, что адмиралу пришлось в наказание сажать Толстого под арест... Но за каждое наказание, выйдя на свободу, он платил начальству новыми выходками, точно поклялся свести с ума весь экипаж. Как любитель сильных ощущений он занялся, например, тем, что перессорил поголовно всех офицеров и всех матросов... Да как перессорил? Хоть сейчас на ножи, так что вместо корабля, назначенного для мирного плавания по волнам, плавала клетка с разъярёнными тиграми... Всякую минуту могло случиться несчастье, а Толстой весело потирал руки: обыденная монотонность морской службы была нарушена. И ни одной-то души не оставлял в покое!

Старичок-священник, который находился на корабле, любил выпить лишнее и был очень слаб. У Фёдора Ивановича в голове сейчас созрел план новой потехи: напоил батюшку до «положения риз», и когда несчастный священнослужитель как мёртвый навзничь лежал на палубе, граф припечатал ему сургучом бороду к полу украденною из каюты Крузенштерна казённою печатью. Припечатал и сидел над ним, пока он проснётся... И только что старичок открыл глаза и хотел приподняться, Толстой, указывая пальцем на печать, крикнул ему:

— Лежи, не смей! Видишь — казённая печать...

После принуждены были ножницами подстричь бороду священнику почти под корешок, чтобы выпустить его на свободу. <...>

У Крузенштерна был на корабле любимый орангутанг, умный, ловкий и переимчивый, как человек. Так вот его-то Толстой и избрал себе в товарищи для того, чтобы насолить хорошенько учёному путешественнику. Раз, когда Крузенштерн отплыл на катере зачем-то на берег, Толстой затащил орангутанга в каюту адмирала, открыл тетради с его записками, наложил на них лист чистой бумаги и на глазах умного зверя начал марасть, пачкать и поливать чернилами по белому листу, до тех пор, пока на нём не осталось чистого места. Обезьяна внимательно смотрела на эту новую для неё работу. Тогда Фёдор Иванович тихонько снял с записок адмирала выпачканный лист бумаги, спрятал её в карман и вышел из каюты как ни в чём не бывало. Орангутанг один, на свободе, занялся секретарским делом так усердно, что в одно утро уничтожил всё, что было до сих пор сделано Крузенштерном. За это преступление адмирал высадил злодея Толстого на какой-то малоизвестный остров и сейчас же отплыл от его берегов.

Судя по рассказам об Американце Толстом, он и на острове, живя между дикарями, продолжал бедокурить напропалую до тех пор, пока какой-то благодетельный корабль не подобрал его из жалости и, татуированного от головы до ног, не привёз обратно в Россию. <...>

Новые религиозные чувства не помешали ему завести в Москве страшную картёжную игру и сделаться ярым дуэлистом. Убитых им он сам насчитывал 11 человек. И он, как Иоанн Грозный, аккуратно записывал имена их в свой синодик. Кроме того, дядюшка мой в Москве скоро влюбился в ножки молоденькой цыганочки-плясуньи Пашеньки и начал жить с нею. <...> От этого брака у них было 12 человек детей, которые все, кроме двух дочерей, умерли в младенчестве. Довольно оригинально Американец Толстой расплачивался со своими старыми долгами: по мере того, как у него умирали дети, он вычёркивал из своего синодика по одному имени убитого им на дуэли человека и ставил сбоку слово «квит». Когда же

у него умерла прелестная умная 12-летняя дочка, по счёту одиннадцатая, он кинулся к своему синодику, вычеркнул из него последнее имя и облегчённо вскрикнул: «Ну, слава тебе, Господи! Хоть мой курчавый цыганёночек будет жить!» Когда я видела у дедушки Андрея Андреевича в Царском Селе дядю моего Фёдора Ивановича, у него в Москве подрастала обожаемая им дочка Пашенька.

(Каменская М. Воспоминания/Подг. текста, сост., вступ. ст. и коммент. В. М. Боковой. М., 1991. С. 177–180)

### **ИЗ РАССКАЗОВ М. С. ЩЕПКИНА**

Раз навел я Пушкина, который, приезжая в Москву, останавливался всегда у П. В. Нащокина. Там были уже граф Толстой и Жихарев, автор «Записок студента». В то время «Горе от ума» возбуждало в публике самые оживлённые толки. Жихарев, желая кольнуть графа, беспрестанно повторял за обедом следующие стихи из комедии (так как общая молва относил их именно на его счёт):

Ночной разбойник, дуэлист,  
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,  
И крепко на руку не чист;  
Да умный человек не может быть не плутом.

Граф Толстой, как человек с большим умом, не выдал себя и при чтении этих стихов сам хохотал от души. Такое притворное равнодушие задело Жихарева за живое, и он снова вздумал повторить стихи после обеда. Толстой стал перед ним, посмотрел серьёзно ему в лицо и, обратясь к присутствующим, спросил: «Не правда ли, ведь он чёрен?» — «Да!» — «Ну, а перед собственной своей душою совершенный блондин!» Жихарев обиделся и замолчал.

(Михаил Семёнович Щепкин: Жизнь и творчество: В 2 т. Т. 2: Современники о М. С. Щепкине. М., 1984. С. 320)

### **ИЗ «РАССКАЗОВ» Т. НОВОСИЛЬЦЕВОЙ**

Нам довелось слышать от Петра Александровича Нащокина

интересные рассказы о графе Фёдоре Ивановиче Толстом, с которым он был очень дружен. Начнём с их первой встречи.

Шла адская игра в клубе. Наконец все разъехались, за исключением Толстого и Нащокина, которые остались перед ломберным столом. Когда дело дошло до расчёта, Толстой объявил, что противник должен ему заплатить двадцать тысяч.

— Нет, я их не заплачу, — сказал Нащокин, — вы их записали, но я их не проиграл.

— Может быть, это и так, но я привык руководиться тем, что я записываю, и докажу это вам, — отвечал граф.

Он встал, запер дверь, положил на стол пистолет и прибавил:

— Он заряжен: заплатите или нет?

— Нет.

— Я вам даю десять минут на размышление.

Нащокин вынул из кармана часы, потом бумажник и отвечал:

— Часы могут стоять рублей пятьсот, а в бумажнике двадцатипятирублёвая ассигнация: вот всё, что вам достанется, если вы меня убьёте. А в полицию вам придётся заплатить не одну тысячу, чтоб скрыть преступление. Какой же вам расчёт меня убивать?

— Молодец, — крикнул Толстой и протянул ему руку. — Наконец-то я нашёл человека!

Они обнялись и заключили с этой минуты дружеский союз, которому остались одинаково верны. В продолжение многих лет они жили почти неразлучно, кутили вместе, попадали вместе в тюрьму и устраивали охоты, о которых их близкие и дальние соседи хранили долго воспоминание. Друзья, в сопровождении сотни охотников и огромной стаи собак, являлись к незнакомым помещикам, разбивали палатки в саду или среди двора, и начинался шумный хмельной пир. Хозяева дома и их прислуга молили Бога о помощи и не смели посягнуть на глаза непрощеным гостям.

Раз собралось у Толстого весёлое общество на карточную игру и на попойку. Нащокин с кем-то повздорил. После обмена оскорбительных слов, он вызвал противника на дуэль и выбрал секундантом своего друга. Согласились драться следующим утром.

На другой день, за час до назначенного времени, Нащокин вошёл в комнату графа, которого застал ещё в постели. Перед ним стояла полуопорожнённая бутылка рома.

— Что ты это ни свет ни заря ромом-то пробавляешься! — заметил Пётр Александрович.

— Ведь не чайком же мне пробавляться.

— И то! Так угости уж и меня.

Он выпил стакан и продолжал:

— Однако вставай: не то — мы опоздаем.

— Да уж ты и так опоздал, — отвечал, смеясь, Толстой. — Как! Ты был оскорблён под моим кровом и вообразил, что я допущу тебя до дуэли! Я один был вправе за тебя отомстить: ты назначил этому молодцу встречу в восемь часов, а я дрался с ним в шесть: он убит.

У Толстого было несметное число дуэлей: он был разжалован одиннадцать раз. Чужой жизнью он дорожил так же мало, как и своей.

Во время кругосветного морского путешествия он поссорился с командиром экипажа, Крузенштерном, и вздумал возмущать против него команду Крузенштерн позвал его.

— Вы затеяли опасную игру, граф, — сказал он, — не забудьте, что мои права неограниченны: если вы не одумаетесь, я буду принуждён бросить вас в море.

— Что за важность! — отвечал Толстой. — Море такое же покойное кладбище, как и земля.

И он продолжал свою революционную пропаганду. Крузенштерн был человек добрый и, решившись прибегнуть к последним мерам лишь в случае крайней необходимости, сделал ещё попытку к примирению.

— Граф, — сказал он виновному, — вы возмущаете экипаж; отдайтесь на мою ответственность, и если вы не дадите мне слова держать себя иначе, я вас высажу на необитаемый остров: он уже в виду.

— Как! — крикнул Толстой. — Вы, кажется, думаете меня запугать! В море ли вы меня бросите, на необитаемый ли остров, мне всё равно; но знайте, что я буду возмущать против вас команду, пока останусь на корабле.

Делать было нечего: Крузенштерн приказал причалить к острову и высадил Толстого, оставив ему, на всякий случай, немного провианта. Когда корабль удалился, Толстой снял шляпу и поклонился командиру, стоявшему на палубе.

Остров оказался, однако, населённым дикарями, среди которых граф Фёдор Иванович прожил довольно долго. Но тоска по Европе начинала его разбирать, когда, бродя раз по морскому берегу, он увидел, на своё счастье, корабль, шедший вблизи, и зажёл немедленно костёр. Экипаж увидел сигнал, причалил и принял Толстого.

В самый день своего возвращения в Петербург он узнал, что Крузенштерн даёт бал, и ему пришло в голову сыграть довольно оригинальный фарс. Он переоделся и поехал к врагу и стал в дверях залы. Увидя его, Крузенштерн не скоро поверил глазам.

— Граф Толстой, вы ли это? — спросил он наконец, подходя к нему.

— Как видите, — отвечал незваный гость. — Мне было так весело на острове, куда вы меня высадили, что я совершенно помирился с вами и приехал даже вас поблагодарить.

Вследствие этого эпизода своей жизни он был назван *Американцем*.

Гр<аф> Ф. И. Толстой и П. А. Нащокин обменялись, в знак вечного союза, кольцами, с которыми были похоронены, и дали друг другу слово, что тот из них, который почувствует приближение смертного часа, вызовет другого, чтобы умереть у него на руках. Первый на очереди стоял Толстой. Когда, по его настоятельному требованию, доктор ему объявил, что его дни сочтены, он велел написать немедленно Нащокину, что умирает и ждёт его.

Пётр Александрович жил тогда в деревне. Кто-то заметил вполголоса в спальне Толстого, что его задержит, вероятно, плохое состояние дорог, по которым не было решительно проезда. Граф Толстой услышал эти слова и сказал:

— Его ничто не задержит! Будь он на том крае света, он приедет, лишь бы не лежал, как я, на смертном одре.

Нащокин не замедлил, действительно, явиться в Москву и не отходил от умирающего до последней минуты.

*(Русская старина. 1878. № 3. С. 538–540; № 6. С. 334)*

### III. <ГРАФ Ф. И. ТОЛСТОЙ>

#### БИОГРАФИЯ САРРЫ

В 1839 году в Москве, в типографии С. И. Селивановского, напечатали изящное двухтомное издание — «Сочинения в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой». Оно было инициировано Американцем и, как сообщалось, выпущено в свет «для избранного круга родных и друзей гр<афа> Ф. И. Толстого». Первая часть этих «Сочинений» открывалась анонимным очерком «Биография Сарры» (с. VII–LXVII), который мы сочли необходимым включить в настоящую книгу.

Подробнее и проникновеннее описать семейную трагедию Толстых, нежели это было сделано сто семьдесят лет назад, вряд ли кому-нибудь и когда-нибудь удастся.

Хотя вступительный очерк очень интимного характера и остался

неподписанным, есть весьма веские основания атрибутировать его как сочинение самого Фёдора Ивановича Толстого. В доказательство приведём хотя бы следующие аргументы: автор продемонстрировал исключительную, недостижимую для человека постороннего, осведомлённость о деталях домашней, скрытой от чужих глаз, жизни девушки; в «Биографии Сарры» есть стилистические переключки с иными толстовскими текстами; несколько раз граф фактически проговорился; его, Американца, наконец, выдают безграничные любовь и скорбь — чувства, излившиеся на бумагу с редкостной экспрессией и откровенностью, явно по-родственному, а конкретнее — по-отцовски.

Допускаем, что изначальный вариант очерка, созданного безутешным экзальтированным отцом, был деликатно отредактирован М. Н. Лихониным (1802–1864) — поэтом, критиком и переводчиком, который подготовил московский двухтомник к печати и снабдил его собственным «Предисловием переводчика» (с. LXIX–LXXV).

На страницах жизнеописания графини Сарры Фёдоровны Толстой обнаруживается и ряд ценных, отсутствующих в прочих источниках, материалов для биографии нашего героя.

*Как лета знойного зарница.  
Ты в мире сём мелькнула так,  
Оставив нам лишь грусти мрак,  
Мой друг, небесная жилища!*

Девушка гр<афиня> С<арра> Толстая родилась 1820 года, августа 20 числа, от гр<афа> Толстого, известного в обществе под именем Американца, и от цыганки Дуняши, вовсе неизвестной <...>. Как ангел-утешитель, явилась Сарра на белый свет; живыми восторгами приветствовали новорожденную малютку. Ах! но и это солнце счастья и радости возшло в чёрной туче — вёщей туче будущего злополучия!

Сарра родилась под тяжким бременем ужасных болезненных припадков. Ангел бытия, ангел разрушения оспаривали возгоревшуюся искру жизни над колыбелью новорожденной. Все старания были истощены; все усилия, средства человеческие употреблены были, чтобы удержать гостью, как будто порывающуюся к небесной отчизне. Восторжествовал ангел жизни; но, о, слепота гордости человеческой! — приписали искусству то, что только было неисповедимым определением судьбы неисповедимой!

Около года неумолкно трепетало родительское сердце; между страха и надежды вырастал, однако ж, милый цветок. Родители ожили; Сарре исполнился год; она наслаждалась полным здоровьем.

Со второго года рождения, как отняли Сарру от груди, всё ещё наслаждалась она тем же полным здоровьем. От первого младенчества до отроческого возраста получила самое суровое телесное воспитание, была до восьми лет жива и замечательной ловкости; но как телесное, так, в особенности, умственное развитие было самое раннее. Без малейшего принуждения, по шестому году, она писала, говорила по-французски и по-немецки; на девятом году присовокупила и английский язык. Она имела особенную способность к языкоучению; девяти лет знала грамматики помянутых трёх языков совершенно. В сём же нежном возрасте уже она обращала на себя внимание в отношении искусной игры на фортепиано; в последние же годы жизни своей была в душе музыкантша, в полном смысле сего слова. Любила также страстно живопись, хотя в сём искусстве и не успела, по болезненному состоянию своего юношеского возраста, сделать замечательных успехов. В сём же периоде жизни обогатила она память свою сведениями в географии, истории и арифметике; впоследствии она имела непреодолимое отвращение к наукам положительным: она жила в мире фантазии!

С исхода десятого года уже признаки ужасной болезни тяготели над ней. Страсть к наукам не угасла, но занятия прерываемы были ужасными головными болями и болями в груди. С сих нежных лет детства уже она являла примечательное, можно сказать героическое терпение в страданиях — христианскую покорность воле Того, Который посылал ей жестокие сии испытания. В летах же более зрелых она часто говорила, что страдания телесные возвышают, очищают душу: она глубоко была проникнута сим высоким чувством.

По двенадцатому году надо было потешить милого ребёнка: отец должен был купить ей полное собрание творений Вальтера Скотта: это был друг её отрочества, и до конца жизни сохранила она к сему знаменитому писателю замечательную, можно сказать, горячность. Она его впоследствии не просто читала, но изучала. В разных переездах несколько волюмов В. Скотта были в числе походной её библиотеки.

С каждым годом быстро развивались её умственные способности; потребности души увеличивались — увеличивалась и библиотека. Из немецких писателей: Шиллер, Гёте, Гердер, Шлегель, Новалис, Уланд, Тик, Гёльти, Фосс, Кёрнер, собрание песен миннезингеров и многие другие; из англичан: Байрон, Томас Мур и поэты новой английской школы питали её

поэтическую, пламенную душу, восторженную фантазию. С сей поры уже запала искра божественного огня в душу юную по летам, но зрелую по полным ощущениям. Сарра ещё не писала, но уже была поэт. <...>

14-ти лет в первый раз душа, преисполненная поэтических восторгов, излилась на бумагу в стихах. И впоследствии музыка, в особенности же стихотворство, составляли единственное утешение и занятие страждущей Сарры. Рисование, живопись были также сладким её развлечением.

Мудрено определить, кто был ею предпочитаемый поэт двух наций: насытись чтением одного, она с жадностью бралась за другого, и меж тем как она перелетала от восторга к восторгу, время летело быстро — проходил целый день. Протекали годы — Сарра страдала и утопала в океане сладких мечтаний, меж тем как неумолимая смерть точила уже лезвие своё!

Странно: как ускользнул у Сарры язык русский, столь богатый, столь удовлетворительный для поэтической души; но он ускользнул. Она одну только зиму занималась им; впоследствии болезнь и путешествие за границу помешали ей продолжать сие занятие. Она только и знала стихотворения Жуковского — утешалась ими, а больше всего прельщалась его переводами, часто сверяя их с подлинниками: немецким и английским.

Французский язык она знала порядочно, но решительно не любила его и употребляла, как в разговоре, так и на письме, по крайней только необходимости.

Сухая, но полезная школа Геслера, фуги Себастиана Баха были основанием музыкального образования Сарры. Она страстно любила Моцарта; но в раздирающих, нередко диких звуках Бетговена она как-то больше находила отголосок собственных чувств своих — чувств души страждущей, души, стремящейся в неизвестную даль. Одним словом, Бетговен был более впаад её души.

В живописи, прельщаясь неподражаемою кистью Рафаэля, она благоговела пред известной его картиной: «Божией Матерью», которую и видела в Дрезденской галерее; но она также благоговела и пред общим мнением; в искренности же сердца часто признавалась своему отцу в предпочтении своём к дерзкому вымыслу, фантастическому колориту Корреджио. Известная его «Ночь» вполне её удовлетворяла. Бывало, по целым часам в восторге млела она пред сим изображением: она улетала в небеса, отверстые ей волшебною кистью художника; улетала в те селения, куда так искренно ещё с отроческих лет она стремилась. Восторженная, она не замечала неправильности некоторых фигур: ей было отверсто небо, а в небе ей казалось всё изящно, всё стройно!

Наружность Сарры была приятная: роста была она малого; черты лица имела правильные; цвет волос самый тёмно-русый, почти чёрный; глаза тёмно-карие, прекрасные; чёрные брови, довольно красивые; нос маленький; губы и рот приятные. Её много безобразила болезненная толстота.

Вот замечательные черты её характера.

Она ничего не боялась, чего обыкновенно боятся в младенческом возрасте дети. С 9-ти лет она уже не любила обделанного сада, но чрезвычайно любила дикую природу. С годами росли склонности её. Из снисхождения к отцу, который всё сажал и растил в сладко-мечтательной надежде — утешить боготворимую дочь, она приневоливала себя пройти один, два круга по усыпанным дорожкам; но как любила темноту дикого леса, природу свободную, дикую! А что она любила, то любила с страстию: например, она любила купаться — и отменно была легка на воде, прекрасно плавала; но у ней это столь обыкновенное удовольствие обратилось уже в горячую страсть: и когда отец вздумал было устроить для неё красивую купальню на реке, её это сильно взволновало; она почти со слезами просила оставить это намерение: ей нужен был свободный источник, открытое небо, солнце — тут лишь она вполне наслаждалась прелестями природы (это собственные её слова)!

Страстно любила верховую езду — и ездила смело; любила прогулку на лошадях: в санях ли то или на колёсах, но она утешалась только самой быстрой ездой — и в сих столь обыкновенных наслаждениях как будто отражается какое-то чувство, ей одной в особенности свойственное — чувство поэтическое.

Луна, звёзды были верные подруги её мечтаний; ручей, цветок не безмолвствовали пред нею: ей как будто был открыт таинственный язык всего творения!

Заметно любила она детей первого младенческого возраста и смотрела на них с двух эстетических точек зрения: как художник — её пленяли нежность, круглота форм; в душевной же невинности младенца она видела ангела — и ангельская душа её возносилась в пределы горние! Она беседовала сонму бесплотных!

Мало было общительной откровенности в её обхождении; но как глубоко, как пламенно она любила! О! как она умела любить! Горячо она любила мать свою, но надо бы было обогатить наш язык новым изречением, чтобы вполне выразить, как она любила своего отца! Конечно, можно любить, как любила и Сарра, — но не переживёшь осьмнадцати лет!

Сарра была набожна и благотворительна; сердце Сарры так было любовно, что при возвышенной душе и уме её (это можно сказать без лести) она нимало не пренебрегала людьми совершенно простыми, которые, конечно, не понимали её — она это знала — а любили; но за что любили? за то, что она горячо их любила! Сарра была вся любовь!

Чувство неприязни, зависть, ложь были чужды её сердцу — недоступны её воображению. Ложь она не терпела даже в детских шутках; впоследствии же чувство это развилось до какого-то фанатизма. В мире вещественном *насекомобоязненность* (энтомофобия) была отличительной чертой её — в особенности она не любила паука: не могла его видеть; но, побеждая своё отвращение и покушаясь взять его в руки, падала в обморок.

Не желая нисколько созидать из Сарры какое-то фантастически-оригинальное существо, невозможно, однако же, удержаться, чтобы не сказать, что в течение всей жизни своей не оскорбила она ни словом, ни даже взглядом ни одного человека и не даст отчёта в жизни самонаименованного насекомого, хотя вообще их и не любила: она не умертвила ни даже докучливого комара. Это была как бы её Религия!

Сарра выросла в семейном уединении и не имела склонности к знакомству с сверстницами большого света. Она была чрезмерно застенчива, но без малейшей гордости; весьма, однако ж, самолюбива — противоречие переносила с трудом: в таких случаях яркий румянец покрывал всё её лицо, живо блестела слеза в глазах! В одежде своей замечательно она была небрежна, но не без удовольствия иногда надевала красивое, ценное платье и потом, с тем же равнодушием, марала его чернилами, рвала. Мать сердилась. Небрежность эта в одежде переходила иногда за черту установленных приличий: открытая грудь, распущенный ворот, книга или перо в руке — вот как часто принимала она человека, не принадлежащего семье! Такие сцены, можно сказать, убивали столь скромную мать её: она упрекала дочь свою в бесстыдстве. Дочь оставалась неисправимой — и обе были правы: действительно, Сарра не знала стыда, оттого что порочная мысль и не касалась чистой, девственной души её. Но когда первая чета, светлая невинностью своей, вышла из рук Мироздателя и украсила собой всё сотворённое, стыдилась ли она наготы своей? Нет. Пал человек — и тогда только познал стыд. И Сарру упрекать в бесстыдстве! Конечно, 8-ми лет она уже была не ребёнок; но и на 18-м году умерла дитятей!

Сарра была вся любовь, как я уже сказал выше. Много она оставила по себе плачущих; многие любили её горячо. Родственная, дружеская связь её с семейством графа Андр<ея> Андр<еевича> и жены его гр<афини>

Пр<асковы> Вас<ильевны> Толстых услаждала конец страдальческой её жизни. В этом же благодатном семействе и поражённые несчастием родители обрели утешение в своей скорби, обрели отрадный приют, обрели слёзы искреннего участия!<sup>[1005]</sup>

Замечательна была её искренняя дружба с г-ном Гамбсом, преподававшим ей эстетику. Около трёх лет была она в постоянной с ним переписке. Назидательные письма сего достойнейшего человека утверждали её в высоких чувствах добродетели. Учитель немецкого языка, почтенный г-н Клин, также вёл с ней переписку. Она, под корою германской флегмы, умела открыть в нём душу горячую — утешалась этим, уважала его. Нежно любила учителя музыки, Гардорфа, которому обязана образованием и развитием музыкальных своих способностей: с отроческих лет умела она ценить чистую, благородную душу его.

И вот, представляется нам печалью удручённая, растерзанная скорбию Анета Волчкова — верный, единственный друг пламенной Сарры. Миновался первый порыв отчаяния, но она ещё томится под свинцовым бременем тоски: отец часто завидует скорби юного сердца!

Анета В<олчкова>, сей цветок, в тени сельского уединения взлелеянный, как бы срослась с Саррой, также цветком долины соседней; корень одного давал жизнь другому: они росли вместе — и возростала горячая дружба их в занятиях чистых, развлечениях благородных. Живопись скрепляла связь сию: Анета — талант замечательный, Сарра — к живописи склонная — по целым дням предавались они невинному занятию сему. Герои, героини вальтер-скоттовых романов, по внушению фантазии каждой, оживлялись под эстампом юных художниц; смарывались, возобновлялись и — так сокращалось время, укоренялась пламенная дружба.

Конечно, Анета вполне постигала Сарру и умом; но более того постигала сердцем — она её чувствовала. Радуйся, душа чистая: тебя помнят!

И, наконец, с сердцем, стеснённым скорбию, мы должны приступить к той части повествования нашего о Сарре, где одни рыдания, горькие слёзы, вопль отчаяния могут вполне выразить содержание оногo. Для сего мы должны перенестись некоторым образом к самым первым годам её отрочества: изложить в постепенном порядке ход её болезни — и наконец представить на заре жизни померкшее светило, столь ясное, столь чистое, столь полный свет к полудню обещавшее!

С 9-ти лет открылись у Сарры жестокие головные боли и боль в самой груди; она переходила в левый бок к сердцу. Сарра брала уроки языков, но

сама уже писать не могла: жестокая сия боль в груди ей в том препятствовала. При появлении сих болезненных припадков уже можно было заметить толстоту, принадлежащую также к некоторого рода болезни; но как полнота сия обманывала врачей! Меланхолическое расположение ознаменовалось — Сарра искала уединённых мест, тёмных комнат. Грусть, не свойственная весёлому отрочеству, омрачала едва расцветающую жизнь.

Отец, по болезненному состоянию матери заменивший её у Сарры всеми нежными попечениями, всю горячность — с минуты её рождения, с глубоким чувством горести замечал какое-то и от него отчуждение.

В течение года к этим болезненным припадкам присоединилось вскрикивание, в начале весьма непродолжительное: в неделю раз, два; но оно стало прибавляться, и потом каждодневное повторение сего болезненного явления принудило родителей Сарры прибегнуть к настоящему лечению. Лечение было не без успеха. Сарра на несколько месяцев как бы отдохнула и дала отдохнуть родителям своим.

Но с новой жестокостью развилась ужасная болезнь. Краткие вскрикивания обратились в продолжительные вопли — вопли непрерывные. Несколько часов ночи едва давали успокоение больной и всему дому. Частые обмороки присоединились к описанным нами припадкам. Лекарство, прежде столь целебное, осталось без всякого действия. Добросовестный врач<sup>[1006]</sup> (есть и во врачах люди добросовестные!) позволил прекратить оное. Симпатические средства эмпириков — всё, всё было истощено; облегчения ни малейшего! Горькие, о! какие горькие слёзы были уделом несчастных родителей страдальцы Сарры! Но это было только лёгкое приготовление к тем ужасам, на которые обречены они были, — на которые обречена была несчастная их дочь!

Таким-то образом, в сих жестоких страданиях Сарра достигла 13-тилетнего своего возраста; болезнь была в полном её развитии; необыкновенный случай вверг её в магнетическое состояние. (Границы биографии Сарры не позволяют нам войти в подробное описание всех обстоятельств жизни и болезненных феноменов её: это бы составило целую книгу.)

С первой минуты магнетического своего состояния Сарра вступила в ясновидение довольно высокой степени. Она руководствовала случайного, без всяких сведений, своего магнетизёра; назначала средства к облегчению своему — определила день и самый час, когда освободится от криков. Событие оправдало её предсказание. В назначенный ею одиннадцатый день от первого магнетического сна, к 12-ти часам ночи, при предсказанном ею ужасном обмороке, крики прекратились.

В первом сём периоде магнетического состояния, который продолжался многие месяцы, замечателен был трёхсуточный беспробудный сон, предсказанный ею также в магнетическом сне за несколько месяцев. Феноменальное сие явление останется незабвенным для родителей. Впечатление, которое оно произвело на них, всякий себе легко представить может, — и, сколько ни замечательны подробности оно, но мы удержимся от описания их, повторяя: это бы составило книгу! С пробуждением от сего трёхдневного сна она как бы освободилась от всех недугов, прежде её тяготивших, — и мы это назовём первым периодом магнетического состояния Сарры. Года полтора не быв больна, Сарра не наслаждалась, однако же, тем полным здоровьем, какое свойственно юношескому возрасту и особливо её наружному виду. В ней было что-то, чего сказать не умеет, а знает только сердце родительское!

К первому же сему периоду принадлежит (прежде сего трёхсуточного сна) и то ужасное предсказание, которое, к злополучию несчастных родителей, чересчур — чересчур оправдалось горестным событием своим: Сарра предсказала смерть свою, определив срок трёх, и самый дальний — четырёх лет.

О! как незабвенен этот напряжённый взор неподвижных очей, это внутреннее око ясновидения, вперённое в тёмную даль будущего!.. Это чело, на котором отразилась вся мрачная дума о смерти!.. Не румянцем живой радости, или девичьей стыдливости, вспыхнули ланиты: тёмная желчь скорбного чувства покрыла всё лицо её. Отец присутствовал при сём предсказательном сне.

Между первым и вторым периодом магнетического состояния Сарры она, без особенной явственной болезни, была всё как бы не своя. Много читала, занималась музыкой, пела, более же всего избыток скорбных мечтаний своих изливала на бумагу, в стихах английских и немецких, никому их не показывая. Боли в груди и самом сердце усиливались; какое-то, как бы неприязненное и вместе неопределённое, чувство душевного глубокого горя овладело несчастной: тосковала, сама не зная о чём; была окружена, осыпана всем, что только может соделать здешнюю жизнь благополучною: горячностью беспредельною отца и матери, общеою любовью — но она тосковала.

Явились обмороки, трепетание сердца ужасное — предприняли гомеопатическое лечение; но ни искусство, ни искреннее усердие врача, Ф. Д. Шнейдера, не могли принести пользы. Нельзя было основать положительного мнения о болезненных припадках, приискать верные лекарства: так они были изменчивы в явлениях своих! Обмороки

усилились, и следствием одного из оных был магнетический сон, в который погрузилась она без всякого к оному посредствующего содействия. Стали часто повторяться эти засыпания: по четыре, по пяти раз в сутки. Наконец, во время одного из таких снов, она просила, чтобы прекратили всякое вещественное лечение и пресекли бы расположение к засыпанию, — чтобы обратились к средствам магнетизма.

Трудно было отыскать человека, которому бы можно было доверить такого рода лечение; сколько потребно тут условий! но его нашли: сверх глубокого знания в великом деле магнетизма, он был искусный медик, высокой, чистой нравственности! Постепенно возвёл он Сарру в высшую степень ясновидения. Но к чему послужило такое горестное — назвать ли, преимущество? Чтобы только вперёд узнавать за несколько дней, какого рода недугом она будет поражена! Трепетали при всяком новом предсказании. Из всех замечательных явлений, конечно, нижеследующие были замечательнейшие: продолжительное отсутствие рассудка к иным предметам и в то же время сохранение оного в отношении к другим.

Например, в полном бешенстве, разрушая всё, что попадалось под руку, она поправляла ошибки во французской орфографии отцу, писавшему записку к врачу-магнетизёру, который как-то замедлил приездом своим, меж тем как он один и мог умирять её; далее, говоря совершенно рассудительно, она не узнавала, с кем говорит. Девять дней не вставала с кресел в полной уверенности, что провалится сквозь пол. Первые два или три дня испускала пронзительные крики при виде входящих к ней в комнату, где она сидела, убеждённая, что пол обрушится. Усыплённую же, т<sup>о</sup> е<sup>сть</sup> в магнетическом сне, её выводили, сажали в сани, прокатывали и по возвращении вновь усыпляли — вводили в комнату и сажали в кресла. Вихрем вертелась она на одном месте, и никакая сила не могла остановить её, кроме воли магнетизёра; переламываясь, закидывала голову назад к самым бёдрам, с демонским хохотом, как бы изъявляя утешение тому ужасу, который на всех наводила. При малейшей оплошности магнетизёра убегала и пряталась; на пути всех была, драла платье.

Все сии явления, коих кинули мы только что главные черты, подробным описанием были бы отменно занимательны для наблюдателя-психолога. Явление же сих болезненных припадков было обыкновенно от 7-ми часов вечера до 4-х и 6-ти часов утра. Домашняя прислуга была разделена на две смены, один отец не сменялся! В такой тревоге, ужасе и скорби проведён был весь конец осени и начало зимы 1835 года. К 1-му числу генваря вышеупомянутого года больная предсказала освобождение

от помянутых всех припадков; событие оправдало предсказание. Но много, много ещё было горя впереди!

Магнетическое расположение не прекратилось: экстазы и видения были почти ежедневные. Отец часто слышал повторение сих выражений, которые он в понятии своём смешивал; спросил разницу оных; Сарра, с обыкновенной ей свободой в обращении, сказала: «Послушай... Но нет, ты не поймёшь!» И, взяв перо, смело провела черту снизу вверх по столу, у которого сидела, прибавя: «Вот экстаз». Потом, проведя черту сверху вниз, сказала: «Вот видение: от первого я могу несколько защититься — противопоставить мою волю, но против второго я не властна — я ничего не могу; оно нам посылается свыше».

Характер неистовых припадков уступил место той чёрной тоске, тому глубокому отчаянию, которое терзало больную, отравляло жизнь родителей: открылось расположение к самоубийству! Нужно ли тут описывать состояние отца и матери — все заботы к предупреждению такого несчастья? Больная совершенно была только покорена воле магнетизёра.

Обыкновенные развлечения были недостаточны; чтение любимых стихотворений, любимая музыка Бетговена — всё воспретилось больной: вся пища души была отнята. Но занятия были необходимы, праздность угрожала опасностью; тут больная принялась за изучение латинского и греческого языков с свойственной ей горячностью. В сём занятии нашла она как бы антидот тому яду, который жёг больную её душу. В сём-то периоде болезни Сарра больше сдружилась с мыслью о смерти: она с ней как бы ударила по рукам — она уже не страшилась её!

Беспредельна была любовь родителя к Сарре; стоило только чего пожелать милой дочке — оно было исполнено; Сарре вздумалось ехать за границу и — вскоре семейство Толстых было на пути к Дрездену... О! как грустен был путь сей! Не на земле ей найти развлечение и счастье: не земного путешествия алкала душа небесная!..

Прибыли в Дрезден; много, ещё чрезвычайно много было болезненных явлений, самых замечательных. Расположение к самоубийству ещё проявлялось; Сарра ещё была под сильным влиянием магнетизма; но время, или благотворное влияние оно, будто её успокоили. Расстались с магнетизёром, отправившимся в своё отечество, город Кёльн. Сарра не оставляла магнетического расположения: постоянно, по три раза в день, погружалась в магнетический сон. В некоторых случаях призывала отца и говорила с ним, особливо насчёт боли в самом сердце и боку, назначая средства к облегчению своих страданий — избирая всегда средства

гомеопатические. Они были небезуспешны, но имели кратковременную пользу. Семя предсказанной смерти дало верный росток свой!

Освободясь совершенно от магнетического расположения, однако ж, месяца чрез два, не прежде, после отъезда магнетизёра, Сарра наслаждалась обманчивой — можно сказать — тенью полного здоровья; но боль в сердце и в груди, как бы клеймо предопределения, таинственно напоминало ей: «Сарра, ты не здешняя!»

Запоздавая весна в Дрездене не позволила рано оставить его. Семейство Толстых, более имея в предмете прогулку, отправилось в Теплицы, не прежде исхода апреля. Тут Сарра себя чувствовала лучше, чем когда-нибудь: она говорила, что живёт новою жизнью. Но таковая жизнь была на один только месяц. Дикая природа гористой Богемии восхищала её: подобно несчастному, освободившемуся от тяжких уз неволи и мрака заточения, она наслаждалась новым бытием — во всём величии увидела свет Божий! Но глубокая тоска по родине буйно овладела всею её пламенной душою: она горела желанием обнять сердцу милых, возвратиться в Отечество!

В июне месяце уже была в объятиях семейства Толстых, живущих в Царском Селе. Возобновилась вся горячность детской их дружбы: Сарра была счастлива. Чрез несколько дней приветствовала она колыбель младенчества своего — уже с восторгом плакала она на груди несравненного друга своего, Анеты Волчковой: она возвратилась в столь страстно любимое сельцо Глебово.

Сарра доживала свою жизнь. Она роскошествовала в наслаждениях; она как бы утопала в радостях: Анета была с нею неразлучно. Рисованье, верховая езда, чтение, купание, музыка, поэзия, прогулки... Но боль в сердце и боку напоминала: «Сарра, ты не здешняя!»

20-го августа исполнилось Сарре 17 лет. Шумный сельский праздник огласил всю окрестность. При обыкновенно меланхолическом расположении Сарры, она чрезвычайно любила такого рода зрелища. Нестройный, но жизни полный шум веселящегося народа как бы заглушал тоскливое расположение поэтической души её. К тому же она любила до страсти мелодию народных русских песен.

В ноябре месяце уже Сарра любовалась величавой рекой северной столицы. Для развлечения, в угодность Сарре, поехали на зиму в С<анкт->Петербург. Конечно, так указал невидимый перст Провидения.

Театр, который так любила Сарра, концерты, музыкальные занятия, упражнение в русском языке (профессор Бутырский начал было преподавать ей уроки; она, как помнится, взяла не более 14-ти) — служили

ей приятным развлечением. Но она, как кажется, тосковала по родимой Москве — едва не упрекала ли себя, не раскаивалась ли в легкомыслии мечтательных наслаждений, которые ей нарисовало живое её воображение о с<анкт>петербургской жизни! Боль в груди, боку и самом сердце возобновилась с новой жестокостию; частые обмороки их сопровождали. Громко отзывался таинственный глас предопределения: «Сарра, ты не здешняя... Пора!»...

Сарра страдала, но скрывала жестокие мучения свои. Согласилась, однако ж, на всякое лечение — можно сказать, в угодность отцу; согласилась даже на аллопатическое, к которому имела непреодолимое отвращение. Но чего бы ни победила высокая душа её — железная воля!

Пригласили доктора Мандта, врача знаменитого. О! как тяжело было Сарре покориться под строгие, деспотические законы его! Но она покорилась; превзошла его чаяние и из самолюбия переходила за границу и без того строгих его предписаний. Она удивляла его — он её нежно любил. Но что может искусство человека противу Высшего предопределения? Что может слепое мудрствование науки тёмной противу неисповедимых судеб Его? Десять недель пользовал доктор Мандт нашу бедную Сарру — и мы должны видеть в нём не иное что, как орудие, посланное свыше, дабы даровать ей, по крайней мере, смерть тихую, без тех наружных жестоких страданий, которые и представляют нам её столь ужасной. Умирай человек с сладкой весёлой улыбкой дитяти, с светлым радостным взором надежды, который бы убедительно говорил нам: «До свиданья! до завтра», — не столько бы мы страшились смерти!

Во время сего изнурительного лечения в Сарре отразилось какое-то тихое уныние: как будто медленным, томным шагом подвигалась она к могиле своей. Но, как только силы позволяли, она занималась ещё музыкой, чтением и в последние недели жизни написала несколько стихотворений; одно из них на английском языке: оно носит на себе верный отпечаток её предчувствия. Сарра старалась, однако ж, казаться весёлой; отец, с своей стороны, также с душой, уязвлённой глубокою скорбью чёрных мыслей, принимал на себя вид беспечной радости. Так друг друга обманывали; но обманешь ли вечно сердце? Иногда, по долгом молчании и не нарушая оно, они кидались в объятия друг к другу; каким прощальным поцелуем они целовались! Ещё и теперь жжёт, горит сердце несчастного отца от сих поцелуев!

Замечательно, что Сарра в течение всей болезненной жизни своей никогда не слегала в постель, кроме одного раза, и то от скарлатины. И во время лечения доктора Мандта — когда она два раза доходила до такой

степени слабости, что не была в состоянии не только ходить, но и сидеть — ей устраивали болезненный одр её на софе в маленькой гостиной комнате. Она имела какое-то отвращение к постели. Но пред тем третьим — третьим и последним — разом она приказала положить себя в постель. Сему предшествовал весьма замечательный случай.

Сарра ещё была на ногах; дома оставался один отец; день склонился к вечеру. Во всех её движениях было что-то не её; она приводила в порядок книги, бумаги свои и наконец, с кипюю исписанных листов, явилась в комнату отца, где он лежал у камина. Она бросила в пылающее пламя принесённые ею бумаги — отец громко ахнул; это её не встревожило. Молча пошла она к себе в комнату; но во взоре, в движениях, поступи её было нечто торжественное!

Она собиралась в дальний путь... В течение последних десяти дней она приказывала много любимой ею горничной девушке своей читать и петь отходные молитвы, — делая это тайно от родителей.

Сам доктор Мандт был нездоров; отец всякий день ездил с отчётом, изложенным на бумаге. Опасность казалась так отдалена — и так отдалена, что ещё 23-го апреля вечером один из самых старых друзей Толстого беседовал у него с двумя товарищами. За стаканом вина, при чтении стихов хохотали до безумия. Толстой, вовсе не смешливый, хохотал больше всех; о! какой поучительный, но и ужасный, жестокий урок для человека!

В три часа ночи Толстой был разбужен воем целой стаи собак, собравшейся под окном его спальни. Ужас им овладел; он обезумел; вскоре за сим приходит женщина сказать, что Сарре Фёдоровне что-то очень нехорошо; поскакали за докторами... Смятение, ужас в доме!.. И — где смеялись, тут рыдают; громкий хохот уступил место диким крикам отчаяния; в 8 часов уже Сарры не стало!..

Гр<афиня> С<арра> Ф<ёдоровна> Толстая скончалась в С<анкт->Петербурге 1838-го года апреля 24-го, в 8 час<ов> пополуночи. 27-го числа тело её было предано земле на Волковском кладбище.

По особому милосердию сердобольного Монарха, тело покойной перевезли, июля 12-го, в Москву и похоронили на Ваганьковом кладбище, где многолюдное семейство графа Толстого, состоящее из осьми человек: четырёх дочерей и четырёх сыновей, — покоится под одним камнем. <...>

*17-го мая 1839 года*

#### **IV. ИЗ СОЧИНЕНИЙ ГРАФИНИ С. Ф. ТОЛСТОЙ**

Для издания «Сочинений в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой» Американец не только изыскал средства и нанял «рабочую лошадку», М. Н. Лихонина. Граф Фёдор Иванович выступил и составителем, и, без преувеличения, ответственным редактором данной книги. Наш герой, как заправский археограф, собрал оставшиеся после Сарры бумаги (законченные произведения, письма и наброски); классифицировал и распределил их по хронологии, языкам (немецкому и английскому) и томам; он же предложил М. Н. Лихонину те принципы перевода сочинений графини на родной язык, которые считал единственно верными.

В «Предисловии переводчика» есть строки, свидетельствующие о разногласиях между издателем и наёмным работником по существу указанной герменевтической процедуры. Отношение к текстам Сарры Фёдоровны как к объектам сакральным, не подлежащим никакой вольной интерпретации, решительно не устраивало М. Н. Лихонина, однако Американец всё-таки настоял на своём. В итоге сочинения покойницы переводились *буквально*. «Переводчик, исполняя волю её родителя, должен был переводить подлинник слово в слово, — счёл нужным оповестить публику Михаил Николаевич, — и потому не мог вполне передать нежных оттенков чувств и мыслей, выраженных на языках столь богатых, как самыми оборотами, так и лишь им одним свойственною поэзи-ею слов, которые, при буквальном переводе, были почти невыразимы или, по крайней мере, довольно холодны и бесцветны» (с. LXXIII).

Победителей, как известно, не судят: «Сочинения в стихах и прозе гр<афини> Сарры Толстой», напечатанные по-русски в 1839 году в «охранительной» версии отца поэтессы, стали на рубеже десятилетий заметным литературным событием.

Произведения графини Сарры Толстой давно — и, возможно, бесповоротно — забыты. Думается, что читателю жизнеописания Американца желательно иметь хотя бы приблизительное представление о творчестве «необыкновенной девушки с высоким поэтическим даром» (А. И. Герцен). Ведь её своеобразные опыты — тоже часть биографии Ф. И. Толстого, биографии его души.

Ниже публикуется (с сохранением некоторых особенностей орфографии, пунктуации и стилистики подлинника) ряд *завершённых* («полных») стихотворений дочери графа, которые были написаны на немецком и английском языках. Их перевёл М. Н. Лихонин; произведения извлечены нами из первой части двухтомника 1839 года (с. 3–9, 14–17, 40–41, 46–49, 74–75, 133–134, 184–187, 196–197, 203).

## **МОГИЛА**

В твоём прохладном, тёмном лоне покоится печальный жребий человечества: слёзы скорби, кипение страсти — всё спит в твоей тихой прохладе. Страдание любви, наслаждение любви — не проникают уже пламенем спокойную грудь. Ах! здешняя жизнь — буря, буря, исполненная замирания сердца и трепета! Лишь в твоей глубокой, тихой ночи несчастье не имеет более власти: там покоишься и видишь хорошие сны; кровь уже пламенно не волнуется, и жестокое болезненное чувство жизни не давит уже холодное сердце!

## **УТЕШЕНИЕ**

Утиши льющийся поток слёз, просветли своё тоскующее сердце, обрати взор к Отцу, взгляни на небо: ибо этим улаживается всякая скорбь.

Утешься: твою исполненную тоски жизнь, твою молитву, твои вздохи, о, несчастливiec! твои страдания, твой внутренний трепет — всё видит великий Милователь.

И когда твоё колеблющееся мужество изнемогает от печали и скорби, и из очей твоих льётся поток слёз: с отрадою взгляни горб: Он тебя не оставит!

## **ЛЮБОВЬ**

Среди свободной природы; на лугу, озарённом розовым светом; на долине, покрытой цветами; в мраморном чертоге, в мерцающем величии священной ночи — тебя лишь чувствую, любовь. Твоя милая нега глубоко оживляет меня и проникает пламенем грудь мою. В дыхании цветов, в весеннем воздухе — ты одна навеваешь мне небесное спокойствие!

## **К СЕТУЮЩЕЙ ПОДРУГЕ**

Подобно нежным листикам розы, обрываемым завистливо лобзанием зефира; подобно зелёным, свежим виноградным лозам, падающим на холодную землю от бурного ветра, — блекнут наши радости от сильной

бури страданий.

Но розы будут цвести снова; снова будет пламенеть весна, и виноградные кисти, полные жизни, снова подымутся в красе своей: о, подними и ты голову! слышишь ли, как нежно умоляют тебя ветерки: «Позволь нам развеять твои страдания».

Так, подруга, не упадай духом! Взгляни, от голубого неба помахивают звёзды надежды и любви — яснее тёмная глубина неба! О, приди в объятия друга: в них снова найдёшь ты отраду и покой, и снова дух твой понесётся навстречу радости.

### **К МУЗЫКЕ**

Так, тебе посвящаю я песнь мою! Тебе следует награда, тебе следует благодарение, тебе, божественная, прекрасная очаровательница, тебе, укрощающей страсти! Наполни юную грудь мою пламенным, величественным наслаждением поэтическим! Вознеси, ах! вознеси её к высокой, чистой Гармонии!

Когда в тихих объятиях радости мы, после страданий, скоро сладостно согреваемся и нам помахивает любовь, спокойствие, сладостное спокойствие — и всё, всё напевает нам блаженство, являешься ты, Муза, в праздничной одежде, с золотой лирой в руке, — и ты устами и взором ещё более возвышаешь наслаждения сердца.

Но когда грызут душу горькие скорби и сердце робко и глубоко ноет; легкокрылое счастье улетает; розы радости скоро отцветают: тогда ты, приемля нас на своё лоно, облегчаешь наш жестокий жребий, — и тёмная ночь бедствия, по воле твоей, светлеет и скрывается.

### **ЖАЛОБА**

Где же вы, прекрасные дни? куда так скоро улетели? Грудь, которая лишь билась для радости, наполняют робкие жалобы.

Где вы, милые детские лета, небесный сон жизни, когда цветок в волосах делал нас счастливыми, блаженными?

Как бы от яростного порыва бури эти исчезли, облетели юные розы весны; так и я: едва расцвела — и поблекла!

## **ПОРЫВ СЕРДЦА**

Юность, украшенная венком из цветов, быстро кружится в вихре пляски, и сердце цветёт в прелестной мечте: тогда-то украшен розами путь жизни!

Всё упивается бальзамическим дыханием радости — лишь я одна плачу в весеннем воздухе; всё радуется, всё живёт, полное наслаждением, — лишь я одна глубоко в груди чувствую какой-то порыв.

Тоскливо трепещет сердце, полное горести, гнетёт меня глубоко-блаженное, болезненное чувство; блестит предо мною какой-то безвестный свет: сердце моё разрывается в страдании, исполненном блаженства.

## **ЖИЗНЬ ЗА ГРОБОМ**

В высоких звёздных чертогах, где разливается аромат жертвоприношений — окрест высокого престола Отца, ожидает нас прекрасная награда. Там мерцает для нас в величественной красоте прекрасный звёздный венец; там, по чистому блеску эфира, струятся священно-сладостные звуки. Там, в тёплом весеннем воздухе, веет для нас дыхание пальмы; там замолкают земные побуждения, там цветёт божественно-прекрасная Любовь, там не ведают страданий: там — жизнь, любовь и свет!

## **НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯ**

**(К А. Волчковой)**

Не забывай меня, когда юная грудь твоя пламенеет от сердечной радости и на каждом шагу расцветает для тебя чистое наслаждение невинности: вспомни тогда о верной любви, которая делилась с тобою всеми ощущениями, а теперь далеко от тебя и лишь твердит: «Не забывай меня!»

Не забывай меня, когда глубокое страдание, и грусть, и горькая скорбь наполняют твоё тихое, доброе сердце, гнетут твою тёплую душу: о, знай, что далеко от тебя, при свете звёзд, молится за тебя сердце, твердит вечно вздыхающее сердце: «Не забывай меня!»

Не забывай меня, когда за горною вершиной склоняется солнце и из-за

тёмной зелени деревьев мерцает луч месяца. Тогда мечтаешь ты в блаженном спокойствии, и тихо, тихо навевает тебе, что в дали от тебя говорит чьё-то сердце: «*Не забывай меня!*»

Не забывай меня и тогда, как, призывая к Богослужению, величественно звучат колокола, и ты, обвиняемая белым покрывалом, идёшь в дом Господень. И если тогда прикасается к тебе лёгкое дуновение, то верь, что и я также молюсь пламенно; да, верь, что, молясь, сердце моё твердит: «*Не забывай меня!*»

Не забывай меня, когда я вскоре буду покоиться в глубоком и прохладном лоне тихой и верной матери-земли; когда я буду спать под печальным мхом! О, когда придёт и последний час мой, то и тогда ещё я буду помнить о нашем дружеском союзе; о, верь, что и тогда это сердце, переставая биться, будет твердить: «*Не забывай меня!*»

## ГОЛУБОЙ ЦВЕТОК

По цветущему лугу струится серебряный источник; при журчащей его волне расцветает милый голубой цветок: он так любит цвести на сетующей, томящейся груди; он, наполняя наше сердце тихим наслаждением, возносит нас в лазурную даль.

В этом нежном, милом цветке, в святилище груди его, дремлет — заметная лишь тому, кто чист душою — целебная сила для всякой раны.

Когда проходишь мимо его, при ночном мерцании звёзд, овладевает тобою какое-то божественное предчувствие, — и он один улыбается тихо в высоком, божественном величии.

Вдруг развёртываются его лепестки, и из колеблющегося стебелька, в блестящей одежде, возносится тихий, улыбающийся ангел!

## ЛЮБОВЬ

С голубых высот улыбается нам нежный, милый и прекрасный малютка; вокруг него носится розовое сияние; волосы его искрятся звёздным венком.

Крылья его ослепительной белизны. Он может преодолеть и самую жестокую грусть; он наполняет чистою радостью богов верную грудь человека с помыслами благородными.

На каждую кровавую рану сердца льётся бальзам из уст его; и в

лилейной руке малютки скоро согревается и самое больное сердце.

Нежные щёчки милого малютки горят от сердечного желания ответить от нас слёзы и вздохи и видеть нас радостными и счастливыми.

Он же умиряет и мои робкие желания, осушает горячие мои слёзы, — и жизнь мне теперь весело улыбается, ибо исполнилось желание сердца!

### ***Я УЖЕ НЕ В СИЛАХ БОЛЕЕ ТЕРПЕТЬ***

Нет, я уже не в силах более терпеть: слишком у меня тяжело на сердце! Погас свет надежды: сердце моё разрывается от сладостной боли: жребий мой — есть тихое страдание в тихом лоне уныния.

Нет, я уже не в силах более терпеть: у меня слишком тяжело на сердце! При тихих тенях сумрака, когда свет со тьмою сливаются вместе; при лучах Феба, при утренней звезде — вечно я порываюсь в даль!

Нет, я уже не в силах более терпеть: у меня слишком тяжело на сердце! Да, с каким некогда блаженством, упоением и негою поверглась я в море любви: а теперь бурно влекут меня, на жестокое страдание, волны её.

Нет, я уже не в силах более терпеть: у меня слишком тяжело на сердце! Несите же меня скорее к берегу, несите меня к той земле желанной... Но нет, вы не внимлете мольбам моим: мне не видать страны любви!

Нет, я уже не в силах более терпеть: у меня слишком тяжело на сердце! Ах! неужели никакой тихий блеск не покажет мне, хотя на короткое время, моего счастья! Неужели мне вечно плакать и страдать? неужели вечно будут чуждаться меня игры и радости?

Нет, я уже не в силах более терпеть: у меня слишком тяжело на сердце! Так разорвись же от сего сладостного страдания, моё покинутое, бедственное, пламенеющее сердце! И если уже ничто не может дать отрады твоему горю, то разорвись, разорвись же в объятиях тихого сна смерти!

### ***ФИАЛКА***

В траве цветистого ковра, при тихом сумраке вечера, чистый весенний воздух напоён благоуханием фиалки.

Она, стыдясь лучей солнечных, цветёт потаённо в долине, и лишь тихого света луны не боится этот цветок.

Нежный цветок, ты сходиен с любовью, которая также желала бы остаться тайною; но влажный свет очей и грудь, разрывающаяся от вздохов,

обнаруживают её: запах, разливаемый тобою в весеннем воздухе, — есть дыхание сладкой любви, которая бы иначе осталась неизвестною.

### ***ПЕСНЬ ИЗДАЛЕКА***

Издалека несутся к тебе тихие и долетают к тебе лёгкие, слабые, робкие звуки; может быть, ты внемлешь им с сжатым сердцем и не знаешь: откуда летят они? Ах! они летят от меня!

Несись, песнь моя, в даль, ибо любят внимать тебе, хотя ты и безыскусственная песнь: ты песнь истинной любви; о! даруй же, даруй же сладостный покой верному, далеко от меня бьющемуся сердцу!

Скажи тихо, песнь моя, скажи шёпотом (как то обыкновенно делает любовь), скажи от меня в стране далёкой, что «быть верною одному сердцу составляет для меня всегда высочайшее наслаждение как вблизи, так и вдали».

### ***ПРОЩАНИЕ***

Прости, прекрасный свет! прости в последний раз; прости, тёмный лес, прости и ты, глубокая долина!

Прости, светлый источник, прости, тихий ручей: как часто за струями твоими следила, вздыхая, томящаяся душа моя.

Ах! как часто воспевала я тихое наслаждение вашими прелестями, и как часто звучала здесь песнь из глубины весёлого сердца!

И когда я буду схоронена здесь, то повесьте на ветвях древа печали данную мне богами тихую и сладостную мою лиру.

И будет слышан шелест в ветвях дерева над одинокою могилой, и, подобно мечтам любви, будет что-то веять среди лёгких ароматов цветов.

### ***К В. А. ЖУКОВСКОМУ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЕГО СТИХОТВОРЕНИЙ***

Подобно лёгким весенним ветеркам, носящимся по струнам эоловой арфы, и нежно, и тихо извлекающим из неё глубоко таящуюся её душу; подобно лёгким благоуханиям цветов, тихо несущимся в эфир и нас с собою возносящим и наполняющим сердце наше блаженством — И Ваши сладостные звуки пробуждают в глубине сердца дремавшие в ней струны,

чуждые внутренней жизни своей; и Ваши нежные, прекрасные песни наполняют грудь новою радостью, новым блаженством.

И меня дарите Вы этими песнями, сими высокой прелести исполненными песнями; но что мне предложить Поэту — не знаю! У меня есть только одна песнь: дерзну ли её принести в знак сердечной благодарности? Я не умею петь звучно, — но мой голос исходит из глубины сердца!

### ***СЛЕЗА***

Есть одна слеза, которая вечно струится: эту вечно струящуюся слезу никакая нежная рука осушить не в силах; и хотя взор горит радостью, но эта слеза всё блистает в очах.

И хотя бы сердце билось так тихо, как вздох весеннего ветерка; хотя бы жизнь, казалось, была так сладостна, как цветок; но эта слеза всё блестит в очах.

Пусть утро с первым своим румянцем приносит радость; пусть надежда тихо улетает вместе с вечером; пусть тёплым потоком сердца будет наслаждение; эта слеза всё блестит в очах.

О! этой слезой, которая никогда не дремлет в страдании и пролагает себе путь в самой радости — о! такой благословенной слезой плачем мы при сладостном воспоминании о любви!

### ***КОГДА ТЫ УСЛЫШИШЬ***

Когда ты услышишь вздохи соловья среди нежных жалоб умирающих цветков; когда, при отлёте радости, я подаю тебе увядающую кипарисную вязь, — о! знай тогда, что быстро утекает жизнь: что я в последний раз плакала и любила.

Когда ты увидишь, что розовый свет блестит вокруг тебя в цветах самых ярких; когда увидишь, что ярко-цветная вязь нежно обвивает грудь твою: то знай, что минули все мои страдания, что тёплые наслаждения небес — удел мой.

### ***ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ?***

Помнишь ли ты о тех небесных мгновениях, о мгновениях радости, столь румяных и быстротечных, когда мы, сладко покаясь среди дикорастущих цветов, вели жизнь безумную и сладостную? Ямочки на щеках и улыбка во взоре, сердце, чуждое страданий и горести, — были уделом нашим, и мы, подобно ярkokрылым чадам лета, перелетали с цветка на цветок, от радости к радости?

Самая громкая песня, самый весёлый смех — были нашим уделом; а теперь? ты безмолвен, а я печальна: остался лишь какой-то подобный сновидению призрак ото всего, чем мы так роскошно обладали! Поблелили цветы, столь некогда милорумяные; смеющийся взор отуманен горькою слезой; померкли яркие цветы мотыльковых крылышек — уязвлённое сердце моё исходит кровью: мне лишь остаётся лечь и умереть!

### ***МОЯ РОДИНА***

Милая моя родина, с сердцем, облитым кровью, я сказала тебе: «Прости!», ибо тогда я очень знала, как ты прекрасна. Но сколь тяжкими цепями был окован дух мой! Злейший мой враг — болезнь, лившаяся по жилам моим, раскрыла и другую, более болезненную, рану; однако я плакала, как в глубоком сне плачет страждущее дитя. Как часто хлад западал в волнующуюся грудь мою при мысли о тебе, колыбели моего детства, всех моих радостей и сладкого спокойствия, о! моя дорогая родина! А теперь, когда я могу свободно дышать; когда радость одним из лучезарнейших своих венков может увивать весёлое чело моё; теперь, когда я снова живу и люблю; когда все усилия бедствий и все их ухищрения напрасны, чтобы похитить у меня хотя один цветок, распутившийся в моём сердце, — теперь, теперь я не в силах видеть красоты твоей, но могу лишь в глубине отчаяния сожалеть о тебе, моя милая родина! О! если бы могла я лобызать ту волшебную землю, которую попирала некогда, грустя и блаженствуя; лобызать каждую убегающую струйку, каждый цветок отцветающий и дышать бальзамическим воздухом родины! О! в этот благословенный час грудь моя была бы местом отдыха сих упоений... Но теперь я в слезах должна рисовать себе твой образ и, заливаясь горячими, мыслить о тебе, моя милая родина!

### ***КОГДА МЕНЯ ТИХО ПОЛОЖАТ***

Когда меня тихо положат в спокойное ложе земли, то приди к моей глубокой могиле и пролей обо мне слезу, вспомнив: как пламенно я любила тебя.

Спой, потом, любимую мою песню, которую я, бывало, с тобой певала, — и вокруг тебя послышится вздох ветерка — и он повеет от меня, о жизнь моя, и скажет тебе: как пламенно я любила тебя!

## ИЛЛЮСТРАЦИИ



*Граф Фёдор Иванович Толстой. Неизвестный художник. 1803*



*Герб рода графов Толстых*



*Граф Пётр Андреевич Толстой. Гравюра В. Храмцева. XVIII в.*



*Церковь Харитона Исповедника в Огородниках, где был крещён граф Ф. И. Толстой. Фотография 1900-х гг.*



*Дмитрий Васильевич Арсеньев. Неизвестный художник. Начало XIX в.*



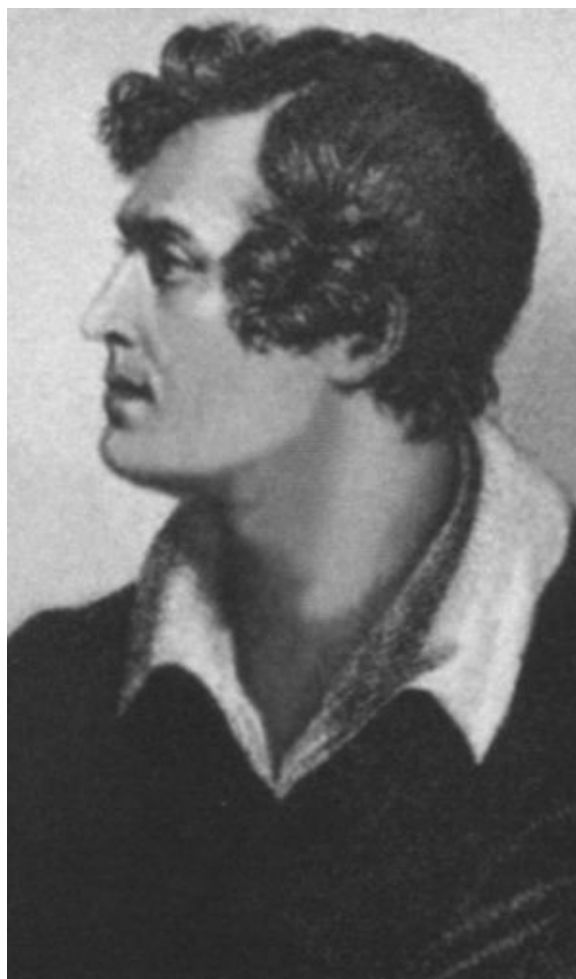
*Сергей Никифорович Марин. Ж. Рюстем. 1800-е гг.*



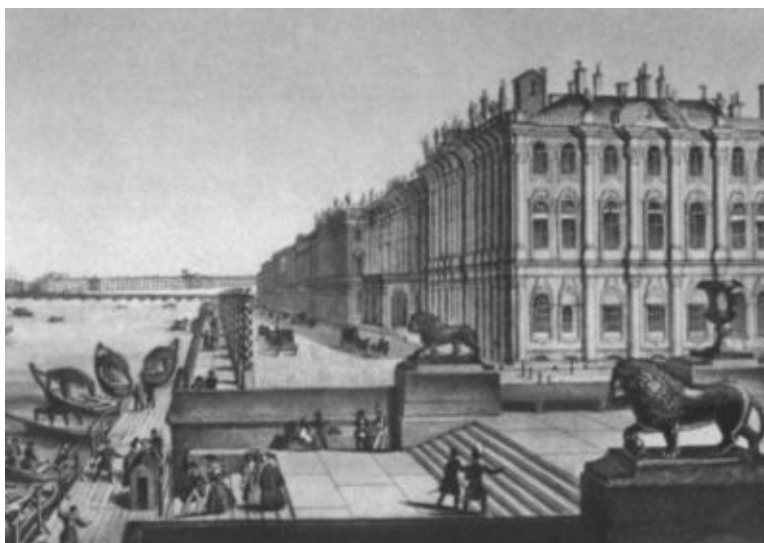
*Невский проспект у Гостиного Двора. Б. Патерсен. 1799–1801 гг.*



*Граф Пётр Александрович Толстой. Г. Доу, с оригинала Д. Доу. 1825*



*Граф Фёдор Петрович Толстой. Т. Райт. 1830-е гг.*



*Набережная у Зимнего дворца. Неизвестный художник. 1830-е гг.*



*Иван Фёдорович Крузенштерн*



*Юрий Фёдорович Лисянский. Гравюра с оригинала Кардина. Начало XIX в.*



*Остров Нукагива. Гравюра с оригинала В. Тилециуса. Начало XIX в.*



*Николай Петрович Резанов*



*Петропавловская гавань. Гравюра с оригинала В. Тилезиуса. Начало XIX в.*



*Граф Михаил Богданович Барклай де Толли. К. Зенф. 1816*



*Князь Михаил Петрович Долгоруков. Литография. 1800-е*



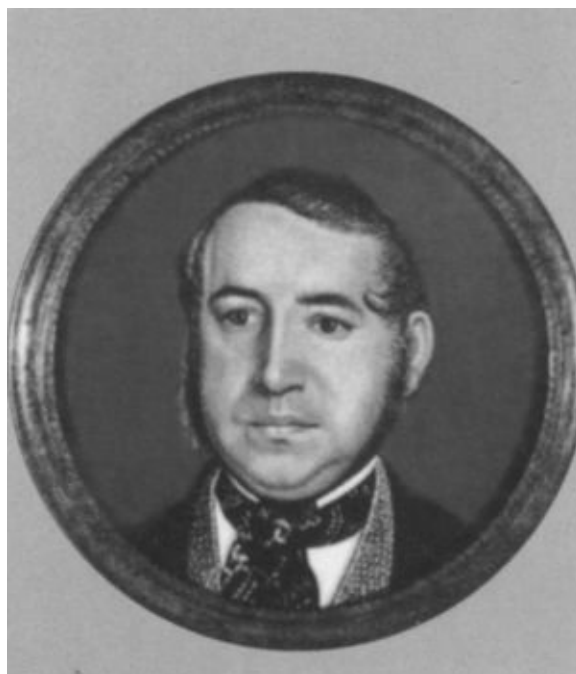
*Иван Петрович Липранди. Г. С. Гед (?). 1810-е гг.*



*Константин Николаевич Батюшков. Неизвестный художник. 1810-е гг.*



*Граф Павел Христофорович Граббе. Литография Е. Гейтмана. 1820-е гг.*



*Филипп Филиппович Вигель. Неизвестный художник. 1839*



*Петербург. Вид на Летний сад и Васильевский остров. Литография К. П. Беггова. 1820-е гг.*



*Святой Спиридон Тримифунтский, небесный покровитель Толстых*



*Николай Николаевич Раевский (старший). П. Ф. Соколов. 1826*



*Еремей Яковлевич Савоини. Литография И. Песоцкого. 1840-е гг.*



*Французская атака на батарею Раевского. В. Адам. 2-я четверть XIX в.*



*Сражение при Тарутине 6 октября 1812 года. С. Шифляр, с оригинала  
А. И. Дмитриева-Мамонова. 1822*



*Ополченец 1812 года. А. Осипов, с оригинала Ф. Кюнеля. 1-я четверть XIX в.*



*Сражение при Малоярославце 12 октября 1812 года. С. Шифляр, с оригинала А. И. Дмитриева-Мамонова. 1823*



*Граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен. Гравюра С. Карделли. 1810-е гг.*



*Дмитрий Сергеевич Дохтуров. Литография И. Песоцкого. 1840-е гг.*



*Варшава. Неизвестный художник. Начало XIX в.*



*Денис Васильевич Давыдов. А. Афанасьев, с оригинала В. Лангера. 1820-е гг.*



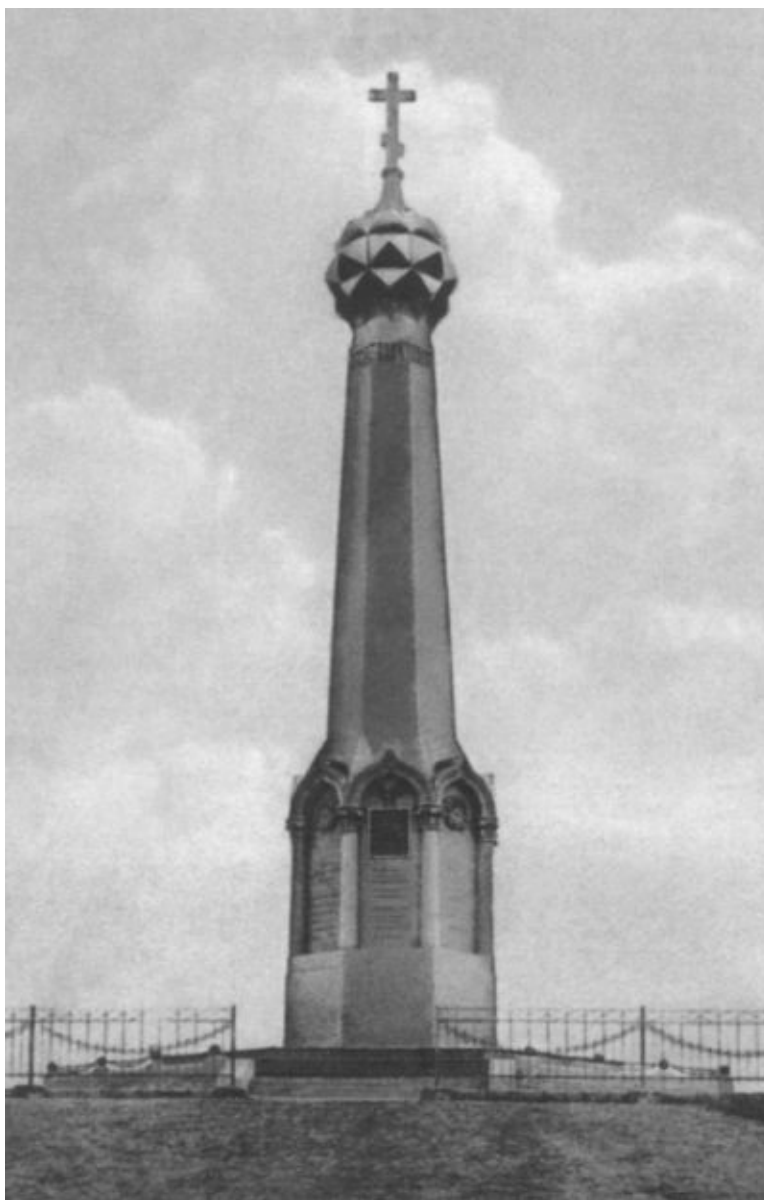
*Иван Фёдорович Паскевич. Гравюра Г. Доу. 1825*



*Граф Михаил Семёнович Воронцов. Гравюра Г. Доу. 1820-е гг.*



*Триумфальные ворота в Москве. Литография Ф. Бенуа. Середина XIX в.*



*Бородино. Монумент, воздвигнутый в 1839 году на месте, где находилась батарея Раевского. Почтовая карточка. 1913*



*Храм Священномученика Власия в Старой Конюшенной. Здесь  
Американец венчался с А. М. Тугаевой. Фотография 1900-х гг.*



*Граф Фёдор Иванович Толстой. Неизвестный художник. Конец 1810-х  
— начало 1820-х гг.*



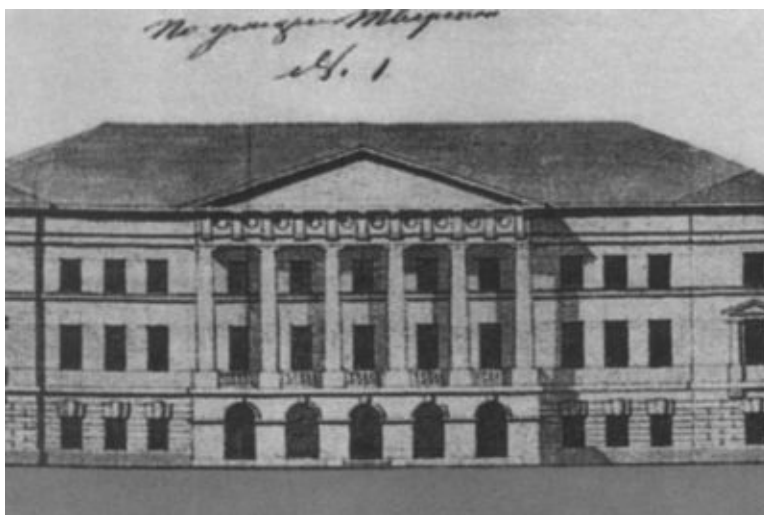
*Дом графа Ф. И. Толстого на углу Калошина и Сивцева Вражка. В. И. Ковригин. 2-я половина XX в.*



*Василий Львович Пушкин. И. О. Вивьен. 1823 (?)*



*Павел Воинович Нащокин. К. П. Мазер. 1839*



*Английский клуб на Тверской улице. Чертёж. 1834*



*Александр Иванович Тургенев. К. П. Брюллов. 1836*



*Александр Сергеевич Грибоедов. В. Машков. 1820-е гг.*



*Москва. Арбат. В. Н. Нечаев. 1830-е гг.*



*Князь Пётр Андреевич Вяземский. С. Диц. 1838*



*Александр Сергеевич Пушкин. И. О. Вивьен. 1826–1827 гг.*



*Князь Александр Александрович Шаховской. Неизвестный художник.  
1820*



*Сергей Александрович Соболевский. Литография с оригинала М. П. Полторацкой. 1844*



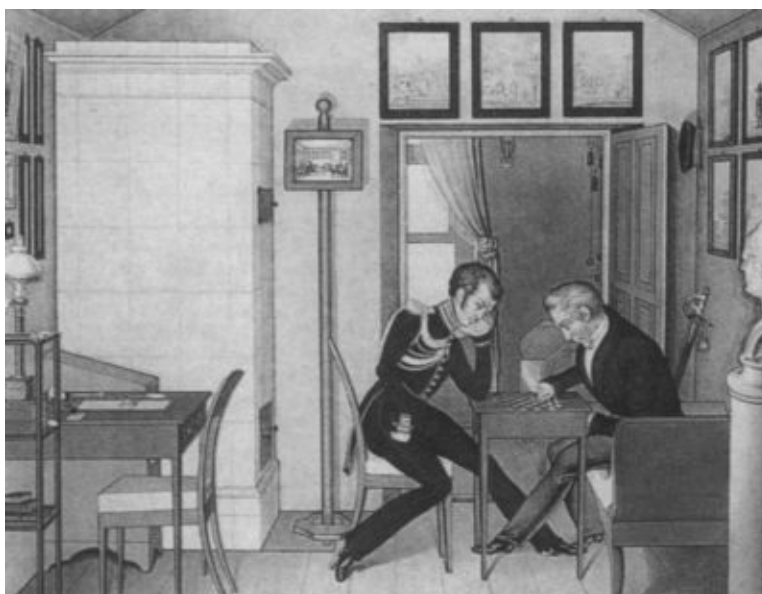
*Ф. И. Толстой-Американец. Рисунок А. С. Пушкина. 1823*



*Граф Алексей Фёдорович Орлов. Ч. Тернер, с оригинала А. Э. Чалона.  
1841*



*Граф Александр Христофорович Бенкендорф. Т. Райт, с оригинала Д.  
Доу. 1824*



*Приёмная графа А. Х. Бенкендорфа. Неизвестный художник. Конец  
1820-х гг*



*Арсений Андреевич Закревский. Литография К. Крайя. 1840-е гг.*



*Князь Дмитрий Владимирович Голицын. Литография Г. Ф. Гиппиуса.  
1830-е гг.*



*Дворянское собрание в Москве. А. Гедон. 1850-е гг.*



*Церковь Рождества Христова в Филатове. Фотография В. И.  
Иноземцева. 2000*



*Глебово. Фотография автора. 2009*



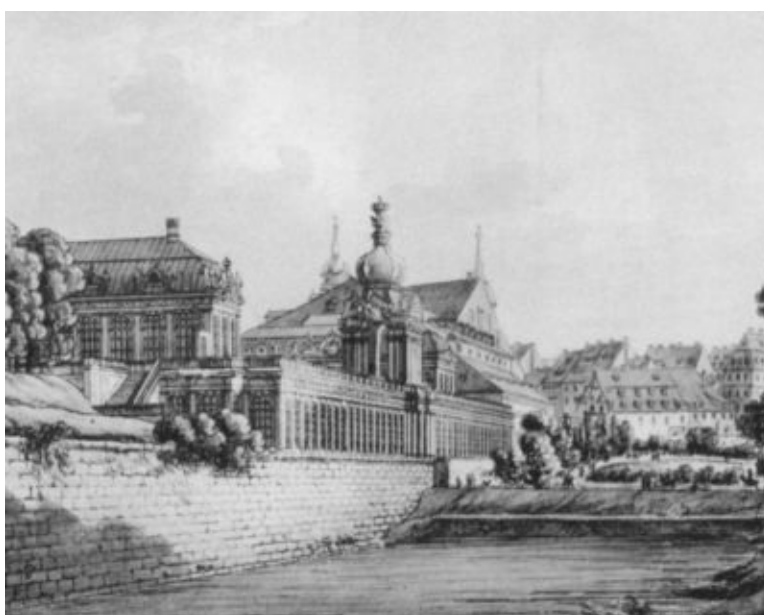
*Письмо графа Ф. И. Толстого князю В. Ф. Гагарину, написанное в сельце  
Глебове 6 июня 1828 года. Фрагмент (НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30.  
Л. 27)*



*Василий Андреевич Жуковский. П. Ф. Соколов. 1820-е гг.*



*Могилёв. Н. А. Львов. 1780-е гг.*



*Дрезден. Неизвестный художник. Начало XIX в.*



*Богемия. Теплиц. Неизвестный художник. Начало XIX в.*



*Графиня Сарра Толстая*



*Прасковья Фёдоровна Перфильева (урождённая графиня Толстая).  
Фотография. 1860-е гг.*



*Церковь Трёх Святителей, что у Красных Ворот. Здесь в 1846 году  
отпевали графа Ф. И. Толстого. Фотография 1900-х гг.*



*Ваганьковское кладбище. Памятник на могиле графа Ф. И. Толстого, его жены и дочерей. Фотография автора. 2010*



*Фрагмент надгробного памятника. Фотография автора. 2010*

## КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ ГРАФА ФЁДОРА ТОЛСТОГО-АМЕРИКАНЦА

**1782**, 6 февраля. Москва. Рождение Фёдора Ивановича Толстого (далее — Ф. И. Т.) «в приходе церкви Харитония в Огородниках».

**1791**, 1 января. Ф. И. Т. записан подпрапорщиком в лейб-гвардейский Преображенский полк.

**1790-е** гг. Кронштадт, Петербург. Обучение графа в Морском кадетском корпусе. Возможно, Ф. И. Т. курса так и не закончил.

**1797**, 28 декабря — 1799, 27 сентября. Петербург. Граф Ф.И.Т. последовательно производится в портупей-прапорщики, прапорщики и подпоручики лейб-гвардии Преображенского полка.

**1803**, 7 августа. Кронштадт. Подпоручик отправляется в кругосветное путешествие на кораблях «Надежда» и «Нева» в качестве кавалера российского посольства в Японию.

**1804**, около 7 августа. Петропавловск. Граф Ф. И. Т. объявлен «главной пружиной» всех беспорядков, случившихся в ходе экспедиции, и списан на берег. Ему предписано возвращаться в Петербург, в Преображенский полк, «пешеходным туристом».

10 августа. Петербург. Граф Ф. И. Т. произведён в поручики лейб-гвардии Преображенского полка.

1804, октябрь — 1805, конец января или начало февраля. Пребывание графа Ф. И. Т. в Охотске.

**1805**, конец января или начало февраля — июль. Путешествие графа с восточных границ империи через Сибирь в Петербург.

10 августа. Петербург. Граф Ф. И. Т. «за дерзость и непристойное поведение выписан в Нейшлотский Гарнизонный батальон».

29 августа. Американец (так и не успевший покинуть Петербург) «переведён в Костромской пехотный полк».

Осень. Граф Ф. И. Т. отправляется в городок Слоним Литовско-Гродненской губернии, к месту дислокации Костромского мушкетёрского полка.

14 декабря. Слоним. «За учинённую драку с евреями» граф арестован на две недели.

**1806**, январь (?). Слоним. Ссора поручика Ф. И. Т. с командиром Костромского мушкетёрского полка майором В. Х. Фитцнером. «За дерзостное <...> о командире своём суждение» граф попадает под арест на

месяц.

23 февраля. Поступление Американца в Нейшлотский гарнизонный батальон.

**1808**, 27 августа. Граф Ф. И. Т. прикомандирован к отряду генерал-майора князя М. П. Долгорукова, сражающемуся в Финляндии против шведов, в качестве адъютанта командующего.

31 октября. Возвращение графа в лейб-гвардии Преображенский полк. Ф. И. Т. определён в 4-й батальон, который участвует в Русско-шведской войне. «В походах против неприятеля» Американец числился до 1 ноября 1809 года, не раз отличался в баталиях, а за действия «в экспедиции при покорении Аландских островов» был удостоен «Монаршего благоволения».

**1809**, 22 января. Ф. И. Т. «ходил с охотниками осматривать положение замёрзших вод Кваркен среди стужи до 25 градусов, когда ненадёжность льда угрожала страхом смерти».

11 августа. Американец произведён в штабс-капитаны.

Ноябрь. За убийство на дуэли прапорщика гвардейского Егерского полка А. И. Нарышкина граф Ф. И. Т. заключён в Выборгскую крепость.

**1810**, начат февраля. Возвращение Американца из крепости в Преображенский полк.

12 декабря. Граф становится гвардейским капитаном.

**1811**, 12 октября. Петербург. За некий проступок капитан Ф. И. Т. высочайшим приказом увольняется от службы в лейб-гвардии Преображенском полку «без чина и мундира» и высылается на жительство в Калужскую губернию.

**1812**, 12 июня. Наполеоновская армия переправляется через реку Неман и вступает в пределы России.

19 августа. При содействии ряда влиятельных лиц Американец возвращается на военную службу и производится из отставных капитанов лейб-гвардии в армейские подполковники. Он становится офицером Московского ополчения (Московской военной силы).

26 августа. Бородинская битва. «Прикомандированный» к Ладожскому пехотному полку граф Ф. И. Т. сражается на центральном редуте (батарея Раевского). В критический момент, когда были ранены шеф ладожцев полковник Е. Я. Савоини и другие штаб-офицеры. Американец вступил в командование полком, «бросался неоднократно с оным в штыки и тем содействовал в истреблении неприятельских колонн». В ходе «ужаснейшей и кровопролитной схватки» подполковник Ф. И. Т. был «ранен в левую ногу пулею навывлет».

6 октября. Излечившийся от раны граф принимает участие в

Тарутинской баталии.

12 октября. Ф. И. Т. сражается за Малоярославец.

6 ноября. Американец дерётся под Красным.

**1813**, 13 марта. Высочайший приказ о производстве графа Ф. И. Т. в полковники.

Июнь — август. Граф Ф. И. Т. находится в отпуске, на лечении в Калужской губернии.

Август — октябрь. Американец участвует в военных действиях «за границую в Герцогстве Варшавском и при блокаде крепости Модлина»; сражается в Шлезии, Саксонии и Богемии.

Декабрь. Граф Ф. И. Т. переводится в Польскую армию генерала от кавалерии барона Л. Л. Беннигсена, где его «прикомандировывают» к 42-му егерскому полку.

**1814**, январь. За «отличие» при осаде и штурме крепости Горн и поста Гам (под Гамбургом) Американец награждён орденом Святого Равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом.

Январь — февраль. «Экспедиция» на остров Вильгельмсбург (на Эльбе). За героизм, проявленный в деле 28 января 1814 года, граф Ф. И. Т. представлен к ордену Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени.

Август — октябрь. Возвращающийся с театра военных действий полковник Ф. И. Т. отдыхает и лечится в Калужской губернии. Поздняя осень. Возвращение графа Ф. И. Т. в Москву. Знакомство «в одном из разгульных обществ» с юной цыганской певицей Авдотьей Тугаевой.

23 декабря. Американец подаёт прошение об отставке.

**1815**, 5 февраля. Высочайший указ о награждении полковника Ф. И. Т. орденом Святого Георгия 4-го класса, с формулировкой: «За отличия в сражениях с французами».

**1815–1819**, начало года. У графа Фёдора и живущей с ним под одной крышей Дуняши Тугаевой рождаются четыре дочери.

**1816**, 16 марта. Высочайшее повеление об увольнении «Господина Полковника и Кавалера» Ф. И. Т. «за раною от службы с мундиром».

**1818**. Кологривский уезд. Кончина отца Ф. И. Т., графа Ивана Андреевича Толстого.

**1819**, июнь — середина сентября. Смерть всех дочерей Американца.

Октябрь — ноябрь. Поездка графа Ф. И. Т. в Петербург. Ссора с Александром Пушкиным за картами на «чердаке» у князя А. А. Шаховского.

**1819**, декабрь — 1820, январь. По возвращении в Москву Американец,

вознамерившись проучить поэта, пишет А. А. Шаховскому, что Пушкин-де был высечен в секретной канцелярии Министерства внутренних дел. Князь распространяет сплетню по Северной столице.

**1820**, первая половина года. Американец покупает у поручика С. Ф. Кашкарова дом под № 121 на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка, во 2-м квартале Пречистенской части, и «отделывает его прекраснейшим образом и богатою рукою».

20 августа. Рождение дочери, Сарры Толстой.

**1821**, 10 января. Венчание графа Ф. И. Т. с «московской мещанкой Евдокией Тугаевой» в церкви Священномученика Власия, в Старой Конюшенной.

Август. В «Сыне Отечества» (№ 35) напечатано пушкинское послание «Чедаеву», где имелась «пощёчина» — оскорбительные для графа Ф. И. Т. стихи.

Сентябрь — октябрь. Американец сочиняет и распространяет ответную эпиграмму на А. С. Пушкина («Сатиры нравственной язвительное жало...»).

**1823**, начало года. Пребывание графа в поместье матери, в Кологривском уезде Костромской губернии.

**1825**, начало года. Поездка в Могилёвскую губернию.

**1826**, январь — 1827, начало лета (?). Европейское турне Американца (Германия, Франция, etc.).

1826, конец лета. Рождение дочери, Прасковьи Толстой.

**Конец 1827 — начало 1828**. Неудачные роды жены. Кончина мальчика.

1828, январь. Вояж Американца в Петербург. Возможно, именно в эти дни граф Ф. И. Т. встретился и помирился с А. С. Пушкиным.

Февраль. Поездка в Могилёвскую губернию.

Вторая половина 1820-х гг. Граф Ф. И. Т. приобретает подмосковную — село Глебово с деревнями Горки и Высокое в Рузском уезде.

**1829**, весна. Преждевременные роды графини А. М. Толстой. Смерть ребёнка.

Начало апреля. Американец представляет А. С. Пушкина Гончаровым.

30 апреля — 1 мая. А. С. Пушкин просит (через графа Ф. И. Т.) руки Натальи Гончаровой, однако получает неопределённый ответ матери девицы.

Конец лета — осень (?). Граф посещает Италию.

**1830**, 6 апреля. А. С. Пушкин вторично делает предложение Наталье Гончаровой, и оно принимается. Сватом вновь выступает Американец. 15

апреля. Граф Ф. И. Т. посещает с А. С. Пушкиным утренний маскарад в Российском Благородном собрании в Москве.

Осень. Тяжёлая болезнь Американца.

Начало 1830-х гг. Заболевает дочь, Сарра Толстая.

**1832**, лето. Новый приступ болезни графа Ф. И. Т.

Конец года. Американец продаёт свой дом на Арбате.

**1834**, 4 июня. Смерть матери Американца, графини Анны Фёдоровны Толстой.

**1836**, начало мая. Москва. Последние встречи Американца с А. С. Пушкиным.

1836, конец весны — 1837, июнь. Заграничное путешествие семейства Толстых.

**1837**, 20 августа. Глебово. «Шумный сельский праздник» в честь семнадцатилетия Сарры.

Ноябрь. Отъезд Толстых в Петербург.

**1838**, 24 апреля. Петербург. Кончина графини Сарры Фёдоровны Толстой.

27 апреля. Погребение дочери на Волковском православном кладбище.

12 июля. Москва. Перезахоронение гроба с телом графини Сарры Фёдоровны на Ваганьковском кладбище, «под одним камнем» с прочими Толстыми.

Вторая половина лета. Поездка графа Ф. И. Т. в Тамбовскую губернию.

**1839**, начало лета. Москва. Выход в свет двухтомного издания — «Сочинения в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой», подготовленного Американцем и М. Н. Лихониным.

**1840**, 20 августа. Село Рязанцы Богородского уезда. На венчании отставного подполковника и композитора А. А. Алябьева с вдовой Е. А. Офросимовой граф Ф. И. Т. присутствует в качестве поручителя со стороны жениха.

**1841**, 3 февраля. Петербург. Высочайшее повеление «произвести строжайшее следствие» в отношении отставного полковника Ф. И. Т., учинившего расправу над московским мещанином П. И. Игнатьевым.

**1844**, июнь — сентябрь (?). Пребывание семейства Толстых на Ревельских водах.

**1845**, 23 мая. Американец ловит «в московских улицах» находящегося в бегах П. И. Игнатьева и передаёт его городским полицейским властям.

Осень. Начало предсмертной болезни графа.

**1846**, первая половина года. Художник К. Я. Рейхель делает портрет графа Толстого.

24 декабря. Кончина Американца.

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

### *Граф Ф. И. Толстой в сочинениях, переписке и мемуарах современников*

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1974 (по указ.).

Письма Е. А. Баратынского к Н. В. Путяте // Русский архив. 1867. № 2. Стб. 274–275.

Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М.: Советская Россия, 1992. С. 264, 266, 285, 318–319.

Воспоминания Фаддея Булгарина: Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. Ч. 5. СПб.: Тип. К. Крайя, 1848. С. 201–210.

Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 кн. М.: Захаров, 2003 (по указ.).

<Вяземский П. А.> Поправка (О графе Ф. И. Толстом) // Русский архив. 1873. № 6. Стб. 1102–1104.

Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 8. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 242–244.

Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М.: Художественная литература, 1988. Т. 1. С. 464; т. 2. С. 124–125.

Из памятных записок графа Павла Христофоровича Граббе. М.: Университетская тип., 1873. С. 94–96.

Из рассказов Г. В. Грудева // Русский архив. 1898. № 11. С. 437–438.  
Каменская М. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1991. С. 169, 176–180.

Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». М.: Дрофа, 2008.

Липранди И. П. Замечания на Воспоминания Ф. Ф. Вигеля. М.: Императорское Общество истории и древностей Российских при Московском ун-те, 1873. С. 7, 11–16, 71.

Марин С. Н. Полн. собр. соч. (Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 10). М.: Изд. Государственного Литературного музея, 1948 (по указ.).

Новосильцева Т. Рассказы из прошлого // Русская старина. 1878. № 3. С. 538–540.

Новосильцева Т. Рассказы из прошлой жизни // Русская старина. 1878. № 6. С. 334–336.

Остафьевский архив князей Вяземских / Изд. графа С. Д. Шереметева. Т. 1–5. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899–1913 (по указ.).

О. <Перфильева П. Ф. > Несколько глав из жизни графини Инны // Русский вестник. 1864. № 4. С. 683–734.

Перфильева П. Ф. Граф Ф. И. Толстой // Русская старина. 1878. № 12. С. 718.

Савва (Тихомиров), архиепископ. Из записок архиепископа Саввы // Русский архив. 1909. № 8. С. 699–700.

Стахович А. А. Ключки воспоминаний. М.: Тип. т-ва «И. Н. Кушнерёв и К°», 1904. С. 144–153.

Фёдоров И. И. О путешествии в Японию // Русский архив. 1913. № 10. С. 459–460.

Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т. 1. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1985. С. 105, 479, 480.

Рассказы бабушки <Е. П. Яньковой>: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово. Л.: Наука, 1989. С. 227–228.

#### *Литература о графе Ф. И. Толстом*

Арустамова А. А. Письмо Ф. И. Толстого-Американца в Государственном архиве Пермской области // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 гг. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. С. 144–147.

Архангельская Г. Я. Участник Отечественной войны 1812 года граф Ф. И. Толстой // Бородино и наполеоновские войны: Битвы, поля сражений, мемориалы: Материалы Международной научной конференции, посвящённой 190-летию Бородинского сражения. Бородино, 9–11 сентября 2002 г. М.: Калита, 2003. С. 384–394.

Архангельская Т. Н. Ф. И. Толстой-Американец: Легенды и документы // Л. Н. Толстой и судьбы современной цивилизации: Материалы XXIX Международных Толстовских чтений. Ч. 2. Тула, 2003. С. 277–289.

Архангельская Т. Н. Ф. И. Толстой — сват А. С. Пушкина // А. С. Пушкин в Подмосковье и Москве: Материалы VIII Пушкинской конференции 18–19 октября 2003 года в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина. Большие Вязёмы, 2004. С. 9–17.

Архангельская Т. Н. Граф Ф. И. Толстой (Американец) — ополченец

1812 года из Калужской губернии // Отечественная война 1812 года и российская провинция: События. Люди. Памятники. Малоярославец: Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года, 2004. С. 221–231.

Архангельская Т. Н. Два документа участника Бородинского сражения графа Ф. И. Толстого (Американца) // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы: Материалы XI Всероссийской научной конференции. Бородино, 8–10 сентября 2003 г. Можайск: Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, 2004. С. 15–22.

Архангельская Т. Н. Новые документы о военной судьбе гр<афа> Ф. И. Толстого в 1812 г. // Яснополянский сборник: 2004. Тула: Ясная Поляна, 2004. С. 243–252.

Бердников Л. Об одном автографе Толстого-Американца // Стороны света. 2010. № 11 (<http://www.stosvet.net/1/berdnikov/index2.html>).

Берёзкина С. В. Почему Фёдора Толстого прозвали «Американцем»? // Русская литература. 2001. № 3. С. 92–95.

Бонди С. М. Письмо к Ф. И. Толстому-Американцу // Бонди С. М. Черновики Пушкина: Статьи 1930–1970 гг. М.: Просвещение, 1978. С. 63–72.

Бочков В. Н. «Преступный и привлекательный человек» // Бочков В. Н. «Скажи: которая Татьяна?»: Образы и прототипы в русской литературе. М.: Современник, 1990. С. 28–47, 302–303.

Военский К. А. Русское посольство в Японию в начале XIX века (Посольство Резанова в Японию в 1803–1805 гг.) // Русская старина. 1895. № 10. С. 201–216.

Востриков А. В. Книга о русской дуэли. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1998. С. 141–151.

Ерофеев В. И. Толстой-Американец. Нижний Новгород: Диалог Кulture, 2 009 192 с.

Желвакова И. А. «Тогда... в Сивцевом» (Прогулки по Сивцеву Вражку и воображаемые путешествия в прошлое старого московского переулка). М.: Московский рабочий, 1992. С. 12–20, 131.

Лернер Н. О. С кого Пушкин списал Зарецкого? // Русская старина. 1908. № 2. С. 419–427.

Лернер Н. О. Новонайденное письмо Пушкина (Пушкин и Толстой-Американец) // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. XV. СПб., 1911. С. 1–20.

Петрицкий В. А., Суетов Л. А. К истории одного прозвища (Ф. И. Толстой-«Американец») // Русская литература. 1987. № 2. С. 99–103.

Поликовский А. Граф Безбрежный: Две жизни графа Фёдора Ивановича Толстого-Американца. М.: Минувшее, 2 006 200 с.

Розанова С. А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М.: Наука; Флинта, 2000. С. 198, 205–209, 222–252.

Сгибнев А. Рязанов и Крузенштерн (Эпизод из первого кругосветного плавания русских) // Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 385–392.

Толстой Н. Д. Американец *Предисл. и пер. с англ. Т. Касиной* / Новая Юность. 1997. № 1–2. С. 82–120.

Толстой С. Л. Фёдор Толстой Американец. М.: Современник, 1990. 64 с.

Толстой С. М. Фёдор Иванович Толстой-Американец: 1782–1846 // < Толстой С. М. > Толстой и Толстые: Очерки из истории рода / Пер. с фр., сост. и коммент. Н. И. Азаровой. М.: Советская Россия, 1990. С. 94–107.

Т<омашевский> Б<орис>. Эпиграмма Толстова-Американца <sic> на А. Пушкина // Литературная мысль. Вып. II. Пг.: Мысль, 1923. С. 237–238.

Филин М. Дуэль без дуэли: Пушкин и Фёдор Толстой-Американец // Литературная газета. 2009. № 5. 4–10 февраля. С. 5. См. также: 1) Москва. 2009. № 6. С. 193–199 («Об одной дуэли Пушкина»); 2) Юг: Литературно-художественный альманах. № 9. Ашкелон, 2009. С. 96–103.

Хафизов О. Э. Дикий американец: Авантюрный роман о графе Фёдоре Толстом. М.: Аграф, 2007 384 с.

Цявловская Т. Г. Фёдор Толстой «Американец» // Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М.: Искусство, 1986. С. 139–146.

Шумилин С. В. Граф Толстой-Американец и граф Бенкендорф // Новое литературное обозрение. 1994. № 7. С. 236–239.

## Примечания

Желвакова И. А. «Тогда... в Сивцевом». М., 1992. С. 12.

Граббе. С. 94–95.

Булгарин. С. 207–208.

Каменская. М., 1991. С. 176.

Сборник биографий кавалергардов: По случаю столетнего юбилея Кавалергардского полка. Т. 2. СПб., 1904. С. 402.

Герцен А. И. Собр. соч.: В 10 т. Т. 8. М., 1956. С. 243.

Вигель-1. С. 347.

Стахович А. А. Клочки воспоминаний. М., 1904. С. 145–146.

РА. 1873. № 6. Стб. 1104.

Уже 30 октября 1818 года А. И. Тургенев отвечал князю Петру Андреевичу из Петербурга: «Вчера получил <...> стихи Толстому» (ОА. Т. 1. СПб., 1899. С. 136). Спустя две недели, 16 ноября, откликнулся из Москвы и В. Л. Пушкин. «Толстому вручил и прочёл прекрасную твою эпистолу, — писал он П. А. Вяземскому. — Ты поэт превосходный!» (Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 241).

Вяземский П. А. Сочинения: В 2 т. Т. 1: Стихотворения. М., 1982. С. 88. См. также Приложение I.

Стахович А. А. Указ. соч. С. 40–41.

С. Л. Толстой. С. 3.

Там же. С. 61–62.

На неё откликнулись не только в советской печати, но и эмигранты; см., например, рецензию Д. А. Лутохина в пражском журнале «Воля России» (1926. № 5).

На этой ниве наиболее плодотворно трудится ведущий научный сотрудник Государственного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого „Ясная Поляна“» Т. Н. Архангельская. «Поиск и публикация извлечённых из архивов малоизвестных и немногочисленных вновь найденных документов — единственный путь к прояснению вопросов биографии Ф. И. Толстого и к развенчанию легенд, порождённых своеобразием его натуры и судьбы», — резонно пишет исследовательница в одной из своих работ (*Архангельская-4*. С. 19). Документы из РГВИА, помещённые в данной книге, обнаружены ею. Выражаем Татьяне Николаевне искреннюю признательность за то, что она — ещё до выхода в свет собственных публикаций — предоставила некоторые архивные материалы в наше распоряжение.

Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 24–25. Выделено В. О. Ключевским.

С. Л. Толстой. С. 62.

Здесь и далее ссылки на пушкинские произведения и письма (а также на эпистолярные послания Пушкину) даются нами в тексте по так называемому Большому академическому собранию сочинений поэта в 17 томах (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959), причём римской цифрой обозначаются номер тома, а арабской — страницы. Зачёркнутые слова и фразы Пушкина и его корреспондентов помещаются в квадратные скобки, а дописанные или добавленные по смыслу — в угловые.

Брикнер А. Г. История Петра Великого. М., 1991. С. 662.

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1988. С. 153.

Там же. С. 210.

Зверев А., Туниманов В. Лев Толстой. М., 2007. С. 16.

Павленко Н. И. Указ. соч. С. 207.

Зверев А., Туниманов В. Указ. соч. С. 16.

*Павленко Н. И. Указ. соч. С. 243.*

С. Л. Толстой. С. 4.

Каменская. С. 19.

Датой рождения И. А. Толстого долго считался 1747 год, а год смерти если и назывался, то предположительно («после 1811 года» и т. п.). Точные даты жизни Ивана Андреевича недавно установлены В. Н. Бочковым, который наткнулся в селе под Костромой на могильную плиту графа; см.; *Бочков В. Н.* «Скажи: которая Татьяна?»: Образы и прототипы в русской литературе. М., 1990. С. 28.

Дирин П. Н. История лейб-гвардии Семёновского полка. Т. II. Приложения. СПб., 1883. С. 165.

Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 166.

См.: Примерный стат Костромской губернии, состоящей из двух областей, или провинций, перьвой Костромской, из одиннадцати уездов: Костромского, Нерехтского, Плеского, Луховского, Кинешемского, Буйского, Соли-Галицкого, Галицкого, Кадыевского, Чухломского, Юрьевско-Повольского, второй Унженской, из четырёх уездов: Макарьевского на Унже, Ветлужского, Кологривского и Варнавинского. <СПб.> 1778.

*Бочков В. Н. Указ. соч. С. 29.*

Архангельская-4. С. 16.

Поликовский. С. 160.

С. Л. Толстой. С. 5.

С. Л. Толстой приводит такие данные о детях Ивана Андреевича: «Мария, р. 1779 г., муж Степан Абрамович Лопухин, егермейстер. <...> Вера, р. 1783, ум. 1879 (96-ти лет), муж Семён Антонович Хлюстин. Пётр, р. 1785, ум. 1861, отст<авной> мичман, жена Елизавета Александровна Ергольская (сестра Т. А. Ергольской, воспитательницы Л. Н. Толстого, и мать Валерьяна П. Толстого, мужа сестры Л. Н. Толстого М. Н. Толстой). Януарий, р. 1792, ум. 1835, отст<авной> майор, жена Ек. Дм. Ляпунова (ум. 1882 г.). Екатерина, муж капитан гвардии Шулинский. Анна, умерла до 1832 г., девица» (С. Л. Толстой. С. 5–6. Выделено автором). Впоследствии С. Л. Толстой и М. А. Цявловский, составившие (при участии Н. П. Чулкова) генеалогические таблицы предков, родственников и потомков Л. Н. Толстого, уточнили, что граф Пётр Толстой скончался в 1834 году (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 46. М.; Л., 1934. С. 489). Из других источников известно, что Мария Ивановна Лопухина (запечатлённая на широко известном полотне В. Л. Боровиковского) умерла в 1803 году (Толстой С. М. Толстой и Толстые: Очерки из истории рода. М., 1990. С. 33).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 6 (письмо от 23 ноября 1818 года). В настоящее время любопытнейшая переписка графа Ф. И. Толстого с князем П. А. Вяземским готовится к печати научными сотрудниками РГАЛИ Е. В. Бронниковой и Т. Л. Латыповой. Автор книги благодарен им за предоставленную возможность ознакомиться с фрагментами этого эпистолярного корпуса.

Месяцослов <sic> на лето от Рождества Христова 1782, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочинённый на знатнейшие места Российской Империи. СПб., 1781. С. 7.

Его память — 8 февраля и 8 июня ст. ст.

С. Л. Толстой. С. 5–6.

Архангельская-4. С. 17.

Московские ведомости. 1782. № 12. 9 февраля. С. 89, 91.

Там же. № 13. 12 февраля. С. 97.

Романюк С. К. В поисках пушкинской Москвы. М., 2001. С. 80–81.

Шамаро А. Действие происходит в Москве: Литературная топография. М., 1988. С. 52–54, 194–195; Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. М., 1997. С. 421.

См.: Путевые записки митрополита Платона, Московского и Калужского, в Ярославль, Кострому и Владимир // РВ. 1841. Т. 3. С. 513.

С. Л. Толстой. С. 6.

C3K. C. 61.

Липранди. С. 7.

Булгарин. С. 206.

Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 464 (письмо от 12 (24) октября 1846 года из Страсбурга).

Архангельская-4. С. 16, 18; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626.  
Ч. 2. Л. 112, 117.

Записки графа Фёдора Петровича Толстого. М., 2001. С. 80.

Веселого Ф. Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет. СПб., 1852. С. 165.

Там же. Приложение. С. 54.

Записки графа Фёдора Петровича Толстого. М., 2001. С. 79.

Веселого Ф. Ф. Указ. соч. С. 164.

Там же. Приложение. С. 50.

Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т. 1: Записки и письма. Иркутск, 1985. С. 89–91. Выделено мемуаристом.

Там же. С. 99.

Веселого Ф. Ф. Указ. соч. С. 167, 170.

Там же. С. 170.

Такие случаи тогда в Морском корпусе бывали; см.: Веселого Ф. Ф. Указ. соч. С. 164.

Архангельская-4. С. 16. То же самое, но другими словами сказано в прошении графа Фёдора Толстого об отставке, которое было подано в 1814 году (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117 об.).

В прошении Ф. И. Толстого об отставке (1814) указана иная дата: 27 декабря 1797 года (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117).

Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С. 83.

Архангельская-4. С. 16. Аналогичные сведения приведены в «Пашпорте», выданном графу Ф. И. Толстому в 1816 году «во свидетельство» его увольнения от службы. (Там же. С. 18.) См. также: Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г. Т. IV. СПб., 1883. С. 217; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 112, 117.

Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. Указ. соч. Приложение 8-е.

Чичерин А. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г. Т. II: 1725–1801 г. СПб., 1883. С. 632.

Там же. С. 633.

Отдельные исследователи и писатели почему-то сочли, что «Вязмитинский полк» — некий «скромный провинциальный» полк, располагавшийся «в заштатном городе». «Но в русской армии полка с таким именем не было! — недоумевает, в частности, А. Поликовский, автор занимательной книги для чтения „Граф Безбрежный“. — Это — одна из тех несуразностей, которых много в мифе о Фёдоре Толстом» (Поликовский. С. 23). Ср.: «Вязмитинов был не город, а человек» (Хафизов О. Дикий американец: Авантюрный роман о графе Фёдоре Толстом. М., 2007. С. 85).

Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. Указ. соч. С. 217.

Архангельская-4. С. 16, 18; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626.  
Ч. 2. Л. 112, 117.

Архангельская-4. С. 17, 18; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626.  
Ч. 2. Л. 112.

PB. 1864. № 4. C. 683.

Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. Указ. соч. С. 86.

Марин. С. 300 (письмо С. Н. Марина от 22 декабря 1803 года из Петербурга). Выделено автором.

Там же. С. 26.

Ивченко Л. Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. М., 2008. С. 529.

Марин. С. 54–55. Сохранена орфография подлинника.

Парчевский Г. Ф. Карты и картёжники: Панорама столичной жизни. СПб., 1998. С. 86.

Цит. по: Удовик В. Воронцов. М., 2004. С. 41.

Булгарин. С. 205.

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 227.

Вигель-1. С. 347.

Булгарин. С. 202. Выделено мемуаристом.

Там же. С. 203.

Записки графа Фёдора Петровича Толстого. М., 2001. С. 129.

PB. 1864. № 4. C. 683.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 7 об. (письмо князю П. А. Вяземскому от 23 ноября 1818 года).

PC. 1873. T. VII. C. 125.

C3K. C. 61.

Там же. С. 342.

Булгарин. С. 202.

Цит. по: Эйхенбаум Б. М. Примечания // Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955. С. 709.

Так, профессор Московского университета Н. Е. Черепанов с неодобрением поминал имя А.-Ж. Гарнерена на лекциях в 1802–1803 годах (Жихарев С. П. Указ. соч. С. 11).

Там же. С. 96.

Там же. С. 508.

Ерофеев В. И. Толстой-Американец. Нижний Новгород, 2009. С. 16.

ИБ. 1898. № 7. С. 200.

Архангельская-4. С. 16; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117 об. (здесь уточнено, что отпуск был предоставлен Ф. И. Толстому «февраля от 24»). В «Пашпорте» 1816 года, вероятно, ошибочно записано, что граф никогда «в домовых отпусках не бывал» (Архангельская-4. С. 19).

Биография Сарры. С. VIII.

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 227.

Граббе. С. 94.

Каменская. С. 176.

Определение А. И. Герцена; цит. по: С. Л. Толстой. С. 47.

Вигель-1. С. 348.

Булгарин. С. 205.

Лисянский. С. 21.

Гладкий Ю. Н. Величие подвига первого морехода России // Круженштерн. С. 8.

Крузенштерн. С. 36–37.

Там же. С. 45.

Капер — частное судно, получившее от правительства своей страны право захватывать во время войны корабли неприятеля.

Военский К. Русское посольство в Японию в начале XIX века // РС.  
1895. № 10. С. 202.

Лисянский. С. 22.

Крузенштерн. С. 46.

Там же. С. 47.

Там же.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 387.

Турковский В. Кругосветное путешествие нескольких японцев через Сибирь, сто лет назад // ИВ. 1898. № 7. С. 200.

Крузенштерн. С. 259.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 390.

Крузенштерн. С. 45.

Там же. С. 421.

PC. 1895. № 10. C. 203–204.

Тихменев П. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действий её до настоящего времени. 4.2. Приложение. СПб., 1863. С. 187.

Лисянский. С. 22.

РА. 1873. № 6. Стб. 1102.

Крузенштерн. С. 104–105.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 390.

Крузенштерн. С. 90, 535.

Там же. С. 56. Крузенштерн ошибочно возвёл Толстого в «гвардии поручики», хотя поручиком граф Фёдор стал уже во время плавания, в августе 1804 года. «Поручшиком гвардии» именовал нашего героя и приказчик Н. И. Коробицын в своих «Записках» (Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX веках. М.; Л., 1944. С. 132).

Архангельская-4. С. 17.

PC. 1873. T. VII. C. 44.

Каменская. С. 177.

РА. 1873. № 6. Стб. 1102.

Булгарин. С. 202.

PC. 1873. T. VII. C. 36.

Латинская Америка. 1982. № 1. С. 147 (запись в дневнике лейтенанта Е. фон Левенштерна от 2 (14) января 1804 года).

Военский К. Указ. соч. С. 211.

В описании кругосветного путешествия нами используется, как правило, григорианский календарь.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 389.

Крузенштерн. С. 58.

Лисянский. С. 29.

Там же. С. 30.

Крузенштерн. С. 59.

Лисянский. С. 31.

Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Т. 1: Записки и письма. Иркутск, 1985. С. 105.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 389.

Каменская. С. 177.

Марин. С. 290.

Крузенштерн. С. 81, 85–86.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX веках. М.; Л., 1944. С. 146.

Лисянский. С. 51.

Крузенштерн. С. 91.

Латинская Америка. 1982. № 1. С. 141.

По поводу столкновений во время бразильской стоянки исследователь позапрошлого века писал следующее: «Так, когда Резанов, на основании данной ему инструкции на случай неожиданного разлучения судов, послал Лисянскому необходимые наставления, касающиеся хозяйственной и экономической части, для исполнения их по прибытии на остров Кадьяк, о чём вместе с тем уведомил и Крузенштерна особым письмом, прося и его снабдить с своей стороны Лисянского необходимыми указаниями, касающимися самого плавания, то Лисянский не только не ответил посланнику, но даже вернул ему обратно его письмо под предлогом, что оно доставлено ему не „по команде“, то есть не через Крузенштерна. Сам же Крузенштерн тремя письмами требовал от Резанова объяснения, на каком основании он, Резанов, лишает его прав начальства над экспедицией, непосредственно ему от компании вверенной, и нарушает дисциплину и т. п.» (Военский К. Указ. соч. С. 210).

Там же. С. 89.

Лисянский. С. 60.

Латинская Америка. 1982. № 1. С. 145.

Там же. С. 143.

Судьба же реальной обезьяны окончательно прояснилась совсем недавно, после публикации полного текста дневника лейтенанта Е. Е. фон Левенштерна. Оказывается, всеобщий интерес команды «Надежды» к макаке быстро угас, и та, сорвавшись с верёвки, бродила по кораблю «бесхозной». Однажды «она укусила Толстого, который хотел привязать её на верёвку, — писал офицер. — Тогда он совершенно зазря так кинул её на палубу, что она сильно ударилась, и графу пришлось убить издыхающую обезьяну» (Ерофеев В. Толстой-Американец. Нижний Новгород, 2009. С. 32). Перед нами ещё один впечатляющий образчик «толстовской дикости».

Крузенштерн. С. 93.

Латинская Америка. 1982. № 1. С. 147.

Комиссаров Б. Н. Русские источники по истории Бразилии первой трети XIX века. Л., 1977. С. 148.

ВЕ. 1804. Ч. XVI. № 16. С. 267–272. Выделено авторами писем.

Каменская. С. 177. О том, что граф «со всеми перессорился, всех перессорил», писали и другие, например Ф. Ф. Вигель (*Вигель-1*. С. 347).

Журнал первого путешествия россиян вокруг земного шара, сочинённый под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российско-Американской компании главным комиссионером московским купцом Фёдором Шемелиным. Ч. 1. СПб., 1816. С. 97.

Латинская Америка. 1982. № 1. С. 151.

BE. 1804. Ч. XVI. № 16. С. 272.

PC. 1895. № 10. C. 210–211.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 390; РС. 1895. № 10. С. 216.

PC. 1895. № 10. C. 211.

Каменская. С. 177.

Крузенштерн. С. 116.

Каменская. С. 178–179.

Романов Д. М. Легендарный герой // Молодой коммунар. 1972. 15 октября.

Крузенштерн. С. 115–116.

Там же. С. 118.

Лисянский. С. 99.

Тихменев П. Указ. соч. С. 188; Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 387, 389.

Журнал первого путешествия россиян... С. 147.

Крузенштерн. С. 123–124.

Шканцы — часть палубы корабля, между грот-мачтой (обычно второй от носа) и бизань-мачтой (задней, ближайшей к корме). На шканцах в плавании проходили суды и наказания («разделки»).

Бак — носовая надстройка судна.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 387–388.

Военский К. Указ. соч. С. 213.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX веках. М.; Л., 1944. С. 165.

Крузенштерн. С. 173.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX  
веках. М.; Л., 1944. С. 166.

Турковский В. Кругосветное путешествие нескольких японцев через Сибирь, сто лет назад // ИВ. 1898. № 7. С. 203.

С. Л. Толстой. С. 10.

Крузенштерн. С. 156–157.

Журнал первого путешествия россиян... С. 131.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX  
веках. М.; Л., 1944. С. 161.

Лисянский. С. 108.

Крузенштерн. С. 157.

Каменская. С. 177.

Журнал первого путешествия россиян... С. 147–148.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 388.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX  
веках. М.; Л., 1944. С. 169.

Лисянский. С. 124.

Крузенштерн. С. 194.

О каком-то ожесточённом «споре» Лисянского и Крузенштерна известно из мемуаров Фаддея Булгарина (Булгарин. С. 202).

Крузенштерн. С. 193–194.

Журнал первого путешествия россиян... С. 148. Выделено Ф. Шемелиным.

Крузенштерн. С. 197.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 389.

Напомним читателям, что «Нева», разлучившись с «Надеждой» на Сандвичевых островах и пройдя вышеуказанным маршрутом, вернулась в Кронштадт 7(19) августа 1806 года.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII–XIX  
веках. М.; Л., 1944. С. 169.

Крузенштерн. С. 201.

Штейнгейль В. И. Указ. соч. С. 105.

Застрелился Пётр Трофимович, так и не одолев «расстроенности душевной» (И. Ф. Крузенштерн), в мае 1806 года, на острове Святой Елены (впоследствии знаменитом). Там же лейтенанта и похоронили.

Крузенштерн. С. 200.

Штейнгейль В. И. Указ. соч. С. 105.

Журнал первого путешествия россиян... С. 165.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 388–389.

Журнал первого путешествия россиян... С. 167.

Крузенштерн. С. 201.

Журнал первого путешествия россиян... С. 167–168.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 389.

Крузенштерн. С. 203.

PA. 1913. № 10. С. 460.

Штейнгейль В. И. Указ. соч. С. 102. Косвенно признали факт сговора начальников на Камчатке и некоторые современные исследователи. Например, в одной из работ есть такие строки: «К счастью, Резанов и Крузенштерн нашли в себе достаточно благоразумия и мужества для того, чтобы забыть личные обиды во имя государственных интересов. Между ними состоялось примирение. <...> Для местного начальства Толстой <...> был объявлен виновником раздоров, которые произошли между Резановым и Крузенштерном» (Петрицкий В. А., Суетов Л. А. К истории одного прозвища (Ф. И. Толстой-«Американец») // Русская литература. 1987. № 2. С. 102).

Журнал первого путешествия россиян... С. 168.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 390. Кроме того, в Камчатке оставили толмача японца Киселёва, а также «дикого француза» Жозефа Кабре, случайно попавшего на «Надежду» при отплытии с Нукагивы.

Журнал первого путешествия россиян... С. 168.

PC. 1895. № 10. C. 214–215.

Журнал первого путешествия россиян... С. 168.

Петров В. Камергер Двора. Вашингтон, 1973. С. 47.

Тихменев П. Указ. соч. С. 189.

Видимо, графа Толстого опять подвёл длинный язык: он поведал окружающим, что намерен манкировать службой и отправиться из Петропавловска в древнюю столицу.

Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 390.

Согласно документам, Ф. И. Толстой стал поручиком 10 августа 1804 года (Архангельская-4. С. 16; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 112, 117).

PC. 1878. № 3. C. 540.

Булгарин. С. 202.

К тому времени отношения Резанова и Крузенштерна вновь обострились до крайности.

Сгибнев А. Рязанов и Крузенштерн (Эпизод из первого кругосветного плавания русских) // Древняя и новая Россия. 1877. № 4. С. 392.

Там же.

Розанова С. А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М., 2000. С. 242.

Цит. по: Арустамова А. А. Письмо Ф. И. Толстого-Американца в Государственном архиве Пермской области // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 гг. СПб., 2007. С. 146.

Штейнгейль В. И. Указ. соч. С. 480.

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 227.

РА. 1873. № 6. Стб. 1102.

Галоши, или колоши (колюши) — индейцы из группы тлин-китов, жившие на северо-западном берегу Америки и на близлежащих островах в Тихом океане.

Булгарин. С. 203. Выделено мемуаристом.

Каменская. С. 179.

Вигель-1. С. 347.

С. Л. Толстой. С. 15.

Этот вопрос обстоятельно исследован в вышеуказанной статье В. А. Петрицкого и Л. А. Суетова (см. примеч. 224).

См.: Берёзкина С. В. Почему Фёдора Толстого прозвали «Американцем»? // Русская литература. 2001. № 3. С. 92–95.

Крузенштерн. С. 433.

Там же. С. 436.

Там же. С. 430.

Булгарин. С. 203.

*Розанова С. А. Указ. соч. С. 226–227. Достоинно внимания следующее — стилистически не совсем отшлифованное — замечание С. А. Розановой: «Никто из тех, кто изучал биографию Американца или упоминал отдельные моменты его жизни, не удосужился заглянуть в „Русский вестник“, чтобы проверить свои суждения и отказаться от бытующих мифов и домыслов». (Там же. С. 240.)*

PB. 1864. № 4. C. 683.

Штейнгейль В. И. Указ. соч. С. 101–102.

Крузенштерн. С. 335.

Журнал первого путешествия россиян... С. 168.

Петров В. Указ. соч. С. 46.

Крузенштерн. С. 397.

Штейнгейль В. И. Указ. соч. С. 101.

Публикуя данный архивный документ, А. А. Арустамова не сумела установить место, где писалась эпистолия, но это, несомненно, Охотск.

Арустамова А. А. Указ. соч. С. 145. При воспроизведении письма сохранены некоторые особенности орфографии и пунктуации подлинника.

Каменская. С. 176, 179. Выделено мемуаристкой.

Например, в 1805 году бумаги от министра коммерции графа Н. П. Румянцева были доставлены к капитан-лейтенанту Крузенштерну через 62 дня (Крузенштерн. С. 398).

Турковский В. Кругосветное путешествие нескольких японцев через Сибирь, сто лет назад // ИВ. 1898. № 7. С. 196–198.

СЗК.С. 353. Выделено мемуаристом.

Возможно, граф Фёдор выделил умильного девятнадцатилетнего собеседника ещё и потому, что юноша исправлял почти такую же должность, как и сам Толстой при Резанове: он ехал в Китай «под именем дворянина посольства». Через несколько месяцев Филипп Вигель в каком-то смысле повторил судьбу графа: в Кяхте он был исключен из состава посольства.

Вигель-1. С. 348.

Архангельская-4. С. 17. Ср.: РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. 4.2. Л. 113.

Архангельская-4. С. 19.

Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г. Т. IV. СПб., 1883. С. 217.

Граббе. С. 94, 95.

Ивченко Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. М., 2009. С. 199.

Биография Сарры. С. VII.

Булгарин. С. 201. Выделено мемуаристом.

Там же. С. 206.

PC. 1873. T. VII. C. 125.

Перфильева П. Ф. Граф Ф. И. Толстой//РС. 1878. № 12. С. 718. В хронике «Несколько глав из жизни графини Инны» Прасковья Фёдоровна просто указала, что отец её «был разжалован» (РВ. 1864. № 4. С. 683).

Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991. С. 83.

Архангельская-4. С. 16. Практически то же самое прописано в «Пашпорте» 1816 года (Там же. С. 19) и в прошении Ф. И. Толстого об отставке 1814 года (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117).

Костромской полк назывался мушкетёрским до 22 февраля 1811 года, когда он стал именоваться пехотным.

Богданович В. Краткая история 19-го пехотного Костромского полка с 1805 по 1900 г. Житомир, 1900. С. 7, 16.

Ср.: «Дата выписки поручика графа Толстого в Нейшлотский гарнизонный батальон — 10 августа 1805 года — не подтверждается публикацией Высочайшего приказа об этом в „Санктпетербургских ведомостях“ (№ 66 от 18 августа 1805 года): пункта о переводе графа Толстого в тексте приказа от 10 августа нет» (Архангельская-4. С. 20).

Давыдов Д. Полн. собр. стихотворений / Ред. и примеч. В. Н. Орлова. Л., 1933. С. 281. Сохранена орфография подлинника. Публикуя этот текст, В. Н. Орлов отметил без каких бы то ни было пояснений, что стихи посланы «со станции за 60 вёрст от Петербурга» (там же). См. также: ЛН. Т. 19–21. М., 1935. С. 339.

Богданович В. Указ. соч. С. 6.

Там же. С. 11, 299.

Там же. С. 12.

Архангельская-4. С. 17.

Там же. В подлиннике ошибочно указан 1806 год; позднее эта ошибка перекочевала в «Пашпорт» (Там же. С. 19) и другие документы (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 112).

Архангельская-4. С. 17; см. также: РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584.  
Д. 626. 4.2. Л. 112.

Булгарин. С. 206.

PB. 1864. № 4. C. 683.

Архангельская-4. С. 18; см. также: РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584.  
Д. 626. 4.2. Л. 112, 117.

Особенно в старой Финляндии (*примеч. К. Н. Батюшкова*).

Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 93.

Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. СПб., 2000. С. 67.  
Стихотворение «Финляндия» было напечатано в 1820 году.

Поликовский. С. 62.

См.: Подмазо А. А. Костромской пехотный полк // ОВ. С. 374.

Вигель-1. С. 472.

Марин. С. 105. Армейскому чину майора соответствовал как раз чин гвардейского штабс-капитана; см., напр.: Шепелев Л. Е. Указ. соч. С. 83.

Беремя — очень много, сколько можно обнять руками (*В. И. Даль*).

В ответном послании к графу Ф. И. Толстому С. Н. Марин подтвердил, что его камердинер «чёрен, как сапог».

Ср. у Пушкина:

Бывало, он ещё в постеле:

К нему записочки несут... (VI, 10).

Ср. у Пушкина:

К *Talon* помчался... (VI, 11; выделено Пушкиным).

Намёк на графиню В. Н. Завадовскую.

Марин. С. 375–376.

Алкивиад (ок. 450–404 до Р. Х.) — афинский полководец и государственный деятель.

Там же. С. 103–104. Сохранена орфография подлинника.

Полный текст послания С. Н. Марина к графу Ф. И. Толстому помещён в Приложении 1 к данной книге.

Бородкин М. М. Краткая история Финляндии. СПб., 1911. С. 94.

Там же. С. 98.

Долгов С. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г.  
Т. 111: 1801–1883. 4. 1. СПб., 1898. С. 55–56.

Давыдов Д. Военные записки. М., 1982. С. 105.

Бородкин М. М. Указ. соч. С. 100.

Вигель-1. С. 472.

Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия:  
Именные списки 1769–1920: Биобиблиографический справочник. М., 2004.  
С. 134, 207.

Архангельская-4. С. 16, 18; см. также: РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. 4. 2. Л. 117.

Липранди. С. 7.

Там же. С. 12, 16. «Мост при Иденсальме, — удачно заметил современный автор, — конечно, не поставишь рядом с Аркольским мостом, по которому молодой Бонапарт повёл свою дрогнувшую было пехоту прямо на австрийские пушки — но всё же эта атака десятка казаков и одного графа на отряд драгун тоже чего-то стоит...» (Поликовский. С. 70).

Липранди. С. 14.

Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 80 (письмо Н. И. Гнедичу от 1 ноября 1808 года).

Там же. С. 326 (письмо П. А. Вяземскому, написанное во второй половине марта 1815 года).

Липранди. С. 14–15.

Вигель-1. С. 472.

Там же.

Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883. Т. IV. СПб., 1883. С. 217; Архангельская-4. С. 16, 18; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 112, 117.

Долгов С. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г.  
Т. III: 1801–1883. Ч. 1. СПб., 1898. С. 57.

Архангельская-4. С. 16; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117.

Булгарин. С. 203–204.

Архангельская-4. С. 16, 18; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626.  
Ч. 2. Л. 112, 117.

РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117 об.

Тогда Американец ещё ходил в поручиках.

Долгов С. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г. Т. III: 1801–1883. Ч. 1. СПб., 1898. С. 58.

Ср. с фрагментом «Автобиографической записки государственного секретаря Василия Романовича Марченки, 1782–1838 гг.»: «Тут узнали мы, что среди жесточайших морозов, при ветре, исчезает в несколько часов лёд на Ботническом заливе, и если бы несчастье это постигло корпус, то ни один человек не спасся бы; но Бог был милостив к нам» (РС. 1896. № 3. С. 482).

Бородкин М. М. Указ. соч. С. 110.

Назимов Е. П. Записки // Труды Псковского Археологического общества. Вып. 8. Псков, 1912. С. 60.

Там же.

Ерофеев В. Толстой-Американец. Нижний Новгород, 2009. С. 61.

Архангельская-4. С. 16, 18; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/115-а. Св. 584. Д. 626.  
Ч. 2. Л. 112, 117 об.

Бородкин М. М. Указ. соч. С. 121.

«Он <...> не утомился...» — констатировала П. Ф. Перфильева в хронике «Несколько глав из жизни графини Инны» (РВ. 1864. № 4. С. 683).

PB. 1864. № 4. C. 683.

Сообщения о других поединках Американца в годы его военной службы (например, рассказы об экзотической «подводной» дуэли графа с неким морским офицером или о столкновениях со шведами) носят заведомо легендарный характер. Информированный Денис Давыдов откровенно потешался над подобными жутковатыми баснями, когда предлагал Ф. И. Толстому (в послании «К другу, на мои именины», 1815): «Прошу тебя забыть *Нахальную уловку*, И крепе, и понтировку, / И страсть людей губить...» Однако нельзя исключать полностью, что у нашего героя всё же были какие-то дуэльные истории, не получившие широкой огласки и посему не запечатлённые в сохранившихся источниках.

Липранди. С. 71.

Граббе. С. 96.

Булгарин. С. 210.

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 227.

Вигель-1. С. 501.

Выражение «дать туза» — в ином, неигровом контексте — значило «ударить кулаком» (отсюда: «тузить»).

Булгарин. С. 201, 208–210. Выделено мемуаристом.

Липранди. С. 71. Выделено мемуаристом.

Ср.: «Прицел в ноги означал желание покончить дуэль лёгкой раной и совершить дело чести, не покушаясь на жизнь противника. Прицел в голову означал не просто желание выполнить дуэльный ритуал, а наличие мстительного чувства и жажду смерти противника» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 293).

Булгарин. С. 201–202.

Цит. по: Ерофеев В. И. Толстой-Американец. Нижний Новгород, 2009.  
С. 69.

Востриков А. Книга о русской дуэли. СПб., 1998. С. 48–49.

Булгарин. С. 210.

Вигель-1. С. 501.

С. Л. Толстой. С. 21.

C3K. C. 61–62.

Архангельская-4. С. 16; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117 об.

Архангельская-4. С. 16, 18; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626.  
Ч. 2. Л. 112, 117 об.

Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г. Т. IV. СПб., 1883. С. 86.

Давыдов Д. Полн. собр. стихотворений. Л., 1933. С. 143. Выделено в подлиннике. См. также: ЛН. Т. 19–21. М., 1935. С. 325.

Неочевидную связь между двумя толстовскими «тузами» впервые заметил, кажется, В. Н. Орлов; см.: Давыдов Д. Полн. собр. стихотворений. Л., 1933. С. 280–281.

ОА. Т. 1. СПб., 1899. С. 262 (письмо от 5 июля 1819 года).

Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 227.

PB. 1864. № 4. C. 683.

РА. 1898. № II. С. 437.

Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г. Т. IV. СПб., 1883. С. 86. Барон Е. В. Дризен, числившийся во время Бородинского сражения «больным», скончался 13 сентября 1812 года и был погребён на Волковом лютеранском кладбище (Ерофеев В. И. Толстой-Американец. Нижний Новгород, 2009. С. 78).

Вызов каким-либо офицером своего командира рассматривался опять-таки как бунт — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дуэли между офицерами и их начальниками тогда, естественно, периодически бывали, но для этого жаждущие получить удовлетворение офицеры обычно сперва выходили в отставку или переводились в другой полк. Граф Фёдор, провоцируя скандал, мог держать в уме и такой вариант. Однако ранняя смерть барона Егора Дризена воспрепятствовала осуществлению плана Американца.

См.: Архангельская-3, Архангельская-4, Архангельская-5. В дальнейшем рассказе об отставке графа Ф. И. Толстого мы опираемся на архивные материалы, опубликованные в этих работах.

**376**

Число пропущено.

Та же дата фигурирует и в «Пашпорте» 1816 года (Архангельская-4. С. 18), и в «Истории» полка; см.: Чичерин А., Долгов С., Афанасьев А. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1883 г. Т. IV. СПб., 1883. С. 217. См. также: РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 112.

То есть без всяких поощрений: без повышения в чине и права носить полковой мундир.

Архангельская-6. С. 249; РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 112. В прошении Ф. И. Толстого об отставке (1814) использован иной оборот: «Прошлого 1811-го года Сентября 14 числа (? — М. Ф.) по прошению за болезненными припадками уволен был от воинской службы на собственное пропитание». (Там же. Л. 117.)

PB. 1864. № 4. C. 683.

Липранди. С. 15.

C3K. C. 62.

С. Л. Толстой. С. 22.

Щукинский сборник. Вып. 2. М., 1903. С. 163, 168; Зильберштейн И. С. Парижские находки: Эпоха Пушкина. М., 1993. С. 81.

Архангельская-5. С. 226–227.

Там же. С. 227.

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 17. Сохранена орфография подлинника. Благодарю Т. А. Медовичеву, которая помогла разыскать данную единицу хранения.

Архангельская-5. С. 228.

PC. 1878. № 12. C. 718.

Архангельская-5. С. 228.

Там же. С. 229.

СЗК. С. 62. Ср. с дневниковой записью К. С. Сербиновича от 9 апреля 1826 года, где повествуется о светской беседе в салоне Карамзиных: «Толстой, удалившийся в Америку, сказал об Истории Российской Н. М. <Карамзина>: „Прочитав её, узнаю достоинство моего отечества“...» (ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 251). Фраза Ф. И. Толстого, по-видимому, всплыла в ходе общего разговора: самого Американца не было в ту пору в России.

Булгарин. С. 206.

Давыдов Д. Полн. собр. стихотворений. Л., 1933. С. 95.

Мартемьянов Т. А. Общества нетрезвости на Руси // ИВ. 1903. № 4. С. 209–210.

*Ганимед* — в греческой мифологии сын троянского царя Троса и нимфы Каллирои, юноша необыкновенной привлекательности. Красота и погубила Ганимеда: он был похищен Зевсом, превратившимся в орла, и унесён на Олимп. Там его определили в виночерпии.

«Арзамас». Кн. вторая: Из литературного наследия «Арзамаса». М., 1994. С. 320–321. В последнем стихе куплета речь идёт о Д. В. Давыдове.

C3K. C. 62.

Булгарин. С. 206–207.

Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. С. 530.

Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия /  
Отв. сост. В. М. Шабанов. М., 2004. С. 16.

Архангельская-1. С. 384.

Шумихин С. В. Граф Толстой-Американец и граф Бенкендорф // НЛО. 1994. № 7. С. 238 (из письма Ф. И. Толстого А. Х. Бенкендорфу от 5 апреля 1829 года; сохранена орфография подлинника).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 105.

Цит. по: Ивченко Л. Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. М., 2008. С. 285.

Архангельская-5. С. 230.

Архангельская-6. С. 245–246. Сохранена орфография подлинника; выделено Н. Н. Демидовым.

Там же. С. 246.

В прошении об отставке (1814) Ф. И. Толстой сообщил: «...При вторжении французов в Российские пределы прошлого 1812 года при всей слабости моей посвятил себя паки на службу, и по Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению принят того же года августа дня 4 подполковником по армии» (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117). В дубликate служебной записки 1816 года (хранится в РГВИА) на сей счёт есть такие чиновничьи строки: «Полковник граф Толстой хотя и пишет в своём прошении, что будто бы он по высочайшему повелению в августе месяце 812 года определён по армии, но о сём высочайшего приказа не было, может быть, что он приказом главнокомандующего определён, и потому в штабском списке его совсем нет» (Архангельская-6. С. 249).

О подполковнике графе Ф. И. Толстом сообщал, например, начальник Московского ополчения генерал-лейтенант граф И. И. Морков в «Списке штаб-и обер-офицерам Московской военной силы, отличившимся в кампанию прошлого 1812 года» (1813); то же самое сказано в «Санктпетербургских ведомостях» (1813. № 27. 4 апреля. С. 288); четырежды назван Американец подполковником (причём «принятым <на службу> покойным генерал-фельдмаршалом князем Голенищевым-Кутузовым Смоленским») в дубликate служебной записки, составленной для Александра I в январе 1816 года. В «Пашпорте» 1816 года читаем: «Принят подполковником по армии», однако в дате здесь допущена ошибка (Архангельская-4. С. 18). Добавим к этому, что в Списке Московской военной силы, помещённом в книге «Московское дворянство в 1812 году» (М., 1912), среди офицеров 1-го егерского полка третьим — вслед за шефом Н. Н. Демидовым и командиром полковником А. В. Аргамаковым — стоит «подполковник гр<аф> Толстой» (Архангельская-6. С. 244, 247–249).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 7 (письмо князю П. А. Вяземскому от 23 ноября 1818 года).

Подмазо А. А. Большая Европейская война. 1812–1815: Хроника событий. М., 2003. С. 45. В прошении Ф. И. Толстого об отставке пишется, что он принимал участие «в сражении противу французов» и 24 августа 1812 года (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117).

Шведов С. В. Московское ополчение // ОВ. С. 484.

Архангельская-1. С. 386; Архангельская-6. С. 244, 247.

Как сказано выше, граф Фёдор Толстой тогда еще ходил в подполковниках.

Липранди. С. 15.

Смирнов А. А. Батарея Раевского//ОВ. С. 51.

Подмазо А. А. Ладожский пехотный полк // ОВ. С. 395.

Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1985. С. 55.

Цит. по: Ивченко Л. Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. М., 2008. С. 464.

Архангельская-1. С. 386.

О том, что Американец находился на Бородинском поле «в числе стрелков при 26-й дивизии», поведал и Денис Давыдов (Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. С. 530).

Николаев, подполковник. Краткие сведения о боевой жизни 16-го пех<отного> Ладожского полка (С 5 января 1708 года по 1 декабря 1910 года). Варшава, 1911. С. 9.

Памятник работы архитектора А. Адамини (главный бородинский монумент) был уничтожен в 1932 году; однако в 1987 году его восстановили. Тогда же, в 1970–1980-е годы, воссоздана и часть левого фаса редута.

1812–1814: Секретная переписка генерала П. И. Багратиона; Личные письма генерала Н. Н. Раевского; Записки генерала М. С. Воронцова; Дневники офицеров русской армии. М., 1992. С. 218 (письмо Н. Н. Раевского А. Н. Самойлову от 7 сентября 1812 года).

Отечественная война 1812 г. в воспоминаниях современников. М., 2008. С. 248 (из мемуаров Н. Е. Митаревского).

Отечественная война 1812 года. Т. XVIII. СПб., 1911. С. 59–60.

Бородино: Документы, письма, воспоминания. М., 1962. С. 392.

Глинка Ф. Н. Указ. соч. М., 1985. С. 66.

Архангельская-6. С. 246–247. Из дальнейшего текста следует, что Н. Н. Раевский считал резонным представить графа Ф. И. Толстого «к чину».

Там же. С. 251.

Отечественная война 1812 года. Т. XVIII. СПб., 1911. С. 99. Некоторые историки убеждены, что А. П. Ермолов заметно приукрасил свою роль в этих событиях. Так, Л. Л. Ивченко, анализируя рапорт генерала, назвала его «образцом военного красноречия», в котором «многое непонятно» (Ивченко Л. Л. Бородинское сражение: История русской версии событий. М., 2009. С. 306–307). В нашу задачу не входит рассмотрение сложного, щекотливого и едва ли разрешимого вопроса о «главном подвиге дня».

Цит. по: Вдовин Н. И. Бородино. М., 2008. С. 139.

То есть офицеров.

Отечественная война 1812 года. Т. XVIII. СПб., 1911. С. 99.

Подмазо А. А. Полтавский пехотный полк // ОВ. С. 577.

Архангельская-6. С. 249.

Архангельская-4. С. 18.

Отечественная война 1812 года. Т. XVIII. СПб., 1911. С. 60.

См., напр.: Ивченко Л. Л. Бородинское сражение: История русской версии событий. М., 2009. С. 183, 185, 328.

Глинка Ф. Н. Указ. соч. М., 1985. С. 74. Выделено автором.

PC. 1900. № 12. C. 577.

Цит. по: 1812 год: Воспоминания воинов русской армии. М., 1991. С. 31.

Глинка Ф. Н. Указ. соч. С. 106.

Цит. по: Троицкий Н. 1812: Великий год России. М., 2007. С. 282–283.

Ивченко Л. Л. Бородинское сражение: История русской версии событий. М., 2009. С. 328.

Епанчин Ю. Л. Седьмой пехотный корпус // ОВ. С. 649.

Подмазо А. А. Ладожский пехотный полк // ОВ. С. 395.

Архангельская-4. С. 18; Архангельская-6. С. 249.

Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. С. 530.

Там же.

Липранди. С. 15.

В служебной записке, подготовленной для императора Александра Павловича в начале 1815 года, касательно участия Американца в Бородинской баталии начертано следующее: «За отличие пожалован в полковники, о чём объявлено было в Приказе Главнокомандующего». Однако далее автор записки надворный советник Пантюхин пояснил: «За сражение при Бородине действительно назначен ему чин полковника, но не произведён потому, что в списке сказано: „Ладогского пехотного полка, прикомандированный из Полтавского пехотного полка подполковник граф Толстой“, и как в то время не было известно, когда и откуда он в Полтавский пехотный полк поступил, то о сём 19 ноября 1812 г. писало было покойному генерал-фельдмаршалу князю Голенищеву-Кутузову Смоленскому; но на оное ответа не получено» (Архангельская-6. С. 249–250). В толстовском прошении об отставке, которое датируется 23–24 декабря 1814 года, сказано: «За оказанное мною в <...> сражениях отличие высочайше пожалован в полковники 1812 года Ноября 21 числа, что объявлено в приказе Командующего армиями» (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117 об; выделено переписчиком). А в «Пашпорте» 1816 года сообщается, что граф Фёдор стал «полковником того же (1812-го. — М. Ф.) года августа 26» (Архангельская-4. С. 18), — иными словами, в день Бородинской битвы.

Архангельская-4. С. 18.

Днём ранее, 30 марта 1813 года, был подписан Высочайший указ о роспуске Московского и Смоленского ополчения, который, правда, «распространялся только на ратников, находившихся в пределах России» (Шведов С. В. Московское ополчение // ОВ. С. 484).

Архангельская-6. С. 247.

Там же.

Цит. по: Архангельская-1. С. 390.

Архангельская-6. С. 247.

Цит. по: Архангельская-1. С. 392.

Липранди. С. 15.

Шумихин С. В. Указ. соч. С. 238. Сохранена орфография подлинника. Впрочем, Американец был знаком с А. Х. Бенкендорфом ещё по Петербургу.

РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 117. Из текста прошения об отставке (1814) следует, что Американец сражался под знамёнами Полтавского пехотного полка. Данный вопрос, видимо, нуждается в дополнительном изучении.

Из документов известно, что к апрелю 1813 года в 26-й пехотной дивизии И. Ф. Паскевича числилось всего-навсего 54 человека из Московского ополчения (Архангельская-1. С. 392).

Архангельская-4. С. 19; Архангельская-6. С. 249. В источниках говорится о штурме «Гани» или «Гами». По мнению исследовательницы, делопроизводители неверно воспроизвели название города Гайнау (Архангельская-4. С. 22; Архангельская-6. С. 250). Однако 14 января 1814 года войска Е. И. Моркова и Д. С. Дохтурова атаковали и захватили именно Гам — укреплённое предместье Гамбурга (Подмазо А. А. Большая Европейская война. 1812–1815: Хроника событий. М., 2003. С. 168).

В «Списке штаб-офицерам...», который граф Л. Л. Беннигсен подписал 25 февраля 1814 года, «полка 42 егерского полковник граф Толстой» уже фигурирует как кавалер «Св<ятого> Владимира 4-й степени» (РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 8. Д. 56. Л. 55).

Подмазо А. А. Большая Европейская война. 1812–1815: Хроника событий. М., 2003. С. 176.

Архангельская-4. С. 19, Архангельская-6. С. 249.

РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 8. Д. 56. Л. 54.

Там же. Л. 55.

Там же. Л. 54.

Да здравствует Генрих Четвёртый! (фр.).

*Шведов С. В.* Московское ополчение // ОВ. С. 484.

РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 115.

Биография Сарры. С. VIII.

PB. 1864. № 4. C. 683.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2863а. Л. 6.

Там же. Ед. хр. 809. Л. 1.

Ерофеев В. Указ. соч. С. 95. Странная вещь: в списке кавалеров ордена Святого Георгия 4-й степени, который приведён в составленном В. С. Степановым и И. И. Григоровичем издании «В память столетнего юбилея Императорского Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия (1769–1869 гг.)» (СПб., 1869), графа Ф. И. Толстого нет. Отсутствует георгиевский кавалер Толстой-Американец и в новейшем фундаментальном биобиблиографическом справочнике «Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия» (М., 2004).

1812 год...: Военные дневники. М., 1990. С. 376.

Об этом см. письмо князя П. А. Вяземского А. И. Тургеневу, написанное в начале июня 1822 года (ОА. Т. II. СПб., 1899. С. 259).

Давыдов Д. Полн. собр. стихотворений. Л., 1933. С. 95–96. Кстати, однажды Американец тоже почтил закадычного приятеля виршами; сохранилось его недатированное двистишие «Надпись к портрету Давыдова»:

Ужасен меч его отечества врагам —  
Ужаснее перо надменным дуракам.

(Там же. С. 180.)

О том, что у графа «был дом на Староконюшенной улице», вспоминал, в частности, тайный советник Г. В. Грудев (РА. 1898. № 11. С. 427). Ср.: «Фёдор Иванович вышел в отставку полковником и поселился в Москве, в Староконюшенном переулке...» (С. Л. Толстой. С. 23). Стоит отметить, что тут же, в приходе церкви Иоанна Предтечи, «что в Старой Конюшенной», до Отечественной войны жила графиня А. И. Толстая (ум. 1811), бабка Американца (Романюк С. Из истории московских переулков. М., 1988. С. 148–149). Она владела «землёй с двумя домами» (Желвакова И. А. «Тогда... в Сивцевом». М., 1992. С. 14). Не исключено, что по возвращении с театра военных действий граф Фёдор обитал именно здесь, в одном из бабушкиных домов.

РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153-а. Св. 584. Д. 626. Ч. 2. Л. 114.

**485**

Там же.

Можно предположить, что в указанное время граф Ф. И. Толстой, получив отпуск, покинул действующую армию и посетил Калужскую губернию.

Там же. Л. 115.

Там же. Л. 116.

Там же. Л. 118.

Там же. Л. 117–118.

Там же. Оп. 4/154. Св. 85. Д. 55. Л. 48–51.

Архангельская-6. С. 248, 250.

Там же. С. 248–249.

РГВИА. Ф. 29. Оп. 4/154. Св. 85. Д. 55. Л. 51.

Архангельская-6. С. 248, 251.

Архангельская-4. С. 18–19.

Это хорошо видно на одном из портретов нашего героя.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 39.

Об этом см.: Липранди. С. 15.

Граббе. С. 95.

Каменская. С. 179.

Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. С. 530.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 88 (письмо от 26 апреля 1832 года).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 127 об. (письмо от 23 августа 1844 года). Выделено Ф. И. Толстым.

PB. 1864. № 4. C. 683.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 103.

PB. 1864. № 4. C. 707.

Мельком упомянуто о «тайне, пронесённой через всю шальную жизнь» графа Фёдора, в кн.: Розанова С. А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М., 2000. С. 228, 241.

РС. 1878. № 12. С. 718. Заметим, что автор «Биографии Сарры» писал о «семействе графа Андр<ея> Андр<еевича> и жены его гр<афини> Пр<асковьи> Вас<ильевны> Толстых» и называл эту фамилию «благодатной» (Биография Сарры. С. XXX).

Романюк С. К. В поисках пушкинской Москвы. М., 2001. С. 246.

Каменская. С. 171–172, 176.

PC. 1878. № 12. C. 718.

PB. 1864. № 4. C. 712.

Биография Сарры. С. VIII.

Письма П. В. Киреевского к Н. М. Языкову. М.; Л., 1935. С. 33.

Каменская. С. 179.

Биография Сарры. С. VIII.

Там же. С. VII.

PB. 1864. № 4. C. 684.

Мурьянов М. Ф. Пушкин и цыгане // Московский пушкинист. Вып. V. М., 1998. С. 305. См. также: Столпянский П. Кое-что о цыганах // Столица и усадьба. 1915. № 34. С. 14–17.

PB. 1864. № 4. C. 684.

В ту эпоху преобладало мнение, будто цыгане были выходцами из Египта.

**523**

Там же.

Биография Сарры. С. Х.

PB. 1864. № 4. C. 684.

Биография Сарры. С. VIII–IX. Возможно, ещё один ребёнок, мальчик, появился на свет мёртворожденным или умер вскоре после рождения.

**527**

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 19 об.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 6. То же самое сообщается в хронике «Несколько глав из жизни графини Инны»: «Старшую дочь, Веру, отец любил до безумия...» (РВ. 1864. № 4. С. 684).

Биография Сарры. С. IX.

«Арзамас». Кн. вторая: Из литературного наследия «Арзамаса». М., 1994. С. 433 (письмо от 8 июня 1818 года). О гулянках той поры Американец сообщил Денису Давыдову, который находился в Умани. 28 июля 1818 года поэт-партизан довёл до сведения князя П. А. Вяземского: «Я вчера получил письмо от Фёдора Толстого, между прочим он мне описывает свои ужины...». (Там же. С. 422.)

ОА. Т. 1. СПб., 1899. С. 188–189. Выделено П. А. Вяземским.

Там же. С. 190 (письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 20 января 1819 года).

Поликовский. С. 121.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 6.

См. Каменская. С. 179

Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 392.

РА. 1896. № 10. С. 208. Выделено В. А. Жуковским.

Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 244.

Там же. С. 248 (письмо от 10 апреля 1819 года).

«Арзамас». Кн. вторая: Из литературного наследия «Арзамаса». М., 1994. С. 422. Ср. с письмом В. Л. Пушкина князю П. А. Вяземскому от 8 июня 1818 года: «До ужина, который был великолепнейший, мы спорили о литературе; Батюшков сразился с Катениным и чуть было за тебя не подрались — но шампанское всех примирило...». (Там же. С. 433.)

Терпимый (*фр.*).

Подразумевается Шарль Морис Талейран-Перигор (Talleyrand-Perigord; 1754–1838), французский дипломат, министр иностранных дел, который имел в Европе репутацию непревзойдённого политического лукавца и лицемера.

ОА. Т. 1. СПб., 1899. С. 262–263. Выделено П. А. Вяземским.

«Арзамас». Кн. первая: Мемуарные свидетельства; Накануне «Арзамаса»; Арзамасские документы. М., 1994. С. 440 (письмо от 4 мая 1818 года).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 7 об.

См. письмо князя П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 16 января 1819 года: «Шаликов пьёт у Толстого, который теперь ничего не пьёт» (ОА. Т. 1.СПб., 1899. С. 189).

Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 257.

Там же. С. 259–260.

Автор «Биографии Сарры» пишет, что Американец «в три недели <...> оплакал четырёх детей своих» (Биография Сарры. С. IX). Однако П. Ф. Перфильева в хронике настаивала на том, что отец потерял и Веру, и прочих детей «в шесть недель» (РВ. 1864.№ 4.С. 684). Письма В. Л. Пушкина уточняют: толстовская трагедия растянулась более чем на три месяца.

Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 265 (письмо князю П. А. Вяземскому от 19 сентября 1819 года).

Граббе. С. 94.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 125.

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 22–23 (письмо князю В. Ф. Гагарину от 12 февраля 1828 года).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 7 об.

Биография Сарры. С. IX.

Граббе. С. 94.

Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 58.

ОА. Т. 1. СПб., 1899. С. 325 (письмо от 7 октября 1819 года). А. И. Тургенев, убеждённый «карамзинист», был оппонентом князя А. А. Шаховского — непримиримого литературного противника Н. М. Карамзина.

Желвакова И. А. «Тогда... в Сивцевом». М., 1992. С. 12.

Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 267–268.

Считается за аксиому и кочует из книги в книгу, что Сарра Толстая родилась якобы в 1821 году. В доказательство этого иногда приводится надпись на надгробном памятнике Толстым на московском Ваганьковском кладбище. (А ведь он был воздвигнут лишь в конце 1880-х годов, после смерти П. Ф. Перфильевой.) На памятнике, среди прочего, выбито: «Тут же положено тело дочери его (Ф. И. Толстого. — М. Ф.) девицы графини Сарры Феодоровны Толстой, скончавшейся 23 апреля 1838-го на 17 году в 11 часов утра». Однако апелляция исследователей и писателей к данному источнику неубедительна: лица, распорядившиеся созданием и установкой фамильного монумента, как выясняется, не знали доподлинно не только возраста бедной девушки, но и дня (!) и часа её кончины.

В «Биографии Сарры» сказано однозначно: «Деввица гр<афиня> С<арра> Толстая родилась 1820 года августа 20 числа...» (с. VII). Далее сообщается, что к тому моменту прошло «более года» (с. X) после семейной трагедии — смерти четырёх дочерей графа Фёдора. Повествуя о летних событиях 1837 года, автор «Биографии» пишет: «20 августа исполнилось Сарре 17-ть лет» (с. LVI). В других местах вскользь замечено, что графиня «не пережила осьмнадцати лет» и «на 18-м году умерла дитятей» (с. XXV, XXX). О празднике, устроенном в 1837 году по случаю семнадцатилетия Сарры, упоминает и переводчик её произведений М. Н. Лихонин (Лихонин М. Предисловие переводчика // Сочинения в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой. Ч. 1. М., 1839. С. LXX–LXXI).

Косвенное подтверждение вышесказанному есть и в переписке графа Фёдора Толстого. Весною 1830 года князь П. А. Вяземский поздравил друга с десятилетием дочери. В ответ на это Американец писал 7 июня, то есть за два с половиной месяца до дня рождения девочки: «Сарре *ещё не исполнилось её десять лет* (выделено мною. — М. Ф.), — верю непорочности твоего поцелуя и передаю ей его исправно...» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72 об.).

Словом, Сарра Толстая появилась на свет до венчания родителей и формально была *незаконнорожденной* дочерью нашего героя. Стремясь затушевать этот факт, автор «Биографии Сарры» пошёл на хитрость: он поместил сообщение о «браке» графа Фёдора Ивановича (никак не датировав это событие, но между делом нечаянно «воскресив» отца Американца, графа Ивана Андреевича, скончавшегося в 1818 году) *ранее*

рассказа о рождении девочки (с. X).

Биография Сарры. С. X–XI.

PB. 1864. № 4. C. 684.

Биография Сарры. С. IX.

Архангельская-4. С. 17.

Биография Сарры. С. Х.

РС. 1878. № 12. С. 718. Позднее точно такое же кольцо («по образцу») сделал себе приятель графа Фёдора, Пётр Александрович Нащокин.

Розанова С. А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М., 2000. С. 223.

С. Л. Толстой. С. 31.

Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 270.

Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 152.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 130.

Там же. Л. 113 об.

На чёрную доску в клубах (в частности, в Английском клубе) записывались имена тех, кто нарушил (или не мог выполнять) жёсткие корпоративные правила. Для таких лиц двери клуба наглухо закрывались, — и это исключение воспринималось в обществе как унижение, несмываемый позор.

Мария Каменская в воспоминаниях постоянно называла Авдотью Максимовну Тугаеву-Толстую, свою экзотическую тётушку, именно так.

Каменская. С. 179–180.

Булгарин. С. 207.

С. Л. Толстой. С. 31.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 125.

*Цявловская Т. Г.* Рисунки Пушкина. М., 1986. С. 146. Позднее, в 1829 году, Пушкин уверял Ф. И. Толстого, что тот «в чертах лица и в их выраже<нии>» разительно похож на генерала А. П. Ермолова (*XIV*, 46).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 96 об.

Цит. по: Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского / Сост. А. М. Песков. М., 1998. С. 172.

*С. Л. Толстой. С. 54.*

*Пиксанов Н. К.* Летопись жизни и творчества А. С. Грибоедова: 1791–1829. М., 2000. С. 50.

То есть «мошенником», «обманщиком», «хитрым, лукавым человеком»  
(В. И. Даль).

Цит. по: *Ивченко Л.* Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. М., 2008. С. 269. Ср.: «Выработанный к началу XIX века неписанный кодекс дворянской чести игнорировал „низкую“ примитивную мещанскую честность, как и вообще все заурядные добродетели, и признавал существенную важность лишь за „высокой честностью“, рыцарской доблестью, трактуемой в духе безоглядного утверждения собственной исключительности, шляхетского достоинства, которое очень часто не отличалось от надменности и самолюбования. Дворянин мог плутовать и даже разбойничать, если при этом у него хватало мужества „честно“ рисковать собой. Самое искреннее благонаравие награждалось лишь презрением, если хоть в чём-то смахивало на трусость» (*Парчевский Г. Ф.* Карты и картёжники. СПб., 1998. С. 92).

В «болтливо-длинных эпистолах» Американца встречаются упоминания и о собственной игре, и о происшествиях со знакомыми ему игроками. К примеру, граф Фёдор пишет о проигрыше А. Пушкина; о том, что в партии, где участвует редко моющийся граф Е. И. Морков, «дурно пахнет»; сокрушается граф и о «страсти к картам» Александра Пушкина (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 8–8 об., 72 об.).

Любопытно его «историческое известие» (в послании князю В. Ф. Гагарину от 6 июня 1828 года, из сельца Глебова) об угодившем в 1825 году под следствие А. А. Алябьеве, отставном подполковнике и композиторе (авторе «Соловья»): «Знаешь ли ты, что содержится мой сосед Шаталов, шурин его Алябьев с товарищами под самым строгим караулом, вследствие картёжной игры, — хотя и верной, но самой несчастной. Оне убили большую карту, как говорят, на 60 т<ысяч>, но с ней и...г-на Времева. На что и сделан российской каламбур, ибо вскоре после сего несчастного происшествия некто спросил у Шаталова, приехавшего в театр: *Каково он убивает время...*» (НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 27; выделено Ф. И. Толстым).

*Каменская. С. 179.*

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 1.

Цит. по: Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: В 3 т. / Сост. Г. И. Долдобанов. Т. 1. Кн. 2: 1829–1830. М., 2001. С. 50.

*Булгарин. С. 204. Выделено мемуаристом.*

Там же. С. 206.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 1.

PC. 1878. № 12. C. 718.

Там же. 1878. № 6. С. 335.

Там же. 1873. Т. VII. С. 125.

РА. 1873. № 6. Стб. 1104.

Граббе. С. 95.

PA. 1898. № 11. C. 437.

**600**

*Γραββε. C. 95.*

Вот эта совершенно фантастическая, на наш взгляд, повесть: «Раз шавки привезли к нему приезжего купца. Начали играть, сначала как бы шутя, на закуски, ужин и пунш. Эта обстановка сделала своё дело: купец захмелел, увлёкся и проиграл 17 тысяч, и, когда потребовалась расплата, он объявил, что таких денег с собою не имеет. Ничего, заметили ему: всё предусмотрено, есть гербовые бумаги и нужно написать только обязательство. Купец отказался наотрез, но опять сел за игру и ещё проиграл 12 тысяч. Тогда с него опять потребовали два обязательства; но, когда он снова отказался, то его разложили и, несмотря на сильное сопротивление, жестоко высекли; но и после этого несчастный отказался от выдачи обязательств. Тогда его посадили в холодную ванну, и вот, совершенно истерзанный и обессиленный от вина, он подписал наконец требуемые обязательства. Его уложили спать, а наутро он всё случившееся с ним забыл. За ним стали ухаживать и предлагать снова попробовать счастье. Ему дали выиграть три тысячи, заплатили наличными, а с него взяли обязательство на 29 тысяч» (РА. 1898. № 11. С. 437–438).

*С. Л. Толстой. С. 25–26.*

СЗК. С. 61. Выделено мемуаристом.

*Стахович А. А.* Ключки воспоминаний. М., 1904. С. 150. Выделено мемуаристом.

PC. 1873. T. VII. C. 125.

РГАЛИ. Ф.195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 7 об., 39. В записках князя П. А. Вяземского имеется примечательное рассуждение о картах и картёжниках; там, в частности, сказано: «Один из таких игроков говаривал, что после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать» (СЗК. С. 97). Мнится, что под этими словами мог бы подписаться и Американец.

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 19.

Там же. Л. 33 об.

Там же. Л. 32–32 об.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 1.

Булгарин. С. 204–205.

Упомянем хотя бы про суп, который готовил Американец в штабе генерал-адъютанта князя М. П. Долгорукова в 1808 году, во время войны со шведами (см. главу 3). Судя по мемуарам, этот толстовский суп Иван Петрович Липранди не забыл и через полвека.

СЗК. С. 361. Выделено мемуаристом.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 8 об.

Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 42–43.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 1.

**617**

Там же. Л. 68.

Вяземский П. А. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1982. С. 89–90.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 6 об.

Булгарин. С. 205.

**621**

Каждому своё! (*лат.*).

ОА. Т. 3. СПб., 1899. С. 132.

Цит. по: Лаврентьева Е. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. М., 2005. С. 498.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 71 об.

Такую характеристику дал Американец самому себе в помянутом июньском письме.

Там же. Л. 105.

**627**

Там же. Л. 88 об.

PB. 1864. № 4. C. 683.

Вяземский П. А. Стихотворения. М., 1978. С. 69–70. Выделено князем П. А. Вяземским.

Имеется в виду Иван Иванович Дмитриев (1760–1837), поэт, баснописец, мемуарист и государственный деятель.

Подразумевается Алексей Михайлович Пушкин (1771–1825), поэт и переводчик Вольтера.

Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 43.

**633**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 87 об.

Липранди. С. 15.

**635**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72 об.

Там же. Л. 71.

Там же. Л. 126 об. Позднее А. И. Герцен обманывал читателей, уверяя их, что «дикие сцены <...> пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры» (цит. по: С. Л. Толстой. С. 48).

Там же. Л. 72.

**639**

Там же. Л. 6 об.

Там же. Л. 71. Выделено Ф. И. Толстым.

**641**

Там же. Л. 8, 72; Ед. хр. 2863а. Л. 3 об.

СЗК. С. 366–367. Выделено мемуаристом.

PA. 1901. № 6. C. 165.

**644**

C3K. C. 753.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 1 (предисловие князя П. П. Вяземского к переписке отца с Американцем).

**646**

Там же. Л. 87.

**647**

Там же л. 71.

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 30–31.

**649**

Там же л. 28 об.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 7. Далее граф Ф. И. Толстой пояснил: «Коньяк, признаюсь, по скудости таланта поставлен только для рифмы. Четверть месяца назад ето была и рифма, и правда». (Там же. Л. 7 об.)

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 22–24.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 71–72.

**653**

Там же. Л. 105.

**654**

Там же. Ед. хр. 2863а. Л. 3 об.

Там же. Ед. хр. 1318. Л. 72.

Там же. Л. 87, 88.

Там же. Л. 124 об.; см. также: *XIV*, 37.

**658**

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 28 об.

**659**

Там же..

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72.

СЗК. С. 367. Выделено мемуаристом.

**662**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 7 об., 8 об.

*Пушкин В.* Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 248 (письмо П. А. Вяземскому от 10 апреля 1819 года).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 39.

**665**

Там же. Ед. хр. 2863а. Л. 3 об., 6.

**666**

Там же. Ед. хр. 1318. Л. 88 об.

**667**

Там же л 72.

**668**

Там же. Ед. хр. 2863а. Л. 3 об.

Там же. Ед. хр. 1318. Л. 88.

**670**

Там же.

РА. 1873. № 6. Стб. 1104. Автограф «Поправки» князя П. А. Вяземского ныне хранится в РГАЛИ (Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1051). С. А. Розанова ошибочно приписала авторство этой заметки П. Ф. Перфильевой (Розанова С. А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М., 2000. С. 241).

Булгарин. С. 206.

Михаил Семёнович Щепкин: Жизнь и творчество: В 2 т. Т. 2. М., 1984.  
С. 320.

Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. С. 530.

Вигель-1. С. 348.

РС. 1910. № 5. С. 436 (письмо Н. И. Бахтину от 23 января 1823 года).

Там же. 1873. Т. VII. С. 125.

PB. 1864. № 4. C. 683.

Граббе. С. 94.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72.

**681**

Там же.

C3K. C. 137.

Там же. С. 61. Племянник Американца — вероятно, сын его сестры Веры Ивановны Хлюстиной, Семён Семёнович Хлюстин (1810–1844), офицер лейб-гвардии Уланского полка.

Архангельская-4. С. 16.

РА. 1873. № 6. Стб. 1104.

Булгарин. С. 205–206.

Стахович А. А. Клочки воспоминаний. М., 1904. С. 150.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 7.

Там же. Л. 71.

**690**

Там же. Л. 72.

*Чаадаев П. Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 298.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2863а. Л. 6 об.

Там же. Ед. хр. 1318. Л. 7.

Там же. Л. 72.

Французским языком он владел недурственно и без натуги слагал длинные французские письма; есть основания думать, что граф Фёдор также мог сносно читать по-английски и по-немецки.

Там же.

Там же. Л. 7.

Там же. Ед. хр. 2863а. Л. 6 об.

См. Приложение III.

Там же. Ед. хр. 1318. Л. 39.

Подобным образом однажды действовал капитан-лейтенант Егор Васильевич Зонтаг (1786–1841). В Остафьевском архиве покоится недатированная записка князя П. А. Вяземского графу Фёдору Толстому: «Родом американец, званием моряк в нашей службе, прозвищем Зонтаг, ремеслом добрый человек, случаем спутник мой <...> желает очень узнать тебя по твоей американской славе. Если он ко мне заедет утром, то не позволишь ли мне привезти его к тебе обедать. В случае отказа дай знать». (Там же. Л. 62.) Отказа, как мы полагаем, не последовало.

Там же. Л. 72 об.

В письмах П. А. Вяземскому А. И. Тургенев упоминал нашего героя весьма часто. Так, 17 февраля 1825 года он просил князя «доставить записку <...> графу Толстому»; 15 марта того же года Александр Иванович интересовался: «Возвратился ли Американец?» (ОА. Т. 3. СПб., 1899. С. 96, 106) и т. д. А граф Фёдор ему «от сердца кланялся» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2863а. Л. 4).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72.

«Нашим другом» назвал Американца П. Я. Чаадаев в письме князю П. А. Вяземскому от 9 марта 1834 года (*Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избранные письма: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 88*).

**706**

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 30.

Усатым князем (*фр.*); так называла Василия Фёдоровича Гагарина маленькая графиня Сарра Толстая.

Цит. по: Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: В 3 т. / Сост. Г. И. Долдобанов. Т. 1. Кн. 2: 1829–1830. М., 2001. С. 50. Спустя много лет Т. Новосильцева утверждала, что П. А. Нащокин, заключивший с Американцем «вечный союз», был самым лучшим другом графа (РС. 1878. № 6. С. 334; см. также Приложение II). Однако П. Ф. Перфильева, кажется, придерживалась на сей счёт другого мнения (РС. 1878. № 12. С. 718).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 1.

Позабавим читателей ещё одной импровизацией Американца — из его письма П. А. Вяземскому от 23 ноября 1818 года: «Здесь открылась новая секта алхимистов. Главою оной глава города. Из простого постного масла делают чистое золото; оттого в Москве в девятом часу не горят фонари, — и коли не режут на улицах людей, то полиция в этом нимало не виновна» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 8 об.).

Там же. Л. 7 (письмо от 23 ноября 1818 года).

Цит. по: *Пушкин. Письма*. Т. 1: 1815–1825. М.; Л., 1926. С. 234.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72.

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 21.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72.

**716**

Там же. Л. 88 об.

Там же. Л. 130–130 об.

**718**

Там же. Л. 99 об.

*Булгарин. С. 206.*

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2863а. Л. 5, 7.

**721**

Об этом будет рассказано далее.

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 25–26.

ОА. Т. 2. СПб., 1899. С. 32.

Там же. С. 35 (письмо от 21 апреля 1820 года).

**725**

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 21.

Биография Сарры. С. LXVII.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 7.

C3K. C. 222.

PA. 1901. № 2. C. 308.

А. Ф. Закревская приходилась Американцу двоюродной сестрой.

Там же. № 9. С. 30–31. Американца в ту пору не было в России. Правда, через неделю А. Я. Булгаков уже не настаивал, что граф Ф. И. Толстой руководил расправой с С. Д. Полторацким. «Играло тут много: называют Исленьева, Голицына, что женат на Кутайсовой, Пашкова и других», — сообщал он К. Я. Булгакову. (Там же. С. 32.)

ОА. Т. 3. СПб., 1899. С. 107.

*Шумилин С. В.* Граф Толстой-Американец и граф Бенкендорф // НЛО.  
1994. № 7. С. 236.

О забывчивости и рассеянности графа А. Х. Бенкендорфа есть немало занятных анекдотов.

Там же. С. 237.

На самом деле Американцу шёл тогда сорок восьмой год.

Там же. С. 238.

**738**

Там же.

Там же. С. 239.

**740**

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 24.

**741**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 39.

На надгробном памятнике Толстым на Ваганьковском кладбище дата рождения П. Ф. Перфильевой не указана. Там выбиты лишь такие слова:

Прасковья Феодоровна ПЕРФИЛЬЕВА  
Скончалась 25-го марта 1887 года.

Однако в письме графа Ф. И. Толстого князю П. А. Вяземскому от 23 августа 1844 года имеется важная для нас фраза о Полиньке: «Кажется, если б ей не 18-ть лет, которые мы довольно уныло праздновали, то она велела бы тебя расцеловать» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 126).

*Каменская. С. 180.*

PB. 1864. № 4. C. 684–685.

PA. 1909. № 8. C. 699.

PB. 1864. № 4. C. 684.

PC. 1910. № 5. C. 436.

Биография Сарры. С. XXXV–XXXVI.

PB. 1864. № 4. C. 683.

Там же. С. 685.

**751**

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 24.

Биография Сарры. С. XXI.

**753**

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 24.

Биография Сарры. С. XII.

Там же. С. XVI–XVII.

См. Приложение III.

Там же. С. XXII.

В солидной современной энциклопедии «Истринская земля» говорится: «В 1832 году селения достались по купчей крепости полковнику графу Фёдору Ивановичу Толстому „Американцу“» (Истринская земля. М., 2004. С. 267). Однако из писем графа Фёдора князю В. Ф. Гагарину выясняется, что уже в 1828 году село Глебово принадлежало Американцу.

В письме князю В. Ф. Гагарину от 6 июня 1828 года Американец поведал грустную историю о нём: «Год тому назад женившийся мой предместник (т. е. по сельцу Глебову) г<енерал>-м<айор> князь Лобанов на девице Киндяковой делает с ней вахтпарад, или развод, поелику никак её не может сделать ни матерью, ни е...ной» (НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 27). О том, что И. А. Лобанов-Ростовский «женат на Киндяковой, но... она не замужем», писал и князь П. А. Вяземский А. И. Тургеневу 9 апреля 1825 года (ОА. Т. 3. СПб., 1899. С. 109–110). В 1828 году неутешная Е. П. Лобанова-Ростовская (урождённая Киндякова) стала женой А. В. Пашкова (*Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 239, 323*).

Истринская земля. М., 2004. С. 268, 279, 301.

Там же. С. 267.

Там же. С. 293–295.

PB. 1864. № 4. C. 685.

**764**

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 28 об.

*Булгарин. С. 207.*

**766**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2863а. Л. 7.

Биография Сарры. С. XXIII.

Истринская земля. М., 2004. С. 298, 302.

Биография Сарры. С. XXXII.

В автобиографической хронике П. Ф. Перфильевой Анна Волчкова обернулась Антониной Зубковой из сельца Берендеево: «В расстоянии восьми вёрст от подмосковной отца <...> есть сельцо Берендеево. Там жила Антонина Зубкова с своею матерью, женщиной умною, пожилую и чрезвычайно вкрадчивую. Дочь её сдружилась с Риммою (то есть с Саррою Толстой, — М. Ф.) так сильно и близко, что они не могли прожить дня, чтобы не быть вместе. Антонина была замечательной красоты, умна и образована» (РВ. 1864. № 4. С. 685).

**771**

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 25 об.

*С. Л. Толстой. С. 38–39.*

Вот мимолётное известие о князе П. А. Вяземском из письма от 13 ноября 1827 года: «...Я его с приезде ещё и не видал; <...> ибо поутру он на похоронах, в полдень на крестинах, к вечеру опять до утра на бале» (НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 21). «По письмам, которые я имел из Тамбова от твоих управляющих, — читаем в другой эпистоле, от 6 сентября 1828 года, — мне кажется, что там правление смешанное: деспотическое с анархическим, — все, один на другого, жалуются». (Там же. Л. 28.)

Там же. Л. 21.

Там же. Л. 21 об. — 22.

Там же. Л. 25. Выделено Ф. И. Толстым.

Там же. Л. 27.

Там же. Л. 28.

Там же. Л. 22–23.

Подразумевается Воспитательный дом; при нём находился ломбард, куда обращался Американец.

Поверенный князя В. Ф. Гагарина.

**782**

Там же. Л. 30.

Там же. Л. 17.

Там же. Л. 21 об.

Там же. Л. 21.

Там же. Л. 19.

Там же. Л. 31.

Там же. Л. 28 об. В том же письме Ф. И. Толстой пытался убедить князя: «Естьли б я только сделал хотя одно получение по разным претензиям моим, то будь уверен, любезной друг, что вменю себе сердечной обязанностию тебя выручить». (Там же.)

*Поликовский. С. 160.*

Там же. С. 94.

ОА. Т. 3. СПб., 1899. С. 107; НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 24.

«Толстой Фёдор Иванович уехал в Петербург, — сообщил В. Л. Пушкин князю П. А. Вяземскому 2 января 1828 года, — повёз туда Хлюстиных, своих племянников» (*Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 272*).

Первое письмо графа Ф. И. Толстого из Парижа, адресованное князю В. Ф. Гагарину, датировано 3 февраля 1826 года; последнее же — 10 мая 1827 года (НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 1–7).

*Миллер С. Эмс и дворяне России. М., 2008. С. 301.*

Соль шутки (едва ли понятой туземцами) состоит в том, что немецкое слово «Character» имеет несколько значений. Чиновников, разумеется, интересовало *звание* вояжёра, а граф Ф. И. Толстой невинно сообщил им, каков у него *нрав*.

C3K. C. 450.

Эту записку соорудил князь П. А. Вяземский, а подписали её Д. Н. Болотовский, А. С. Пушкин и С. Д. Киселёв (*XIV*, 37).

НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 9–15.

Там же. Л. 24.

**800**

Там же. Л. 30.

**801**

Там же.

**802**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2863а. Л. 4.

**803**

PC. 1878. № 6. C. 334.

ПВС-1. С. 413 (рассказ А. Н. Вульфа, записанный М. И. Семевским).

«Ему по<ка>за<лось> <за>бавно сделать из меня неприятеля, — писал Пушкин П. А. Вяземскому 1 сентября 1822 года из Кишинёва, — и смешить на мой счёт письмами чердак к<нязя> Шаховского...» (*XIII*, 43).

В октябре 1822 года поэт в письме брату Льву признался: «Вся моя ссора с Толстым происходит от нескромности к<нязя> Шаховского» (*XIII*, 51).

См. пушкинское письмо П. А. Катенину от 19 июля 1822 года из Кишинёва: «Разве ты не знаешь несчастных сплетней, коих я был жертвою, и не твоей ли дружбе <...> обязан я первым известием об них?» (*XIII*, 41).

15 июня 1822 года Ф. Н. Лугинин записал в своём журнале: «Носились слухи, что его высекли в Тайной канцелярии, но это вздор. В Петербурге имел он за это дуэль. Также в Москву этой зимой хочет он ехать, чтоб иметь дуэль с одним графом Толстым, Американцем, который главный распускает эти слухи. Как у него нет никого приятелей в Москве, то я предложил быть его секундантом, если этой зимой буду в Москве, чему он очень обрадовался» (ПВС-1. С. 234).

ПВС-1. С. 415. Ср.: там же. С. 413.

Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. Л., 1991. С. 226.

Первый стих исправили цензоры с журналистами; у Пушкина в черновике и беловике было по-иному:

Или философа, который в прежни лета... (II, 169, 611).

Когда этот номер «Сына Отечества» попал в руки Пушкина, он написал Н. И. Гречу 21 сентября 1821 года: «Вчера видел я в С<ыне> О<течества> моё послание к Ч<едаев>у; уж эта мне цензура! <...> Там напечатано *глупца философа*; зачем глупца? стихи относятся к Американцу Толстому, который вовсе не глупец; но лишняя брань не беда» (XIII, 32; *выделено Пушкиным*).

Т<омашевский> Б. Эпиграмма Толстова-Американца <sic> на А. Пушкина //Литературная мысль. Вып. II. Пг., 1923. С. 237. Ср.: Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 1. СПб., 2009. С. 344–347.

Фомичёв С. А. Эпиграмма «Певец Давид был ростом мал...»: Текст, датировка, сатирическая направленность// ВПК. Вып. 26. СПб., 1995. С. 83–86. Этой же темы учёный коснулся в другой работе; см.: Фомичёв С. А. Новые тексты стихотворений А. С. Пушкина//Неизданный Пушкин. Вып. 1. СПб., 1996.

Ср.: «Очевидно, поэт боялся подать читателям повод к сравнению и сопоставлению популярного Американца с пленником, а Толстому — к какому-нибудь новому вранью или хвастовству» (Лернер Н. О. Новонайденное письмо Пушкина (Пушкин и Толстой-Американец) // ПиС. Вып. XV. СПб., 1911. С. 12).

Ср.: «Толстой явится у меня во всём блеске в 4-ой песне *Онег<ина>*», — обещал Пушкин брату Лёвушке в апреле 1825 года (*XIII, 163; выделено Пушкиным*).

Жуйкова Р. Г. Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуций. СПб., 1996. С. 334 (№ 789). Существует предположение, что поэт запечатлел Американца также на широко известном листе с виселицами и фразой «И я бы мог, как...» (ПД 836. Л. 37). Этот рисунок был сделан в июле 1826 года, после 13-го числа. См.: Чижова И. Б. После декабря... // Советская Россия. 1982. 24 октября. С. 4.

Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М., 1992. С. 264.

Старк В. П. Примечания научного редактора // Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 688.

Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 355. Бытует и такое мнение о развязке пушкинской дуэльной истории: «По желанию Толстого они помирились» (Гордин Я. А. Дуэли и дуэлянты. СПб., 1996. С. 22).

Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. Л., 1991. С. 286.

**821**

Самолюбием (*фр.*).

Набоков В. Указ. соч. С. 355.

«Сказывают, что он написал на меня что-то ужасное, — читаем в письме Пушкина князю П. А. Вяземскому от 1 сентября 1822 года. — Журналисты должны были принять отзыв человека, обруганного в их журнале. Можно подумать, что я с ними за одно, и это меня бесит» (*XIII*, 43–44).

Литературная мысль. Вып. II. Пг., 1923. С. 238.

Набоков В. Указ. соч. С. 355.

«Помню, что рассказывали об нём, — писал в мемуарах граф П. Х. Граббе, — будто остановленный противником при передёргиваньи карты, он, нисколько не смутясь, отвечал ему: „Это правда; но я не люблю, чтобы мне это говорили“. Это слово принадлежит не ему первому. Я нашёл его в Записках Сен-Симона. Жаль, что отнимаю у него право на это жалкое преимущество» (Граббе. С. 96).

Так выразился поэт в октябрьском 1822 года письме Л. С. Пушкину (*XIII, 51*).

Напомним: последнее из известных писем графа Ф. И. Толстого князю В. Ф. Гагарину из Парижа датировано 10 мая 1827 года (НИОР РГБ. Ф. 85. К. 19. Ед. хр. 30. Л. 7).

Так, во второй половине 1827 года он не приехал в Москву для свидания с Американцем — зато провёл в Михайловском два с половиной месяца (с конца июля до середины октября).

Как установил С. В. Шумихин, Александр Пушкин и Фёдор Толстой вместе посетили утренний маскарад в Собрании 15 апреля 1830 года (Шумихин С.В. А. С. Пушкин в Российском Благородном собрании в Москве // ВПК. Вып. 22. Л., 1988. С. 65).

ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 95; РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72 об.  
(письмо Ф. И. Толстого П. А. Вяземскому от 7 июня 1830 года).

Бартенев П. И. О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М., 1992. С. 285.

**833**

Γραββε. C. 94.

См., напр.: Лернер Н. О. С кого Пушкин списал Зарецкого? // РС. 1908. № 2. С. 419–427; он же. Новонайденное письмо Пушкина (Пушкин и Толстой-Американец) // ПиС. Вып. XV. СПб., 1911. С. 1–20; Бродский Н. Л. «Евгений Онегин»: Роман А. С. Пушкина. М., 1964. С. 246–247; и др. См. также: С. Л. Толстой. С. 43, 55–57.

Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 288. К месту добавим, что некоторые авторы находят также сходство между Американцем и Сильвио, героем пушкинского «Выстрела» (1830); они же считают, что в основу коллизии повести был положен конфликт поэта и нашего героя. Например, биограф графа Фёдора Ивановича пишет: «Рассказ Пушкина „Выстрел“ ещё раз напоминает Толстого-Американца. В Зарецком изображён, так сказать, житейский Толстой, в „Выстреле“, в лице Сильвио, его несколько стилизованный образ, окрашенный некоторым демонизмом. <...> Мне кажется, в „Выстреле“ отразилась ссора Пушкина с Фёдором Толстым» (С. Л. Толстой. С. 57–58; выделено автором).

Михаил Семёнович Щепкин: Жизнь и творчество. Т. 2. М., 1984. С. 320.

В дневнике М. П. Погодина за 1837 год рассказывается, как было воспринято москвичами известие о кончине поэта. В ПВС-2 одна из февральских дневниковых записей историка воспроизведена следующим образом: «4. К <Ф.> Толстому и Баратынскому. Все говорили о Пушкине и плакали» (с. 26). Автор настоящей книги рассудил, что тут подразумевается Американец, и упомянул об этих слезах в своих статьях (см. раздел «Библиография»). Потом, однако, выяснилось, что в начале 1837 года граф Фёдор Иванович с семейством был за границей, в Дрездене (Биография Сарры. С. LIV).

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 87.

Каменская. С. 176. Менее вероятно, что мемуаристка зафиксировала свои впечатления от встречи с Американцем в июне 1836 года.

Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 8. М., 1956. С. 243.

Цит. по: С. Л. Толстой. С. 49–50.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 99 (выделено Ф. И. Толстым; письмо от 13 ноября 1832 года).

Уже к концу месяца граф Фёдор был в деревне: одно из его «глебовских» писем князю П. А. Вяземскому датировано 27 апреля 1830 года. (Там же. Л. 69.)

Там же. Л. 72–72 об.

**845**

Там же. Ед. хр. 2863а. Л. 5 об.

**846**

Там же. Л. 8.

**847**

Там же. Л. 3.

Правда, в первой половине января 1831 года А. С. Пушкин сообщил находившемуся в Остафьеве князю П. А. Вяземскому: «Толстой к тебе собирается» (*XIV*, 142). Состоялась ли эта поездка Американца, мы не знаем.

См.: ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 89, 104, 105. В частности, князь П. А. Вяземский поведал Американцу о назначении А. С. Пушкина историографом Петра Великого, о ситуации в московском Английском клубе, о жертвах холеры, которая тогда «рыскала по околотку», и т. д.

**850**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2863а. Л. 6.

Фомичёв С. А. Грибоедов: Энциклопедия. СПб., 2007. С. 126. Первое представление комедии в Северной столице состоялось 26 января 1831 года. В бенефис Я. Л. Брянского пьеса игралась в петербургском Большом театре целиком, однако с цензурными изъятиями текста.

Пользуясь случаем, приведём тут позабытые и крайне актуальные слова князя П. А. Вяземского о грибоедовской комедии и Ф. И. Толстом: «Как стихи комедии ни будь остры и забавны, но всё же нельзя искать в них биографических сведений о живом человеке» (РА. 1873. № 6. Стб. 1104).

**853**

ПВС-2. С. 167.

Щукинский сборник. Вып. 3. М., 1904. С. 174.

**855**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1.Ед. хр. 1318. Л. 87 об.

**856**

Там же. Л. 87.

**857**

Там же. Л. 93 об.

Там же. Л. 87. Выделено Ф. И. Толстым.

**859**

Там же. Л. 88 об.

**860**

Там же. Л. 93–93 об.

Там же. Л. 105. Выделено Ф. И. Толстым.

Там же. Л. 39. Выделено Ф. И. Толстым.

**863**

Там же. Л. 88.

*Каменская. С. 176.*

*Липранди. С. 28.*

**866**

PB. 1864. № 4. C. 683.

Там же. С. 685.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72 об.

Там же. Л. 87.

**870**

Там же. Л. 97.

Биография Сарры. С. XIV.

**872**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 88 об.

Биография Сарры. С. XXXV.

Там же. С. XXXVII.

Там же. С. XXXVIII.

РВ. 1864. № 4. С. 685. Настоящее имя деревенского гипнотизёра установить не удалось.

См. Приложение IV.

*Лихонин М. Предисловие переводчика // Сочинения в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой / Пер. с нем. и англ. Ч. 1. М., 1839. С. LXIX.*

Биография Сарры. С. XLI.

Московский некрополь. Т. 3. СПб., 1908. С. 211 (здесь в текст вкралась ошибка: сообщено, что графиня А. Ф. Толстая умерла «на 64 г<оду>»).

Биография Сарры. С. XLVII–XLVIII.

**882**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 104.

Биография Сарры. С. XLVIII.

В хронике «Несколько глав из жизни графини Инны» есть такие строки про мать героини: «Она любила щеголять одеждою, убранством комнат и роскошью стола. Отказывать себе в чём бы то ни было не умела, и часто говорила: „Последнее продам, а всё-таки будет стерлядь на столе и соболь на салопе“, и, к несчастью, оставалась верна своему слову» (РВ. 1864. № 4. С. 684).

*Липранди. С. 15.*

Известно, что в 1830-е годы Д. В. Давыдов отправил Американцу не менее пяти писем (*Орлов В. Судьба литературного наследства Дениса Давыдова*//ЛН. Т. 19–21. М., 1935. С. 332).

РВ. 1864. № 4. С. 685. В «Биографии Сарры» утверждается, что путешествие было предпринято по желанию юной графини (с. LI–LII).

Биография Сарры. С. LII.

Там же. С. XLV.

Там же. С. LIV.

**891**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 99 об.

Желвакова И. А. «Тогда... в Ситцевом». М. 1992. С.19 Позднее, в 1860-е годы, в этом доме жил писатель А. И. Левитов. С 1867 года особняк принадлежал жене тайного советника князя М. А. Оболенского, директора Московского главного архива Министерства иностранных дел. (Там же. С. 131.)

*Поликовский. С. 160.*

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 104.

Там же. Л. 39, 69, 87, 93 об., 96, 103.

Там же. Л. 92.

**897**

Там же. Л. 105 об.

Там же. Л. 71.

**899**

Там же. Л. 105 об.

**900**

Там же. Л. 96.

**901**

Там же. Л. 71.

Там же. Л. 105.

РА. 1904. № 2. С. 251. Ср. с письмом князя П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 26 марта 1833 года: «У <В. П.> Завадовского умер благотворительный двоюродный брат и оставил ему 600 000 чистых денег, да сынку тысячу двести душ. Вот как умирают!» (ОА. Т. 3. СПб., 1899. С. 228).

PA. 1887. № 1.C. 127.

*Булгарин. С. 207.*

Биография Сарры. С. LVIII.

Там же. С. LXIV.

Там же. С. LXV.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 108.

Там же. Л. 110 об. — 111.

Выделено В. А. Жуковским; см. Приложение I.

У князя П. А. Вяземского, как и у Американца, в младенчестве умерло четверо сыновей. Кроме того, в марте 1835 года в Риме скончалась его дочь, Прасковья. Уже после описываемых событий он потерял Надежду (1824–1840) и Марию (1813–1849). Лишь князь Павел Петрович Вяземский (1820–1888) дожил до старости.

Там же. Л. 110–111.

Там же. Л. 112.

*Розанова С. А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М., 2000. С. 230.*

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 72.

*Стахович А. А. Клочки воспоминаний. М., 1904. С. 150.*

Чусова М. А. Александр Алябьев в последние годы жизни: Новые факты биографии композитора // Московский журнал. 2002. № 8. С. 48.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 125 (письмо князю П. А. Вяземскому от 19 июня 1846 года).

*Жуковский. С. 239.*

Там же. С. 245–246.

*Стахович А. А. Указ. соч. С. 153.*

**923**

*Каменская. С 179.*

ЛН. Т. 90. Кн. 1. М., 1979. С. 188. Ср. с рассказом С. Л. Толстого, сына писателя: «Лев Николаевич говорил, что Фёдор Иванович был богомолен и суеверен потому, что его мучили угрызения совести. Он каялся, молился и клал земные поклоны, стараясь искупить преступления своей молодости и свои жестокие поступки. Может быть, в этом сказалась благочестивая традиция рода его матери, рождённой Майковой: ведь из этого рода произошёл Нил Сорский» (С. Л. Толстой. С. 51).

*Шамаро А.* Действие происходит в Москве: Литературная топография. М., 1988. С. 194. Выяснить, когда Американец стал владельцем этого дома, нам пока не удалось. Согласно имеющимся документам, 23 октября 1850 года «чистопольский первой гильдии купец Иван Фёдоров сын Мамонтов» купил данное владение у «полковницы вдовы графини Евдокии Максимовны Толстой и дочери её родной жены чиновника девятого класса Прасковьи Фёдоровны Перфильевой». (Там же.)

Родственники тоже заглядывали в гости к Американцу. В частности, в 1844–1845 годах его иногда посещали племянники — Николай и Сергей Толстые, братья Льва Николаевича. Н. Н. Толстой сообщал Т. А. Ергольской в Ясную Поляну: «Я почти никуда не выхожу, за исключением того, чтобы пойти к графу Фёдору, где я бываю очень часто» (цит. по: *Розанова С. А. Лев Толстой и пушкинская Россия*. М., 2000. С. 230).

PC. 1878. № 6. C. 335.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 127 об. Речь шла о попавшем в руки Американца письме П. А. Вяземского графине Е. П. Ростопчиной.

Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 40. Биограф графа написал по данному поводу про «ультрареакционные» взгляды Американца и затем добавил: «Хочется думать, что Фёдор Иванович высказал такое мнение из духа противоречия, как парадокс. Оно как-то не вяжется с общим складом его ума» (С. Л. Толстой. С. 52).

Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 124. Данное обсуждение «Мёртвых душ» произошло в Петербурге; очевидно. Американец задержался в Северной столице по пути домой с Ревельских вод.

*Булгарин. С. 207.*

*Жуковский. С. 237–238.* Дневник В. А. Жуковского даёт нам некоторое представление об образе жизни графа Ф. И. Толстого — по крайней мере, в начале 1841 года. Поэт находился в Москве с 12 января по 5 марта. За это время Василий Андреевич пять раз посетил Американца и порою не брезговал застольем; граф же нанёс В. А. Жуковскому девять продолжительных визитов (обычно в утренние часы). 23 января приятели виделись даже дважды: у Американца и у Яковлевой. Кроме того, они обедали у общих знакомых. (Там же. С. 235–239, 241–247.)

Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994.  
С. 375.

В «Предисловии переводчика» М. Н. Лихонин подчеркнул последнее слово.

*Лихонин М.* Предисловие переводчика // Сочинения в стихах и прозе гр<афини> С. Ф. Толстой. Ч. 1. М., 1839. С. LXXV.

Биография Сарры. С. LXVII.

Лихонин М. Предисловие переводчика // Сочинения в стихах и прозе графа С. Ф. Толстой. Ч. 1. М., 1839. С. LXIX. Недавно в Музее книги РГБ Лев Бердников обнаружил экземпляр «Сочинений...», который Американец подарил княгине Н. Ф. Четвертинской (урождённой Гагариной), сестре В. Ф. Вяземской. На томике — дарственная надпись графа: «Княгине Надежде Фёдоровне Четвертинской в знак сердечной любви и уважения от отца Сарры. 1840 г. Январь 23. Сельцо Глебово» (Бердников Л. Об одном автографе Толстого-Американца // Стороны света. 2010. № 11// <http://www.stosvet.net/11/berdnikov/index2.html>).

Поликовский. С. 170–171.

Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 268.

Жуковский. С. 237.

PB. 1864. № 4. C. 684.

Там же. С. 685. Ср. с сообщением архиепископа Саввы (Тихомирова): «Отличаясь набожностью, она очень любила знакомиться с архиереями и архимандритами» (РА. 1909. № 8. С. 699).

Розанова С. А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М., 2000. С. 227.

**944**

Компаньонка (*фр.*).

PB. 1864. № 4. C. 686–687.

Там же. С. 688–689.

Там же. С. 689.

*Розанова С. А. Указ. соч. С. 223.*

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 113 об., 125, 126.

Имеется в виду князь Михаил Петрович Долгоруков, сражённый 15 октября 1808 года. И. П. Липранди и Ф. И. Толстой воевали со шведами под его началом (см. главу 3).

Липранди. С. 15–16.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 117 (письмо князю П. А. Вяземскому от 5 сентября 1845 года).

**953**

Там же. Л. 125.

«Я познакомился в Ревеле с графиней Ростопчиной (поэтом) и у неё узнал князя Вяземского и Толстого (Американца)», — писал известный хирург Н. И. Пирогов в «Дневнике старого врача» (*Ростопчина Е. П.* Талисман. М., 1987. С. 286).

**955**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 126.

Там же. Л. 126 об. «Многочтимого буфетчика Андерсена» Американец с удовольствием поминал и позднее, в письме князю П. А. Вяземскому от 19 июня 1846 года. (Там же. С. 124–124 об.)

*Жуковский. С. 242.*

*Стахович А. А. Указ. соч. С. 152.*

На хранящейся в архиве рукописи есть помета князя П. А. Вяземского: «Записка графа Ф. И. Толстова, поданная гр<афу> Орлову. 1845» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 809. Л. 1).

Ср.: «Стахович рассказывает, что Толстой приказал вырвать этому подрядчику не один зуб, а все зубы, но, очевидно, это — гипербола, и рассказ Герцена, знавшего того чиновника, который возбудил дело, более достоверен» (С. Л. Толстой. С. 48–49).

В роли наторелого дантиста (а заодно и магнетизёра) лицезрел в сороковые годы Американца и отрок Лев Толстой. «Помню, он подъехал на почтовых в коляске, — вспоминал писатель, — вошёл к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли его особенный сухой французский хлеб; он другого не ел... В это время у брата Сергея сильно болели зубы. Он спросил, что у него. Узнав, сказал, что может прекратить боль магнетизмом. Он вошёл в кабинет и запер за собою дверь. Через несколько минут вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню на них лиловые каймы узоров; он дал тётушке платки и сказал: „Этот, когда он наденет, пройдёт боль, а этот, чтобы он спал“. Платки взяли, надели Серёже, и у нас осталось впечатление, что всё совершилось, как он сказал» (цит. по: Розанова С. А. Лев Толстой и пушкинская Россия. М., 2000. С. 229).

**961**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 809. Л. 1.

Жуковский. С. 243.

**963**

Там же.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 809. Л. 1–1 об.

Отцом Н. Ф. Павлова молва числила генерал-аншефа В. В. Грушецкого; по бумагам же он был сыном дворового человека. В 1811 году Н. Ф. Павлов получил вольную.

В 1843 году литератор стал также членом московского тюремного комитета.

Зайцева И. А. Павлов Николай Филиппович // Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 491.

Имеется в виду московский генерал-губернатор князь Алексей Григорьевич Щербатов (1777–1848).

Выделено А. И. Герценом. Известно, что титулярный советник Н. Ф. Павлов оставил тюремную службу только в 1846 году.

Мемуарист ошибся в имени начальника Москвы: А. А. Закревский был преемником князя А. Г. Щербатова, он заступил на этот пост в мае 1848 года.

**971**

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 809. Л. 1 об.

См. главу 7.

Там же. Л. 1 об. — 2.

Там же. Ед. хр. 1318. Л. 113.

Там же. Л. 124 об. — 125.

**976**

Там же. Л. 124 об.

Там же. Л. 117.

Полн. собр. соч. князя П. А. Вяземского. Т. IV. СПб., 1880. С. 282.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 124.

См. главу 1. Допускаем, что граф Фёдор Иванович, позируя, показывал живописцу тот давний портрет и, более того, подал К. Я. Рейхелю идею довершить однажды кем-то начатый *диптих*, то есть изобразить его, Американца, примерно таким же, но уже у «дверей противоположных».

Современный автор, ссылаясь на мнение кинологов, утверждает: это немецкий боксёр (Ерофеев В. И. Толстой-Американец. Нижний Новгород, 2009. С. 162–163). Оставляя без комментариев специфический вопрос о породе, скажем о том, что Американец, никогда не любивший охоты, в последние годы жизни увлёкся собаками. Граф завёл себе четвероногого приятеля даже на Ревельских водах, о чём в оригинальной форме известил князя П. А. Вяземского 23 августа 1844 года: «По отпуске сего письма: я, чёрно-пегой кобель, подполковник Плец, остаёмся живы и здоровы, а впредь уповаем на волю Божию. Плец свидетельствует тебе всенижайшее своё подчинённое почитание. Кобель наслаждается всею роскошью собачьего счастья: он водворён на бойне мясника» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 127 об.). Может быть, тот самый ревельский кобель и попал позднее на картину К. Я. Рейхеля?

*Липранди. С. 16.*

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 124.

Там же. Выделено Ф. И. Толстым.

**985**

PB. 1864. № 4. C. 701.

Там же. С. 706.

Там же. С. 708.

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 131. В том же письме Авдотья Максимовна назвала покойного мужа «человеком-душой» и «другом души» своей. (Там же. Л. 130, 130 об.)

*Бартенев П. И.* О Пушкине: Страницы жизни поэта; Воспоминания современников. М., 1992. С. 318–319.

*Стахович А. А.* Ключки воспоминаний. М., 1904. С. 153.

**991**

PB. 1864. № 4. C. 718.

В заметке «Граф Ф. И. Толстой» П. Ф. Перфильева уточнила некоторые обстоятельства ухода Американца: «Отец мой умер на моих руках, в присутствии моей матери и любимого им семейства графини Прасковьи Васильевны Толстой. Петра Александровича Нащокина при этом не было, и никто из семейных не находил нужным известить его о близкой кончине графа. <...> Отец похоронен без кольца» (РС. 1878. № 12. С. 718). Датой кончины графа Фёдора Ивановича здесь было объявлено 24 октября, но это, по всей видимости, типографская опечатка.

*Архангельская-4. С. 17.*

PB. 1864. № 4. C. 719.

*Жуковский В. Сочинения / Под ред. П. А. Ефремова. Т. 6. Пб., 1878. С. 576.*

Описав в письме князю П. А. Вяземскому от 3 февраля 1847 года смерть мужа, графиня Авдотья Максимовна добавила: «Прошу Бога, чтобы мне послал подобную кончину» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1318. Л. 131 об.). Но ей было суждено завершить свои дни через пятнадцать лет совсем иначе.

«По кончине своего супруга, — пишет П. И. Бартенев, — графиня приобрела себе дом на Патриарших прудах, поблизости от так называемой Живодёрки, где издавна гнездо московских цыган, которые вообще отличаются набожностью» (РА. 1909. № 8. С. 700). На новое место жительства Авдотья Максимовна Толстая переехала, вероятно, в 1850 году, после продажи владения в Басманной части. Через год цыганка обратилась в Дворянское депутатское собрание с прошением о внесении её в родословные книги дворян Московской губернии. Однако, сменив адрес, графиня вовсе не собиралась корректировать стиль своей жизни. «Когда, овдовевши, она жила в Москве, — вспоминал архиепископ Савва, — у неё почти каждую неделю сменялась прислуга» (РА. 1909. № 8. С. 699). Это в итоге и погубило графиню А. М. Толстую: в год отмены крепостного права её зарезал собственный повар.

В мемуарах архиепископа Саввы (Тихомирова) жуткое происшествие описано в подробностях:

«25-го сентября 1861 года, в день пр<е>подобного> Сергия, после литургии в Троицком соборе Сергиевской лавры, я неожиданно встретил знакомую графиню в покоях митрополита, а вечером, пред всенощной, на 26-е число, она посетила меня и, напившись у меня чаю, простилась со мною, предполагая на другой день утром отправиться в Москву. Между тем на следующий день, 27-го числа, часов в 8 утра явился ко мне её слуга и, объяснив мне, что графиня, разгневавшись на него за то, что он не приготовил для неё заблаговременно извозчика, чтобы ехать к ранней обедне, оставила его в посаде, а сама отправилась в Москву, — спрашивал моего совета, что ему делать, и при этом сказал, что он хочет идти к митрополиту с жалобою на графиню. Разъяснив ему всю нелепость его намерения, я дал ему 50 коп<еек> на дорогу и отпустил его.

Чрез два или три дня с ужасом слышу, что графиня Толстая найдена в постели зарезанною, а все драгоценности её похищены. Оказалось впоследствии, что слуга её, оставленный ею в Сергиевом посаде,

возвратившись в Москву в раздражённом состоянии и подговоривши горничную служанку, решился напасть на неё ночью с ножом в руке и воспользоваться её имуществом.

Но убийца недолго пользовался похищенными сокровищами. Отправившись в ту же ночь с своею соучастницею, в наёмной карете, по Тульскому тракту, они оба начали, сидя в карете, разбирать похищенные вещи и, видя между разными мелочами визитные карточки убитой графини, выкидывали их за окно, как вещи для них не нужные. Между тем навстречу им, по тому же тракту, ехала в Москву какая-то помещица, родственница тогдашнего московского обер-полицеймейстера. Видя выбрасываемые из кареты какие-то бумажки, она приказала своему слуге поднять несколько бумажек и показать ей; оказались карточки с именем не известной ей графини Толстой. По приезде же в Москву ей тотчас объяснили, кто эта графиня Толстая, и представленная ею обер-полицеймейстеру карточка дала ему в руки нить к отысканию убийц. Отправлены были по указанному направлению телеграммы к губернаторам. По этим телеграммам убийцы схвачены были, если не ошибаюсь, в пределах Черниговской губернии и представлены в Москву, где их ожидали суд и должное возмездие» (РА. 1909. № 8. С. 700).

Мимо «страшной истории убийства графини Толстой» не прошёл в своём творчестве и граф Л. Н. Толстой.

Упомянем заодно и про судьбу сельца Глебово, столь дорогого Американцу. В 1852 году оно ещё принадлежало Авдотье Максимовне Толстой. По-видимому, графиня продала его в 1859 году. Новым владельцем имения, состоящего из 12 дворов, 36 душ мужского пола и 38 женского, стал майор Степан Степанович Шиловский (Истринская земля. М., 2004. С. 268). Позднее в Глебове побывали П. И. Чайковский, А. П. Чехов и другие известные лица.

Вскоре после смерти отца «цыганёночек» Полинька вышла замуж за Василия Степановича Перфильева (1826–1890), который впоследствии, в семидесятых и восьмидесятых годах, был московским гражданским губернатором. В. С. Перфильев прославился ещё и тем, что стал прототипом Стивы Облонского, одного из героев «Анны Карениной». Супруги Перфильевы прижили сына Фёдора, умершего «в сравнительно молодых годах от прогрессивного паралича» (С. Л. Толстой. С. 61).

П. И. Бартенев, знававший П. Ф. Перфильеву, аттестовал её как «женщину просвещённую, добросердечную и отличных достоинств, но <...> своеобразную в привычках и образе жизни» (РА. 1909. № 8. С. 700). Одно время дочь Американца пыталась заниматься сочинительством, но не слишком преуспела на этом поприще. В отличие от матери она не была богомольной.

Кроме того, Прасковья Фёдоровна завела себе оригинальную товарку. Биограф вспоминал: «Когда мне было лет девять, моя мать повезла меня к дочери Фёдора Ивановича, Прасковье Фёдоровне Перфильевой, важной московской барыне. Сидя в её гостиной, я вдруг почувствовал, что кто-то сзади дёргает меня за волосы. Это была небольшая обезьяна. Оказалось, что Прасковья Фёдоровна, в память обезьяны своего отца, постоянно держала при себе обезьянку» (Толстой С. Л. С. 16). В письме мужу Лёвушке от 21 августа 1866 года Софья Андреевна Толстая с юмором поведала, как супруги Перфильевы «делали ванны» своей любимице.

В наши дни эти надгробные надписи прочесть уже трудно; пришедшему поклониться Американцу приходится разбирать их (буквально) на ощупь.

**999**

Бежит невозвратимое время (*лат.*).

**1000**

Совсем недавно этот храм, закрытый и поруганный в 1930-е годы, начали потихоньку восстанавливать.

Лернер Н.О. Новонайденное письмо Пушкина (Пушкин и Толстой-Американец) // ПиС. Вып. XV. СПб., 1911. С. 4.

**1002**

*Стахович А. А.* Ключки воспоминаний. М., 1904. С. 148.

Астафьево — село, принадлежащее Князю Петру Андреевичу  
Вяземскому (*примеч. В. Л. Пушкина*).

Кн<ягиня> Вера Фёдоровна Вяземская мне подарила печать (*примеч.*  
*В. Л. Пушкина*).

К семейству графов Толстых присовокупить должно ангельской доброты девицу П. С. Барыкову, их родственницу: она нежно любила Сарру — она искренно делила горе несчастных родителей! (Здесь и далее примечания автора «Биографии Сарры».)

Здесь мы разумеem знаменитого оператора А. И. Овера.